

Золотые
ордынки

А. М. ФЕДОРОВ

Степь сказалась



Scan Kreyder - 16.06.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





А.М. ФЕДОРОВ

Степь сказалась

Редакционная коллегия:

Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Хамматов Я. Х.,
Чванов М. А.

Подготовка текста, предисловие и комментарии М. Г. Рахимкулова

Федоров А. М.

Ф33 **Степь** сказалась. Роман и рассказ. Подготовка текста, предисловие и комментарии М. Г. Рахимкулова. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1981.— 272 с. (Серия: Золотые родники)

А. М. Федоров — реалист-бытописатель, испытавший влияние А. П. Чехова и И. А. Бунина, с которыми был тесно связан. «Степь сказалась» — первый роман о башкирском народе. Тема его — разоблачение одного крупного хищения башкирских земель. Продолжительное время живя в Башкирии, писатель хорошо знал и правдиво показал общественную и частную жизнь представителей различных социальных групп.

Ф $\frac{70301-153}{М 121(03)-81}$ —81

Р1

© Башкирское книжное издательство, 1981,
подготовка текста, предисловие, комментарии, оформление.

ПЕРВЫЙ РОМАН О БАШКИРИИ

Александр Митрофанович Федоров (1868—1949) был выходцем из бедной крестьянской семьи. С двенадцати лет оставшись круглым сиротой, он прошел тяжелую школу жизни. И видимо, оттого-то, по словам самого автора, его первые «стихотворные опыты были жестоким подражанием Некрасову». На заре своей литературной деятельности Федоров был замечен поэтом А. Н. Майковым, «ласково и дружелюбно» встречен одним из выдающихся представителей литературного народничества Н. Н. Златовратским, который, безусловно, наложил определенный отпечаток на его первые литературные опыты. Заметное влияние на раннее творчество писателя оказал кружок «Среда», фактическим идейным руководителем которого был М. Горький. Федоров общался, переписывался с многими «средовцами»: М. Горьким, А. Чеховым, В. Короленко, А. Куприным. Особенно он был близок с И. Бунинным, дружил с ним многие годы. С Горьким же Федоров встречался гораздо раньше возникновения «Среды». «Горького я знал еще тогда, когда он ничего не писал, а жил в Новгороде у Лапина — писарем»¹, — сообщает Федоров в письме к Ф. Д. Нефедову от 2 декабря 1901 года. И в последующие годы Федоров обращался к Горькому за советами и очень дорожил его мнением. В связи с этим значительный интерес представляет письмо И. А. Бунина к А. М. Федорову от 25 апреля 1905 года. «Дорогой друг, я сейчас от Горького, — пишет Бунин. — Читали твою книгу. Всю, конечно, не прочли, но я немного перетасовал стихи, поставил в начале то, что казалось мне лучше, и, когда начитались, спросил:

¹ Центральный государственный архив литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ), ф. 342, оп. 2, д. 348 а, л. 1 об.

— Ну, теперь Вы видите, что книжка будет, во всяком случае, недурна?

Горький ответил:

— О, да, несомненно.

— Значит,— говорю,— я могу окончательно сообщить Федорову, что книга взята «Знанием»?

— Да, вполне можете.

...Многое в твоей книге ему очень понравилось, а относительно того, что ему не нравится, он хочет написать тебе — только боится, что ты рассердишься. Я сказал ему, что это вздор¹.

«Среда» сыграла большую общественно-литературную роль в развитии передового реалистического направления в русской литературе конца 90-х—начала 900-х годов. После 1905 года «Среда» утратила свое прогрессивное общественное значение — часть писателей повернула вправо. Федорову, как и многим «средовцам», также были характерны колебания между демократией и либерализмом.

В большом творческом наследии Федорова лучшими, на наш взгляд, являются произведения о Башкирии, которые созданы в конце 90-х — в самом начале 900-х годов, и относятся, следовательно, к начальному периоду его литературной деятельности. Раннее же творчество писателя проникнуто горьковским духом и отличается демократизмом. Произведения этого периода сильны постановкой острых социальных проблем, резкой критикой общественных пороков существующего строя.

В обращении Федорова к разработке инонациональной тематики, и прежде всего к реалистическому освещению жизни многострадального башкирского народа, решающее значение имело близкое общение с Горьким и писателями горьковского направления, ратовавшими за интернациональную широту литературы. Как видно из переписки, даже после распада «Среды», явившейся следствием идейных разногласий «средовцев», Федоров неоднократно обращался к Горькому с просьбой содействовать в печатании своих стихотворений.

В пробуждении интереса Федорова к башкирской теме важную роль сыграл также его старший брат по перу — уфимский писатель П. И. Добротворский, который, как видно из архивных доку-

¹ ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 2, д. 2, лл. 18, 19. Однако, как видно из писем М. Горького к И. А. Бунину и А. М. Федорову, написанных в середине мая 1905 года, Горький отказался печатать стихотворения Федорова, мотивируя это тем, что они ему не нравятся (см. ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, д. 221, л. 52, а также: Горьковские чтения, 1958—1959, М., 1961, стр. 36).

ментов, был «литературным отцом» — идейным наставником А. М. Федорова и В. В. Брусянина и благословил их на литературное поприще.

Первым произведением А. М. Федорова о Башкирии был цикл стихов «В башкирской степи» (1895). Поэт любовно воспел красоту необъятных степных просторов и через яркие бытовые картины отразил некоторые характерные черты патриархальной жизни башкирского народа.

Первый раздел цикла — вводный. Здесь как бы зримо видишь и великолепный «простор без грани и без края», который «все поет, цветет, благоухая», и осязаемо чувствуешь глубокую древность этой девственной земли, заросшей ковылем, отчего вся степь кажется седою. И через «грезы степи», навеянные фольклорными мотивами, поэт скупыми, но яркими мазками рисует картину былой Башкирии, акцентируя внимание на наиболее важных вехах ее истории. Башкирские степи помнят времена и Александра Македонского, и жестокого Тамерлана, и чудь, и половцев... И, наконец: «Русь идет... гудят колокола...». Как видим, своеобразный сказочно-исторический экскурс поэт доводит до середины XVI века — до эпохи присоединения Башкирии к Русскому государству. Дальнейшая судьба Башкирии уже тесно связана с Россией. Поэтическое описание истории нашего края завершается картиной современной автору действительности:

Передо мной беспечно степь цветет.
Немой курган, безвестная могила...
Лишь о минувшей вольности уныло
Башкир-ямщик тоскует и поет.

Если вспомнить, что к концу XIX века природные богатства Башкирии были варварски ограблены, народ голодал и нищал, а эпоха башкирских восстаний осталась в прошлом, то станет понятен печальный смысл процитированных строк: исконному хозяину степей — башкиру не осталось ничего, кроме унылой песни, выражающей тоску по минувшей вольности. В целом же цикл «В башкирской степи» звучит как торжественный гимн живописной, вечно юной природе. В стихотворениях «Рассвет», «Полдень», «Вечер» и «Ночь» картины природы, богатые тончайшими световыми оттенками, точно соответствуют различным временам суток. «Какая даль! Какой простор! В степи, как в небе, тонет взор», — восклицает поэт, восторгаясь необозримой ширью ковыльных башкирских степей. Казалось бы, и народ должен жить здесь свободно и счастливо, наслаждаясь окружающим великолепием и щедрыми дарами природы. Но действительность показывает иллю-

зорность подобных надежд: народ живет в нужде и горе. Это удручает писателя, и в рассказе «Курайщик» (1897) он обличает губительную силу богатства, разрушающего все человеческое в людях. В рассказе показана тяжелая жизнь трудящихся-башкир и русских крестьян в Башкирии, классовое расслоение, обнищание крестьянства и обогащение кулаков. Главный его герой башкир Меннигарей был самым искусным кураистом в округе, отсюда и название рассказа. Одним из основных средств к существованию служила ему игра на курае во время сабантуев и свадеб. Но в голодные годы спроса на его искусство не было. И вот нужда гонит его на поиски хлеба для семьи. После долгих и тщетных мытарств он с последней надеждой приходит к богатому родственнику Сулейману, но тот отказывает ему в помощи.

В рассказе показана дружба двух бедняков: башкира Меннигарея и русского мужика Игнатия, по прозвищу Дуля. Эта дружба бедняков различных национальностей спмволнчна: и Меннигарей, и Дуля понимают, что их грабит не только русский помещик, но и башкир-кулак. Однако они еще не видят путей борьбы против такой вопиющей несправедливости. И тем не менее в рассказе явственно звучит мотив осуждения социального неравенства.

Тема дружбы русского и башкирского народов нашла отражение также в романе «Земля», написанном под впечатлением поездки Федорова в 1901 году в Уфимскую и Самарскую губернии, где он устраивал столовые для голодающих. В романе, пронизанном гуманистическими идеями, показана самоотверженная работа русских врачей-энтузиастов во время страшной эпидемии чумы и голода в Башкирии. Ознакомившись с рукописью произведения, в сентябре 1902 года В. Г. Короленко писал Н. К. Михайловскому: «Это — целый роман, и довольно интересный. Дело идет о голоде. Описание есть очень хорошие, общественная или вернее — политическая сторона романа хромает, но фигуры есть очень живые и в общем — интересно и местами красиво и даже сильно»¹. В 1903 году роман был напечатан в народническом журнале «Русское богатство». Башкирскими мотивами навеяны также стихотворение «Гумер-Зая» (умырзая — башкирское название горлицы), очень нравившееся И. А. Бунину, и рассказ «Королева» (так звали героиню за ее величественную красоту), действие которого происходит около Уфы на берегу реки Демы.

Самым же значительным произведением А. М. Федорова на башкирскую тему явился роман «Степь сказалась» (1897). Это

¹ Короленко В. Г. Письма. 1888—1921, Пб., Изд-во «Время», 1922, стр. 86.

первый роман о башкирском народе. Тема его — разоблачение одного крупного хищения башкирских земель. Продолжительное время живя в Башкирии, Федоров хорошо знал историю многих гнусных хищений и решил художественными средствами раскрыть и осудить их.

Над романом Федоров работал в первой половине 90-х годов, преимущественно в деревне Курменкей, недалеко от станции Давлсканово Уфимской губернии, и в Уфе. Именно в эти годы он и стал профессиональным писателем. В молодости же, увлекшись театром, он безуспешно выступал на сцене, переезжая из одного провинциального города в другой. В 1890 году, приехав в Уфу на гастроли, он оставил труппу и приступил к работе над романом. «Последним пунктом моей плодотворной артистической деятельности был г. Уфа, — пишет Федоров в автобиографии в 1909 году. — Здесь, благодаря близости к башкирскому народу, я задумал мой первый роман «Степь сказала». В бытность мою в Уфе вышла и первая книга моих стихов... критика ее приветствовала довольно дружелюбно. Существование мое исключительно литературой относится ко времени изпечатания романа «Степь сказала»¹. В Уфе завязалась дружба Федорова с писателями П. И. Добротворским и В. В. Брусняным. Живя на скудный литературный гонорар, в период работы над романом он испытывал большие материальные затруднения и был многим обязан поддержке со стороны своих уфимских друзей.

Тема, за которую взялся Федоров, была не новой. Многие русские писатели, начиная с В. И. Даля и С. Т. Аксакова, в той или иной мере касались ее. Особенно много о грабеже башкирских земель было написано в пореформенную эпоху, когда расхищение достигло своего апогея. Эта тема нашла также отражение в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка и Ф. Д. Нефедова. С гневом писали о варварском грабеже природных богатств Башкирии П. И. Добротворский, Н. В. Ремезов и Г. И. Успенский. Со многими произведениями названных авторов Федоров, конечно, был хорошо знаком. Больше того, путевые очерки Г. И. Успенского «От Оренбурга до Уфы» и первая книга «Очерков из жизни дикой Башкирии» Н. В. Ремезова, содержавшие богатый фактический материал о крупнейших хищениях башкирских земель и лесов, послужили документальными источниками для создания романа «Степь сказала».

Г. Успенский и Н. Ремезов раскрыли подлые махинации «ловких людей» — Уткина, братьев Коловских и других, которые баш-

¹ ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 1, д. 1, л. 6.

кирские земли не покупали, а «просто брали даром», купчие же оформляли на имя подставных лиц. Точно так же поступал и Брызгалов, крупнейший представитель лагеря хищников в романе Федорова. Юридически Уткин купил пятьдесят тысяч десятин земли за восемь тысяч рублей, фактически же земли было приобретено сто тысяч десятин и, следовательно, уплачено по восемь копеек за десятину. Точно такие же цифры мы видим и в покупке Брызгалова. Уткин несколько раз закладывает купленную землю в банках, так же действует и Брызгалов. Уткин «покупает» землю путем различных махинаций, подделкой подписей под приговором, в чем ему помогают старшина, писарь, адвокат Блюммер, посредник Фок. Все названные лица явились своеобразными прототипами федоровских персонажей. Отдельные материалы и факты о способах хищения сообщены были Федорову Добротворским, который хорошо знал всю подноготную захватов башкирских земель.

Роман, следовательно, имеет документальную основу, и это несомненно повысило силу его воздействия и интереса к нему, чем, по-видимому, и объясняется то, что за короткий срок он выдержал три переиздания. При документальной достоверности многих фактов роман, однако, является подлинно художественным произведением, рисующим широкую панораму общественной и народной жизни Башкирии последней четверти прошлого столетия.

Главный герой романа башкир Араслан Галиевич Арасланов ведет упорную борьбу против Брызгалова, обманом купившего у башкир-вотчинников огромный участок земли по баснословно дешевой цене. В ходе этой борьбы он вступает во взаимоотношения с представителями различных слоев общества: башкирскими крестьянами, чиновниками разных рангов, интеллигенцией, служителями культа. Сатирическими красками изображает писатель цвет уфимской аристократии: дает меткие характеристики людям различных социальных групп, начиная от муфтия и кончая беднейшим башкиром; рельефно показывает бесправие и забитость бедняков и бездушие, развращенность представителей господствующих классов.

В основе конфликта романа — столкновение двух противоположных сил: хищников во главе с Брызгаловым и правдоискателей, борцов за справедливость во главе с Араслановым. Лица, поддерживающие или сочувствующие Арасланову, составляют один лагерь. Остальные же — пособники Брызгалова и все персонажи, равнодушные к его «покупке», относятся к противоположному лагерю. Сочувствие автора явно на стороне Арасланова.

Писатель дает обаятельный портрет Арасланова. Это был «мужчина лет тридцати двух, невысокого роста, худощавый и смуглый, с редкой черной бородой и усами. Скулы, слегка выдава-

лись, нос был широкий, с приподнятыми ноздрями, но эти недостатки скрашивались выпуклым лбом и черными острыми глазами, небольшими, широко поставленными, с тем характерным разрезом, по которому сразу можно узнать башкира. Ум пронизательный и честный светился в этих глазах и придавал лицу ту привлекательность, которую наделены редко даже интеллигентные лица».

Арасланов родился в глухой деревушке, находившейся недалеко от Уфы. Правда, город фигурирует в романе под вымышленным названием — Светлорецк (как город, стоящий на реке Белой, с заменой «белого» синонимом «светлый», очевидно, чтобы не было смешения с городом Белорецком), но современники легко узнали Уфу. Так, неоднократно бывавший в 70—80-х годах XIX века в Уфе писатель-народник Ф. Д. Нефедов, ознакомившись с романом, писал 27 декабря 1901 года его автору: «Прочел и «Степь сказалась»... Уфу-то в описаниях я узнаю отлично, но в частности это не дано, т. е. тут Вы, как говорится, не дотянули»¹.

Рано осиротев, Арасланов влачил полуголодное существование. Простая случайность определила его будущее: шестилетнего подпаса укусил бешеный волк. При содействии учителя, лечившегося в их деревне на кумысе, мальчика отправили в больницу в город. Врач Рокотов, вылечивший его, оказался на редкость добрым и отзывчивым человеком: он оставил сироту при больнице, а знакомый учитель научил смышленного мальчонку грамоте. Затем Рокотов устроил его в гимназию. По окончании ее Арасланов поехал в Петербургский университет и успешно окончил два факультета. Он был принят в великосветском обществе, его ждала блестящая карьера в столице. Однако он бросил все и приехал в далекую, дикую, но родную Башкирию, чтобы посвятить себя служению башкирскому народу.

С детских лет он воочию видел тяжелую, беспросветную жизнь родного народа, несущего на своих плечах непосильный груз страданий и бедствий, сам испытал нищету, голод и унижения. В стенах университета он продолжал интересоваться жизнью и судьбой своих кровных братьев. Возмущенный хищениями земель в Башкирии он напечатал статью «О социальном положении башкир в России», которая наделала в Уфе «немало шума и вызвала много толков», и поклялся сделать все возможное, чтобы защитить ограбленных сородичей.

Поводом же для приезда на родину послужила встреча с двумя земляками, которые явились в Петербург, чтобы обратиться «с жа-

¹ ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 1, д. 37, лл. 3, 3 об.

лобой в сенат на одно крупное и наглое хищение»: «покупку» Брызгаловым «у башкир-вотчинников земли в сто тысяч десятин по восьми копеек за десятину»; причем купчая была оформлена обманным путем: «одна треть подписей поддельные или подкупные».

Как же намерен Арасланов бороться за интересы башкирского народа, что думает он делать? «Прежде всего я соберу все материалы по разграблению башкирских земель,— говорит он.— Многого, конечно, нельзя будет воротить, по я все силы употреблю, чтобы сделать все возможное, а сделать, насколько мне известно, можно еще немало. Я объеду все, даже самые глухие закоулки, и все разуюзнаю, что мне нужно. О, это будет целая эпопея незаконного разбоя, и я убежден, что сделаю свое дело. Я вызову сенатскую ревизию и к позорному столбу притяну всех разбойников... Я сам пойду на все: я отдам народу все свои силы. Буду доктором, адвокатом, учителем, муллой... Всем, что в моих средствах, и, кто знает,— с гордостью закончил он,— может быть, нам удастся вызвать к жизни силу, которая даст миру своих художников, ученых, поэтов».

Как видно из этого программного заявления, в основе деятельности Арасланова лежат народническо-просветительские идеи. От мысли же о сенатской ревизии явно веет духом демократического либерализма. И идет она, надо полагать, от П. И. Добротворского, чьи обличительные корреспонденции о незаконных грабежах башкирских земель действительно вызвали в 1881 году сенатскую ревизию Уфимской губернии.

Но как человек исключительно энергичный и деятельный Арасланов сумел сделать много такого, что выходило далеко за рамки его декларации. Он разворачивает бурную деятельность: собирает материалы по разграблению башкирских земель, изучает их историю и положение дел на местах, в деревнях, вскрывая массу незаконий, творившихся при покупках, показывает те низкие приемы мошенничества, на которые шли расхитители башкирских земель, обнажает истинный облик хищника Брызгалова.

Устами своего героя писатель осудил наглых грабителей богатств Башкирии и призвал прогрессивную общественность прийти на помощь башкирскому народу:

«Расхищение дикое, варварское! — вырвалось у Арасланова, и он порывисто сжал себе лоб.— Хищники налетели со всех сторон и рвут чужое добро на части. За бутылку водки, за фунт табаку или чаю покупают целые земли, а то так просто рвут даром. Чтобы обокрасть доверчивых башкир, чтобы оторвать себе побольше кусок, не брезгают никакими средствами: развращают, спаивают народ... Таким образом, народ, склонный по природе ко всему

хорошему, отзывчивый, честный, погибнет, если дело пойдет таким порядком... Погибнет, если вовремя не прийти к нему на помощь».

В разоблачении язв колониализма демократизм писателя достигает порой горьковского звучания. Но, смело избочивая отдельные общественные пороки, Федоров склонен был рассматривать их лишь как следствие мошеннических махинаций отдельных «ловких людей» и не смог подняться до осуждения всего прогнившего строя царизма — главного виновника обнищания башкир и других народов. Отсутствие четкого положительного идеала, ограниченность его общегуманистических мотивов, не идущих далее просветительства, обусловили слабые стороны романа. И в нем, как в зеркале, отразилось противоречивое мировоззрение автора.

Писатель с большой симпатией рисует образ Арасланова. Но вместе с тем, очевидно, понимая, что время народников-просветителей уже прошло, он развенчивает своего героя, обрекает его дело на неудачу. Правда, Федоров пытается доказать, что этому помешали не объективные, а субъективные причины (Арасланов страстно влюбляется в госпожу Квитковскую и, узнав, что она компаньонка и любовница Брызгалова, сходит с ума), но это звучит недостаточно убедительно.

Однако, несмотря на серьезные идейные противоречия, Федорову удалось с большой художественной силой раскрыть гнусную историю одного из крупных хищений башкирских земель.

Полагая, что от успеха его борьбы с расхитителями земель зависит не только сегодняшнее положение башкир, но и, в конечном счете, историческая судьба их, Арасланов прилагает все силы, чтобы разоблачить Брызгалова. Он до глубины души возмущен вопиющими фактами неслыханного грабежа башкир: границы земель, купленных Брызгаловым, оказались обозначенными на карте уезда, как и в купчей Уткина, весьма приблизительно, в действительности же земли было куплено вдвое больше. Брызгалов, как и Уткин, только на продаже леса сколотивший капитал в триста тысяч рублей, хищнически рубит и сплавляет вековые мачтовые леса, наживая большие деньги.

Прототипом Брызгалова, очевидно, послужил Уткин из «Очерков из жизни дикой Башкирии» Н. В. Ремезова. Как один из наиболее крупных расхитителей башкирских земель Уткин фигурирует и в путевых очерках Г. И. Успенского «От Оренбурга до Уфы». Сходство портретов также подтверждает это: у Ремезова — Уткин «красивый брюнет, одет всегда со вкусом»; у Федорова Брызгалов — «высокий красивый брюнет... бриллиантом... заколот и его щегольской сиреневый галстук». Однако образ Брызгалова не является компиляцией, писателю удалось создать художественно индивидуализи-

рованный и вместе с тем типический, полнокровный образ хищника-приобретателя. Для разоблачения хищнической природы Брызгалова автор умело использовал различные приемы, в частности показал, как он разбогател.

Отец Брызгалова служил лакеем у одного помещика и, обокрав его, купил у башкир клочок земли, который затем продал втридорога. Повторив подобную операцию несколько раз, он стал обладателем многих сотен десятин земли, начал рубить и продавать лес. И к концу своей жезни довел «капиталец» до одного миллиона. Кстати, отец Уткина у Ремезова разбогател точно так же. Брызгалов-сын во многом перещеголял отца. Если отец был непросвещенным хищником, то сын, учитывая ограниченные возможности отца-неуча, ударился в «науки»: хорошо изучил башкирский язык и обычаи, чтобы легче было обманывать башкир. Иронически подчеркивая хищное пуτρο Брызгалова, Разумеев говорит Арасланову: «Европеец. За границу ездил, хотя из иностранных языков только на башкирском говорит, а обычаи их и характер изучил до тонкости: без этого никак им нельзя».

Помощником и наставником Брызгалова был отец, который сомнительные купчие бумаги оформлял на свое имя, чтобы в случае неудачи оградить сына от неприятностей; сам он их не боялся, ибо одной ногой уже стоял в могиле. Подобным же образом поступал и отец Уткина, который, переведя все деньги на имя сына, оставил после своей смерти кучу долгов. Идя по стопам отца, Брызгалов поставил перед собой одну-единственную цель — обогащение, достижению которой он отдавал все свои силы, знания, опыт, не оставляясь ни перед какими низкими и гнусными средствами. Богатство давало ему самое сильное оружие — власть.

Используя свое влияние и силу, Брызгалов мошенническими путями приобретает у башкир огромные земельные палестины. «Рвачи с каким-то собачьим нюхом», — характеризует писатель породу Брызгаловых. Этих-то рвачей и решил вывести на чистую воду Арасланов.

Изучив всю подноготную брызгаловской покупки, Арасланов с большим энтузиазмом начал борьбу против этого наглого хищника. Но в этой борьбе он был одинок. Его попытка найти поддержку среди русской и башкирской интеллигенции не увенчалась успехом: ему все сочувствовали, но реальной помощи никто не оказывал. Не оправдало его надежд и земство. Даже муфтий, имеющий большой авторитет среди населения, и член городской управы Цералов, жизненная судьба которого во многом сложилась, как у Арасланова, ничего не сделали, чтобы ему помочь.

Муфтий в изображении Федорова не лишен многих привлекатель-

ных черт: вежлив, умен, хорошо знает жизнь народа, его характер, нравы, обычаи. Он откровенно признается, что невежественные и ограниченные муллы, распространяя религиозный дурман и предвзятости, подавляют стремление народа к борьбе за свое счастье и проповедуют смирение перед судьбой. Сочувствуя бедственному положению башкир, муфтий в то же время ничего не предпринимает для улучшения жизни народа.

Цералов, подобно Арасланову, получил блестящее образование в Петербурге, изучил ряд языков, был принят при дворе, но бросил все и уехал в родную Башкирию служить народу. Сначала он раздавал деньги бедным крестьянам, но из этой филантропической затеи ничего не вышло: деньги быстро иссякли, а бедных не убавилось. Тогда он решил помочь народу общественным служением и поступил в земство. Здесь он надеялся совершить большие преобразования, но ничего не смог сделать: помешали косность и рутинность, царящие в земстве. Ничего не добившись, Цералов смирился, благие идеи предал забвению и на все махнул рукой.

Таким образом, башкирская интеллигенция, на которую возлагал большие надежды герой романа, не могла служить народу: помимо малочисленности, она была к тому же политически незрелой.

Ничего не добившись в городе, Арасланов едет в деревню. И то, что он увидел там, превзошло все его ожидания... Писатель хорошо знал жизнь башкирской деревни, быт и нравы народа, и поэтому картины деревенской жизни, изображенные им, очень убедительны и правдивы. С соломенными и земляными крышами, покосившимися стенами, с обязательной мечетью и кабаком деревни того времени, как близнецы, походили одна на другую. Описывая деревню Кумыш-Камар, которая считалась одной из богатейших, Федоров рисует типичную картину жизни башкирской деревни. В Кумыш-Камаре была новая мечеть, две лавочки, несколько изб с деревянной крышей, остальные — с соломенными и земляными крышами. Многие же избы не были похожи на жилище человека: сделанные из плетня и глины, с плоской земляной крышей, они походили на хлев для скотины. В таких условиях жило большинство башкирских семей «одной из богатейших деревень».

Вследствие постоянного недоедания и отсутствия медицинских учреждений (врачеванием занимались темные знахари и разные шарлатаны) среди башкир свирепствовали болезни. Смертность, особенно детская, была большая. В Кумыш-Камаре только за одну весну эпидемия оспы унесла более половины детских жизней. Забитые нуждой башкиры терпеливо переносили издевательства старшин и писарей, обман и грабеж господ Брызгаловых. Но среди

безропотной толпы были и такие, как Сулейман и Шагибек, которые не смирились с бесправным положением и в меру своих сил боролись против несправедливости. Но их было мало. Брызгаловы же шли на всяческие ухищрения: подкупали башкир, а если не действовали подкупы, в ход шли угрозы и побои. Хищники опирались также на деклассированные элементы, которые сбились с жизненного пути и, потеряв честь и совесть, становились слепым орудием господ.

Однако при всех тяготах жизни башкиры-труженики оставались людьми жизнелюбивыми, дружными и не теряли надежды на будущее. Им одинаково дороги и честь товарища, друга и честь народа. Наглядным подтверждением этому является сцена борьбы во время сабантуя, когда Сулейман и другие чуть не со слезами на глазах упрашивают старого батыра Шагибутдина выйти на поединок с кучером Брызгалова, здоровенным мужиком Матвеем, чтобы защитить честь башкирской деревни. И Шагибутдин оправдывает надежды односельчан.

Автор показывает и рост в глухой башкирской деревне потенциальных сил, которые проявят себя в будущем, когда наступит пора социальной ломки старых отношений. Многие башкиры начинают догадываться, а такие, как Сулейман, и ясно сознавать, кто истинный виновник их тяжелого положения. Они открыто ненавидят своих обидчиков — Брызгалова, старшину, писаря и других. «Толпа, точно разбуженная, сразу оглянулась на чужих гостей, и они (Брызгалов и его сторонники.— М. Р.) не могли не уловить несколько сверкнувших затаенною злобою и ненавистью взглядов». А когда Брызгалов приглашает башкир на угощенье, они решительно отказываются, ибо знают истинную цену такого «угощения». Но они не в состоянии дать решительный отпор своим противникам и под страхом тюрьмы и сбора недоимок вынуждены подчиняться им. Только Сулейман и два его товарища остаются непреклонны. Несмотря на унижения и оскорбления, они не падают духом и готовы до конца бороться за свои права. Верой в счастливое будущее живут и возчик Минибай, и слепой кураист, и Сулейман, ободренные решительными действиями Арасланова.

Действительно, Арасланову удалось сделать многое. На сходе он раскрыл наглость и цинизм грабительских действий Брызгалова. Обнаружилось, что в приговоре указано земли в два раза меньше, чем было в действительности; многие подписи оказались фиктивными: одни из мнимых их авторов находились в отъезде, других же давно не было в живых, третьи, подкупленные Брызгаловым за тубетейки, полтинники и всякие безделушки, давали противоречивые показания. Выяснилось, что часть действительных подписей получена

лишь под угрозой избиения и тюрьмы. Кроме того, была нарушена сама процедура оформления покупки: подписи для приговора собирали по домам, а приговор прочитали затем на сходе с большими изменениями. Вдобавок к этому, пытаясь замести следы преступления, сторонники Брызгалова выкрали из мечети «бумаги». Мошенничество Брызгалова было разоблачено полностью, и дело надлежало передать в суд. Арасланов предвкушал уже полную победу.

Но неудержимое болезненное влечение к Квитковской заставило его бросить все дела и уехать в город. Пылкий и страстный, он с одинаковой силой отдается и общественному долгу — служению своему народу, и личному — любви. Борьба между общественным и личным сопровождает его на протяжении всего романа. Он ясно осознавал, что низко и пошло любить замужнюю женщину, укоряя себя за слабость и стремился подавить чувства во имя общественных интересов. Однако его страстной и впечатлительной натуре не суждено было преодолеть больших чувств, тем более, что он, ослепленный любовью, не смог распознать холодности, расчетливости и цинизма своей любимой. Трагедия Арасланова в том, что он ради личных интересов отступился от своего жизненного кредо, которое ставил превыше всего, и стал жертвой своей доверчивости и интриг Квитковской.

В идейном отношении, следовательно, роман «Степь сказала» — произведение чрезвычайно противоречивое. С одной стороны, в нем подвергается беспощадной критике колониальная политика царизма в отношении нерусских народов, в частности башкир, и правдиво изображается хищническое проникновение капитала в деревню, которое несет усиление эксплуатации трудящихся и вызывает рост недовольства угнетенных масс, таящих в себе большую потенциальную энергию. С другой стороны, не показаны пути выхода из создавшегося положения; борьба героев романа за возврат к патриархальной старине, выражающая идеологию народничества в соответствии с объективными законами общества терпит крах, историческая же тенденция развития социальной борьбы даже не намечена. Противоречия романа отражают противоречивость мировоззрения автора, который, резко обличая пороки капитализма, с большой симпатией нарисовал борьбу правдоискателя Арасланова против алчного хищника Брызгалова, за улучшение жизни народа, но, видимо, понимая тщетность попыток отдельной сильной личности повернуть колесо истории вспять, развенчал своего героя. Вместе с тем в романе явственно сказалось и незнание автором перспектив исторического развития общества...

Роман получил одобрение широкой прогрессивной обществен-

ности. Но вызвал нарекания даже в кругу единомышленников автора. Так, Ф. Д. Нефедов доверительно писал Федорову: «Первая часть хороша, во второй есть поэтические места, но герой не ясен, безумная страсть его к скверной бабе мотивирована слабо, особенно в виду принятой им на себя задачи: нельзя объяснить одним тем, что в нем натура, «Степь сказалась». Арасланов отчасти только напоминает Инсарова в «Накануне»¹.

Творчество А. М. Федорова вносит существенный вклад в русскую литературу о Башкирии. А его роман «Степь сказалась» явился значительным событием в общественной жизни конца XIX века. В нем правдиво отражено безудержное шествие капитала в башкирскую деревню, сопровождаемое варварским расхищением земель. Усиление колонизации Башкирии тяжелым бременем ложилось на плечи трудящихся масс, доводило их до грани нищеты. Глубоко возмущенный этим, писатель устами своего героя Арасланова заклеил позором наглых грабителей и притеснителей башкирского народа.

С подлинно демократических позиций изобразил писатель тяжелую беспросветную жизнь башкир, показал пробуждение сознания свободолюбивого народа, его способность к борьбе за свободу и счастье. С большой симпатией он рисует образы народных борцов Арасланова и Сулеймана, ставящих благополучие своего народа превыше всего. Федоров беспощадно разоблачил цинизм и моральную опустошенность капиталистических хищников Брызгалова и Квитковской, ради обогащения готовых на любую низость и подлость. Смело протестуя против наглого грабежа башкирских земель, автор обличал политику царизма в Башкирии, сочувственно изображал жизнь трудящихся масс. Впервые в русской литературе была предпринята попытка в романном жанре осветить важную социальную проблему из жизни Башкирии и художественными средствами разоблачить земельные махинации представителей эксплуататорских классов.

Как тонкий знаток красот природы, Федоров восторженно воспел ковыльные степи, богатые леса и реки Башкирии. Его пейзаж не неподвижен: он живет, изменяется. Мы вдыхаем всей грудью аромат степных трав и цветов, осязаемо чувствуем, как великолепно и широка жизнь. И степь начинает казаться живым, прекрасным существом, томящимся о счастье, мы будто даже видим, как вздымается ее грудь. Незаметно для нас этот живой образ сливается с образом самой родины, тоже тоскующей о счастье. И веришь

¹ ЦГАЛИ, ф. 519, оп. 1, д. 37, л. 3—3 об.

в приход настоящего дня, который раскует творческие силы вдохновенной природы и во весь рост выпрямит его настоящего хозяина — человека труда.

Произведения Федорова о Башкирии пронизаны фольклорными мотивами. В романе «Степь сказала» они играют особо важную роль. Фольклорные образы батыра Мурадыма и эпического героя Зая-Туляка помогают раскрытию идейного содержания романа. Народ богат талантами, утверждает Федоров, а сложенные им песни, сказки и легенды — его живая поэтическая история. Не случайно автор подчеркивает мысль о том, что в сознании юной башкирской красавицы Лейли-Зямал мужественный образ Арасланова ассоциируется с легендарным батыром Мурадымом. И она полюбила смелого башкира. Беззаветная любовь красавицы, как мы знаем из многочисленных примеров русской классической литературы, обычно принадлежит только положительному герою. На фоне эгоистичной, корыстной, расчетливой «любви» Квитковской резким нравственным контрастом выступает чистая и глубокая любовь Лейли-Зямал к Арасланову.

Важный социальный смысл вкладывает автор в лирическую песню Лейли-Зямал, которую она поет, мысленно обращаясь к Арасланову. Она поет о том, что у неба — солнце, месяц, звезды, которые дают ему и тепло и свет, а у «родины милой» ничего этого нет. У степи есть «ветер вольный, звонких птичек хор», есть «ковыль, как снег пушистый, из цветов убор», а у нее, «у маленькой Лейли-Зямал», нет друга, который бы ей все заменял: и «солнце, и месяц, и птиц, и цветы...». И она призывает своего избранника дать «отраду и свет» «родине милой» и верным другом ей стать. В песне тесно переплетены общественные и личные интересы Лейли-Зямал. Она понимает, что ее личное счастье возможно лишь при процветании «родины милой». Поэтому-то она и призывает Арасланова (борца за народное счастье, который представляется ей, воспитанной на лучших традициях устно-поэтического творчества, олицетворением сказочного батыра Мурадыма) озарить солнечным счастьем родную страну и лишь после этого просит его откликнуться на зов ее сердца. Но Арасланов, как и Мурадым-батыр, не оправдал больших надежд башкирского народа, образно выраженных в проникновенной песне Лейли-Зямал.

Если «исторической песней о Мурадыме» писатель хотел подчеркнуть, что появление Арасланова, борца за свободу башкирского народа, не случайное, а вполне закономерное явление, то сказка о Зая-Туляке, приведенная в эпилоге романа, должна была, по мысли автора, раскрыть основную идейную сущность произведения. Сюжет сказки, которая передана устами старика Сулеймана, резко отличается от всех известных версий эпического сказания о Зая-

Туляке и Хыу-хылу. И отличие это не только в опущении ряда ярких событий, обязательных мотивов и деталей, но в главном: все варианты сказания повествуют о победе земного героя над сверхъестественными силами, кстати, и сам мотив борьбы с мифическими существами не доминирует в произведении, а служит лишь фоном, на котором разрабатывается тема поисков невесты и создания семьи. В интерпретации же Федорова показано торжество волшебной силы над земным героем Зая-Туляком.

Произвольно изменяя сюжет эпического сказания «Зая-Туляк и Хыу-хылу» и снижая его идейное звучание, Федоров пытается увязать смысл сказки о Зая-Туляке с проблемами современной ему действительности. Связав же идею сказки с освободительной борьбой башкирского народа, он сопоставляет судьбу Зая-Туляка с участью Арасланова и делает вывод о бессмысленности борьбы героев-одиночек как в далеком прошлом, так и в настоящее время. Ибо субъективные причины, по мнению автора,— непреодолимая помеха, стоящая на пути героя-одиночки и мешающая ему выполнить самые благие намерения. Идея романа «Степь сказалась», утверждает писатель, созвучна с идеей сказки: попытки современных Зая-Туляков бороться против социального зла и насилия тщетны, они ничего не добьются, им уготована та же участь, что и раньше.

Таким образом, автор, с большой симпатией рисуя своего героя Арасланова, в то же время раскрывает несостоятельность, бессмысленность его борьбы, развенчивая в его лице героев-одиночек эпохи позднего народничества. Это, безусловно, заслуга писателя. Тем более, что его герой — натура активная, действенная.

В духе фольклорных мотивов, которым автор придавал важное значение, символичным представляется и название романа — «Степь сказалась». Этим названием писатель хотел подчеркнуть, что человек, родившийся в степи (а степь в трактовке Федорова является олицетворением невежества, патриархальности), даже если он высокообразован, как главный герой романа Арасланов, все равно не способен жить в другой среде. По мнению автора, его герой не смог осуществить свою высокую миссию именно потому, что он «дитя степи», кровная связь с которой, якобы, и сказалась в нем. В этом идейная слабость произведения.

Несмотря на существенные противоречия, обусловленные отсутствием четкого положительного идеала, роман «Степь сказалась» имеет большое познавательное и воспитательное значение: реалистически отражает существенные стороны дореволюционной башкирской действительности.

До середины 90-х годов А. М. Федоров жил в Уфе, в 1896 году переехал в Одессу. Он «сочувствовал демократическому движению и живо откликнулся на события революции 1905 года, начиная с «кровавой страды» 9 января, которая, по его словам, «захлестнула все сердца, любящие Россию и ненавидящие гнет и насилие».¹ Взволнованно писал он, в частности, своему другу И. А. Бунину о восстании на броненосце «Потемкин».

А. М. Федоров был широко известен как автор романов «Наследство», «Природа», «Камни», «Подвиг», «Бумажное царство» и других. Кроме того он написал большое количество рассказов, очерков, стихотворений, перевел на русский язык стихи А. Теннисона, Дж. Кардуччи, А. Негри, драмы У. Шекспира и Э. Ростана. Его пьесы «Бурелом», «Обыкновенная женщина», «Стихия», «Старый дом» получили высокую оценку А. П. Чехова и успешно шли в Александринском, Художественном и провинциальных театрах России. В 1911—1913 годах в Москве вышло собрание сочинений писателя в семи томах. Многие годы он преподавал русский язык и литературу в гимназиях Софии, опубликовал «Антологию болгарской поэзии» (1924).

Мурат Рахимкулов

¹ Поэты 1880—1890-х годов. Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. Л., «Советский писатель», 1972, стр. 386.

СТЕПЬ СКАЗАЛАСЬ

Р о м а н

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Небольшой пассажирский пароходик, названный «Геркулесом», подходил к губ. гор. Светлорецку, последней пристани вверх по реке Светлой. Утренняя заря давно уже погасила звезды, но солнце еще не всходило. Вся река дымилась белым ленивым туманом, который окутывал даже ближайший берег и цеплялся за кусты и вершины деревьев, затопленных полою всеннею водою, далеко разлившейся по отлогому лесному берегу.

Правый берег был гористый, кое-где покрытый лесом и почти отвесно поднимавшийся над водою. Вдоль этого берега стояли беляны и барки с мостками, перекинутыми на землю, а вдали, где развевался флаг пристани, виднелись завозни и лодки. Отражения берега и лодок сонно рисовались в зеркале реки, затушевываясь порою острою рябью, поднимаемую свежим и влажным утренником.

По середине реки медленно плыл по течению убогий плотик, на котором сутился, ввиду приближающегося парохода, растрепанный мужичок. На плоту бледно горел огонек, и отражение этого огонька вонзалось в воду, точно острый стальной кинжал. Пароход засвистал протяжно и звонко высоким фальцетом. Стая уток с криком и шумом вылетела из кустов и замелькала над водою. Сонный лебедь с лебедкою близко допустили к себе пароход, точно удивляясь появлению этого чудовища среди спокойной реки, величественно выгибая шею и поворачивая по направлению к нему свои благородные головы. Когда раздался свисток, они повернулись друг к другу, советуясь, и вдруг порывисто рванулись

вперед, тяжело хлопая крыльями по воде, не сразу отделяясь от нее, и медленно полетели, отражаясь в воде, точно два серебряных облачка. Мужичонка засуетился еще больше на своем плоту и заработал кормовым; но когда его убогий плотик благополучно миновал паромход, качаясь на его волнах, стал отчаянно ругаться по адресу лоцмана и капитана и ругался до тех пор, пока голос его был слышен по реке за шумом паромходных колес.

Внизу, в отделении III класса, начиналось некоторое движение: слышались сонные голоса, плач ребенка, перебранка, но пассажиры I и II классов еще спали. Только один из них стоял на палубе, молча озирая окрестности, как будто он хотел убедиться: все ли здесь стоит на своем месте, как было пятнадцать лет тому назад. Пассажир этот, мужчина лет тридцати двух, невысокого роста, худощавый и смуглый, с редкой черной бородой и усами. Скулы слегка выдавались, нос был широкий, с приподнятыми тонкими ноздрями, но эти недостатки скрашивались выпуклым лбом и черными острыми глазами, небольшими, широко поставленными, с тем характерным разрезом, по которому сразу можно узнать башкира. Ум пронизательный и честный светился в этих глазах и придавал лицу ту привлекательность, которою наделены редко даже интеллигентные лица.

Он уже давно стоял на палубе в легком весеннем пальто, с мягкой шляпой в руках, и, по-видимому, не ощущал утреннего апрельского холодка. Ветер обдувал его голову с коротко остриженными черными волосами, широким углом выступавшими на середину лба.

— Я вам не помешала? — раздался позади его голос.

Арасланов быстро обернулся, отрывисто ответил:

— Нисколько, — и пожал протянутую ему руку.

Голос у него был гортанный, немного глухой, но твердый.

— Какое прелестное утро! — в восторге заговорила пассажирка, слегка ежась от прохладного ветра. — У меня даже и сон сразу пропал, хотя вчера мы поздно засиделись с вами, а вставать так не хотелось. Маша меня будит, говорит: «Сейчас приедем, барыня», а я как будто во сне это слышу. Насилу поднялась.

Она громко и весело засмеялась, обнаруживая мелкие белые зубы.

Вместе с этим смехом последние признаки сна, таившиеся где-то в уголках ее полных красивых губ и под длинными чуть-чуть изогнутыми ресницами зеленоватых глаз, совсем исчезли, и ее красивое нежное лицо с ямочкой на подбородке дышало бодростью и свежестью.

— А вы, верно, давно встали? — обратилась она к спутнику, стараясь застегнуть крючок у ворота малиновой плюшевой накидки.

Голова ее при этом была откинута назад, и на упругой белой шее внизу чернело родимое пятнышко.

Глаза были полузакрыты, а губы, по мере того, как она старалась застегнуться, то вытягивались, то приподнимались, и эти невольные гримасы придавали ее лицу детское выражение.

«Право, трудно предположить, что она почти ровесница мне», подумал Арасланов и предложил ей помочь застегнуть крючок.

— Ах, мерси! — С благодарной улыбкой она покорно приблизилась к нему свою шею.

Арасланов наклонился, чуть-чуть прищурил глаза и, застегивая крючок, который требовалось немного отогнуть, ответил, что не ложился спать совсем.

— Вот как! Вероятно, вам мешало заснуть в эту ночь волнение?

— Нет, просто в каюте было душно, — возразил Арасланов и, застегнув крючок, отступил в сторону.

— Да, это всегда с первыми пароходами так много народа бывает.

Пристань, скрывшаяся на время за крутым поворотом, который делала река, показалась снова, и пароход засвистел еще пронзительнее.

— Ай, ай, какой ужас! — закрыла она свои маленькие розовые уши обеими руками и, когда свисток прекратился, продолжала:

— Ну, вот мы и дома сейчас.

— Да, вы-то дома, а я в гостях.

— В гостях! Как в гостях? Ведь Светлорецк ваш родной город?

— Нет, я родился в деревне, верстах в шестидесяти от Светлорецка.

— Но ведь воспитывались-то вы в Светлорецке?

— Да, как вам известно, учился в Светлорецкой гимназии.

— Ну, вот видите, значит, в Светлорецке у вас прошли, как говорится, золотые годы юности.

Арасланов едва заметно улыбнулся.

— У вас с Светлорецком, наверное, связано много отрадных воспоминаний. Я думаю, вам знакомо здесь все, чуть ли не каждый кустик?

— Ну, за пятнадцать лет знакомые кустики, если уцлели, успели превратиться, вероятно, в преизрядные деревья, а что касается воспоминаний, их действительно порядочно.

— Вот видите!

— Да. Вон там, например,— указал он рукою по направлению к мосту через Светлую, который вырезывался на ясном фоне неба, точно черная пряжка на голубом поясе,—там во время ледохода я чуть не утонул: льдина прорезала челнок, и он пошел ко дну. Хорошо, что успели спасти и я отделался только лихорадкой.

— Ах, ужас какой!

— А там,— он указал на спускавшуюся по обрыву вплоть до реки большую монастырскую рощу, из-за молодой зелени которой просвечивали белые стены монастыря с золочеными маковками,— там, на маевке, меня бог вестъ за что поколотили пьяные мастеравые... Как видите, все это не особенно отрадные воспоминания.

— Будто бы у вас только и есть воспоминания в этом роде?

— О, нет, есть и другие.

— Ну, вот, видите ли, как я угадала?

Он понял, на что она намекнула и, совершенно непринужденно рассмеявшись, покачал головою:

— Нет, Ариадна Владимировна, вы ошибаетесь.

— Ошибаюсь? В чем?

— Вы думаете: наверное, сердце его трепещет от ожидания увидеть ту, которая... и так далее...

Она, молча, улыбаясь, посмотрела на него, как будто хотела сказать: а разве на самом деле это не так?

— Простите, это ведь только в плохих романах так пишут, а в действительности-то почти никогда не бывает.

— Будто?

— Уверяю вас. Меня пятнадцать лет здесь не было, а за пятнадцать лет всякая любовь успеет испариться, если бы она даже и была,

— Ну, нет, не скажите! — вдумчиво возразила ему собеседница и, пристально посмотрев на него, подумала: «А он, однако, не похож на других, и какое у него умное лицо».

— Но, послушайте, если у вас нет ничего подобного, то во всяком случае есть, конечно, родные, знакомые, которые вас встретят с распростертыми объятиями?

— Увы, к сожалению, и распростертых объятий не будет. Правда, был там у меня человек, который сделал для меня больше, чем родной отец, но он давно умер.

Лицо Арасланова омрачилось.

— А что касается знакомых, — кроме товарищей по гимназии, у меня никого и не могло быть, да и те, вероятно, позабыли меня, если только живы и пребывают в Светлорецке. Они и не узнают меня при встрече.

— Ну, нет. Вас нельзя ни забыть, ни не узнать.

— Благодарю.

— Право. Ведь вот я узнала же вас почти сразу, как увидела.

Его тронула эта любезность, и хотя он не нашелся в ответ сказать ни слова, но был в душе очень признателен ей.

— Вы, пожалуйста, не забывайте старой знакомой, — ласково сказала она, подавая Арасланову руку, которую тот крепко пожал. — И я буду очень рада считать себя первой из ваших друзей. Вы познакомьтесь с мужем и, я уверена, понравитесь друг другу.

— Благодарю вас... Впрочем, — спохватился Арасланов, — я не совсем прав, что у меня в Светлорецке нет никого знакомых. У меня есть даже приятель там, у которого я и остановлюсь на первое время, но он не из светлорецких обывателей.

— Кто такой?

— Бессонов.

— Бессонов?

— Да, мы с ним товарищи по университету. К сожалению, ему не удалось окончить курса: он повредил себе знакомством с некоторыми политически скомпро-

метированными товарищами, хотя сам не был виноват ни душой, ни телом: это художник по природе, а не революционер. Талантливая русская натура, но, к сожалению, мало дисциплинированная. Впрочем, вы, вероятно, слышали его фамилию, может быть, даже знаете его. Он секретарь земской управы, следовательно, служит под началом вашего мужа.

— Да, мы немного знакомы.

— Он славный малый,— горячо начал было Арасланов, но Ариадна Владимировна перебила его, возвращаясь к прежнему разговору.

— Вы сказали, что на первое время остановитесь у него. Разве вы рассчитываете долго пробыть в Светлорецке?

— Я еду туда навсегда. Если не в самый Светлорецк, то в уезд.

Она с искренним изумлением подняла на него глаза и протянула:

— На-всег-да-а?..

— Да, навсегда.

— Променять Петербург на Светлорецк! Но что же вас так влечет сюда?

Он хотел ответить, но в это время на палубе зашумелись. Раздались крики команды и ответные с пристани. Пароход причаливал к ней, яростно взбивая воду. Горничная пассажирки, Маша, хорошенькая смуглая девушка, копировавшая манерами барыню, обратилась к ней, торопливо приглашая выходить.

— Pardon! — поспешно обернулась спутница к Арасланову. — Я и не заметила, как мы доехали... Маша, крикни носильщика и прикажи выносить вещи в коляску. Вон и лошади наши. Итак, до скорого свидания.— И грациозно кивнув ему, хотела уйти, как вдруг пароход вздрогнул, ударившись носом в конторку. Она инстинктивно схватилась в испуге за руку Арасланова, вскрикнула и прижалась к нему. Маша также взвизгнула.

Крики с парохода и с конторки усилились.

— Пустяки,— проговорил Арасланов, слегка отводя ее руки.

— Ах, какая я глупая! — покраснев, пробормотала она, быстро от него отшатнувшись, и в трех шагах от

Арасланова обернулась к нему вполоборота, и ее веселый, смеющийся взгляд сверкнул.

Арасланов был доволен, что обстоятельства помешали его откровенности. Он не без смущения посмотрел вслед и, снова обратив глаза на пристань, заметил быстро спускавшуюся по мосткам к пароходу знакомую фигуру Бессонова, в чапане, накинутом на широкие плечи, и в мягкой серой шляпе на темно-русых слегка вьющихся волосах.

— Андрей! — крикнул ему Арасланов, и не прошло минуты, как приятели обнимались, стоя на конторке среди торопливо сновавшего и шумевшего с узлами и чемоданами народа.

II

Арасланов и Бессонов не видались года четыре, даже не переписывались, но не теряли друг друга из вида, и когда Бессонов получил известие, что товарищ его собирается в Светлорецк, он предложил ему остановиться у себя и выехал теперь его встретить.

— Однако, что же это мы стоим на дороге! — первым спохватился Бессонов, после того, как они обнаружили друг в друге некоторые внешние перемены.— Заберем багаж, да айда. Где он у тебя?

Арасланов направился в каюту, товарищ его неоднократно спотыкался о тюки и разные предметы, наваленные на дороге.

— Да ты держись за меня или вооружись пенсне.

— В том-то и дело, что я потерял пенсне дорогой. Слетело с носа и упало куда-то. Попробовал искать его, но без пенсне опять-таки ничего не вижу. Точно в тумане.

— Ну, так лучше уж подожди меня здесь. Я сию минуту.

И не успел еще Бессонов что-нибудь ответить, как Арасланов был уже внизу, и вскоре вышел оттуда с носильщиком, несшим за ним два небольших чемодана. В руках Арасланова была подушка.

— Тащи все это за мной,—скомандовал Бессонов носильщику.— У меня там своя лошадь дожидается.

— Своя?

— Своя! — не без гордости ответил тот.

На берегу к фонарному столбу была привязана гнедая лошадка, впряженная в черную плетенку.

Носильщик взгромоздил в плетенку вещи.

— Ты, однако, помещиком живешь.

— погоди, еще не то увидишь!

Лошадь побежала рысцей по широкой дороге вверх на гору, скрывавшую от глаз город. Не успели они несколько отъехать от пристани, как их обогнала пара вороных в дышло.

В гору лошади шли медленнее. При виде Квитковской с лица Бессонова мгновенно исчезло веселое выражение. Он молча приподнял шляпу и поклонился ей.

Она, приветливо улыбаясь, ответила на поклон и крикнула Арасланову:

— Помните же ваше обещание.

И, коснувшись зонтиком плеча толстого кучера, чудесным образом превращавшегося в сухопарого вместе с скинутым армяком, она отвела безучастно глаза в сторону.

Лошади наддали, и коляска сразу далеко опередила плетенку.

— Разве ты знаком с этой барыней? — не глядя на Арасланова спросил его Бессонов.

— Да, я возобновил на пароходе давнишнее знакомство. Когда-то, будучи еще гимназистом, я давал ей уроки, — добавил он и улыбнулся. — Помню, она ужасно была плоха по математике. Никак я не мог втолковать ей правило процентов.

— Гм. Ну, с тех пор в этом направлении она, кажется, сделала большие успехи, — пробормотал Бессонов.

Но Арасланов пропустил мимо ушей это странное замечание, хотя и расслышал его. Его заинтересовало другое: от глаз его не ускользнуло некоторое смущение Бессонова при встрече с Квитковской. Одновременно с этим вспомнил он, что и Квитковская на пароходе при имени Бессонова несколько смугилась.

«Тут что-нибудь да не так», подозрительно подумал он, взглянув искоса на товарища, но тот, как ни в чем не бывало, понукал лошадь.

— Что же это я тебя не спрошу, как здоровье твоей жены? — вспомнил вдруг Арасланов.

— Спасибо. Она совсем молодцом стала. Кумыс ей помог.

— А разве она кумыс пила?

— Как же? Зачем же я сюда приехал!

— Так вот оно что!

— Разумеется. Разве ты этого не знал?

Как это всегда почти бывает, в первые минуты встречи товарищи говорили о самых незначительных предметах, и только теперь начали выплывать для них наиболее интересные вопросы.

— Что ж, она совсем бросила сцену?

— Совсем.

— Молодец. Не ожидал я от нее этого.— Молодец! Ну, а как твои занятия литературой?

— Да ничего. Работаю понемногу.

— Я изредка читал твои стихи, но, ты знаешь, я не особенно долюбливаю их. Я ведь не эстетик.

— Ты-то не эстетик! Ну, это ты, брат, клеветешь на себя. Я тебя хорошо знаю.

— Какая же это клевета, когда я вовсе не считаю это недостатком.

— Да нет у тебя этого недостатка. В тебе такой эстетик сидит, что дай бог всякому. Разве я не помню, как ты в Эрмитаже разошелся в скульптурном отделе!

Арасланов недовольно нахмурился.

— Мальчишка был. Минута такая нашла.

— Ну, нет, тут не в мальчишестве и не в минуте дело. Упрям ты,— вот это верно. Вообразил себе, что эстетическое чувство чуть ли не разврат, и стараешься его подавить. Да не удастся тебе это. Рано или поздно оно, как все искусственно подавляемое, с такою силою развернется у тебя, что ты ахнешь.

— Будет вздор-то болтать. Развратом я эстетику не считаю, что она для нашего брата, работников, лишняя роскошь, так это верно.

— Лишняя роскошь! — всплеснув руками и уронив вожжи, воскликнул Бессонов.— Лишняя роскошь! Да ведь эстетика — сама истина!

Арасланов только махнул рукой и снова повернул разговор к занятиям Бессонова.

— Я теперь в прозу ударился. Роман пишу,— заявил Бессонов.

— А-а, почитаем.

— Он еще у меня в набросках. Но это, пожалуй, будет в твоём духе... Драму тоже начал. И сюжет и типы замечательно интересны... Да,— неожиданно добавил он,— если кто желает заниматься литературой серьезно, наблюдать жизнь, должен непременно ехать в провинцию. Здесь что ни лицо, то тип. Столичная жизнь обезличивает человека, а здесь на каждом шагу цельные натуры. Гляди и пиши.

— Вот тебе и раз! Ты, кажется, в поклонники натурализма записался. Не ожидал.

Бессонов слегка опешил сначала, а затем горячо возразил:

— Вообще нет. Ты меня не понял. Я только хотел сказать, что для творчества в провинции больше сырого материала. Вот и все.

— Но ты, помнится, когда-то говорил, что для писателя непременно нужно жить в Петербурге.

— О, что касается внешнего успеха, конечно, так. Покуда пошлешь что-нибудь да узнаешь, принято, или нет,— время идет. Да и редакторы не особенно церемонятся с молодыми писателями: не отвечают по целым месяцам, а иной раз и совсем не отвечают. Все это, конечно, скверно. Ну, и насчет литературного заработка — тоже в столице, разумеется, втрое больше заработаешь...

Арасланов не хотел огорчать товарища при первой же встрече и перевел разговор на местную общественную жизнь.

Бессонов бойко стал описывать светлорецкое общество: больше, впрочем, внешние черты. Когда же Арасланов спросил его о Квитковских, тот как-то замялся, пощипал бородку и прервал разговор.

Между тем лошадка поднялась в гору по порядочно избитой дороге. Солнце уже взошло. Утро было ясное и обещало жаркий день, несмотря на то, что вчера, очевидно, был дождь: земля хранила влагу, и зелень сияла свежестью. Деревья только что распускались, и в воздухе пахло лопнувшими почками и молодой травой.

Справа, все дальше и дальше убегая от дороги, выделялась широко разлившаяся Светлая, и по ее обрывистому берегу ютились домишки выселков. Слева, возле дороги, шла холмистая местность, покрытая кустарником попеременно с крупным лесом, местами прорезанная овражками, где еще таился посиневший снег, точ-

но облака, упавшие с неба. В молодой зеленой траве белели, желтели и синели первые цветочки, и ветер по временам, обвевая своим тихим дыханием, доносил запах фиалок вместе с парами земли, недавно освободившейся из-под снега.

— Хорошо здесь,— мечтательно проговорил Бессонов после некоторого молчания, и лицо его приняло мягкое, спокойное выражение. Он даже вздохнул.

— Да, славно.

— Чудное теперь время стоит,— задумчиво продолжал он, опустив вожжи и с растроганным лицом обращаясь к товарищу.— Нигде начало весны не может иметь такой чарующей прелести, как у нас, на севере. Целую зиму, в продолжение чуть ли не шести месяцев — ненастье, холод, бураны... и вдруг весной повеет... Небо такое свежее-голубое, глубокое... Над землею стоит не то гул, не то звон... Точно в пасхальную заутреню... Земля воскресает как-то робко и стыдливо, сама не верит своему счастью и боится, что это сон. Ах, хорошо! — восторженно закончил он совсем растроганным голосом, и глаза его подернулись дымкою.

Он замолк на минуту и потом продолжал уже значительно спокойнее:

— Мы с тобой везде побываем, куда стоит это время. Воображаю, сколько у тебя пробудится воспоминаний!

«Ну, и этот о воспоминаниях», подумал Арасланов; однако, боясь обидеть воодушевившегося приятеля, он не возразил ему ни слова и молча залюбовался его лицом: будто Бессонов или недавно пережил какое-то горе или опасную болезнь и теперь выздоравливает. Он даже хотел спросить его об этом, но вместо того сказал:

— А ты, как я вижу, очень любишь природу.

— Да как же ее не любить-то! Ведь это, брат, красота какая! И уж она тебя не обманет, не изменит тебе,— вырвалось у него, и он на мгновение побледнел, но потом глаза его загорелись еще больше, на бледных щеках показались пятна, и, бросив острый взгляд по тому направлению, где скрылась коляска, он оглянулся назад и широким жестом указал на раскинувшуюся перед его глазами панораму...

Внизу, по отлогому лесистому берегу, широко разлилась Светлая, и извилины ее, выглядывая то там, то

здесь из зеленого бордюра, тонули в необозримой дали, в синеватом тумане. Острова, луга, холмы, покрытые лесом, не везде еще распустившимся и потому отливавшим разными оттенками: фиолетовыми, синими, коралловыми, переходившими кое-где в светло-зеленоватые тона... Зеленые поля, пестревшие озимыми на черном фоне распаханной земли... Деревья кое-где то подымали из воды свои вершины, точно моля о спасении, то горделиво стояли на возвышенностях, красиво отражаясь в реке, которая, казалось, боялась шевельнуть волной, чтобы не нарушить это очарование. Монастырь теперь был виден почти весь, и стены его сверкали на солнце ослепительною белизною, на которой темная зелень сосен и елей выделялась особенно рельефно; кресты золоченых маковок горели, как огонь. Направо, у лесной опушки, белели палатки цыган, паслись стреноженные лошади, и пестрели, как живые, движущиеся цветы, живописные лохмотья их хозяев. Над всем этим пейзажем мягко улыбалось весеннее небо, где в солнечном блеске купались, как лебеди, и таяли белые пушистые облака. Арасланов невольно поддался увлекательной речи товарища, и мечтательное настроение Бессонова стало уже передаваться ему, как вдруг впереди послышались чьи-то пьяные голоса, оравшие песню, и резкий гор-танный говор.

Арасланов насторожился и посмотрел вперед.

Навстречу им катились одна за другой две телеги, запряженные шершавыми башкирскими лошаденками. Обе телеги были набиты пьяными башкирами в белых остроконечных войлочных шляпах, горланившими безобразные русские песни. На первой телеге, стоя во весь рост, кривоногий башкир немилосердно хлестал нагайкой лошаденку и ругался наполовину по-русски, наполовину по-своему. Во второй телеге все сбились в кучу, и лошаденку хлестал уже ехавший рядом, верхом, малайка, совсем склонившийся с седла на бок, так что, казалось, он непременно должен был свалиться и держится только каким-то чудом.

Лошади башкир поравнялись с плетенкою Бессонова. Пьяный башкир, стоявший в телеге, быстро снял шляпу и поклонился встречным господам.

— Синовники,— пробормотал он, моргая маленькими глазками.

Некоторые башкиры тоже сняли шляпы. Арасланов нахмурился, побледневшие губы его дрогнули, все лицо как-то страдальчески исказилось. Он, немного помолчав, сказал:

— Нет, не природой наслаждаться я приехал сюда, а, чем возможно, помочь этим несчастным.

Взглянул вслед своим собратьям и отвернулся от Бессонова.

Тот, пораженный этой внезапной вспышкой, посмотрел на своего товарища и, крепко пожав ему руку, молча передернул вожжами.

Лошадь побежала быстрее. Направо показалось кладбище: значит, город близко, и, действительно, дальше виднелся острог, казармы, еще какие-то здания, и скоро весь город предстал, как на ладони, утопая в зелени вместе со своими церквами, крышами и трубами.

III

Губернский город Светлорецк был построен вскоре по взятии Казани по просьбе башкир, чтобы им ближе было платить положенный на них «яса́к» во оный град, ибо пред тем тот яса́к отвозился в Казань (челобитие имели в 7081 году, т. е. 1573 г. от Р. Х.).

В Светлорецке в описываемое время было всего только тридцать тысяч жителей, мужская и женская гимназии, татарская мечеть, десятка полтора церквей, в двадцать раз больше кабаков, принадлежавших почти одному владельцу, купцу Трофееву, у которого в трех уездах было, кроме того, по винокуренному заводу; жалкая общественная библиотека, где в отделе философии значилась поваренная книга Молоховец, а русские писатели с иностранными фамилиями, как например — Шеллер, Губер, Гербель, значились в числе иностранцев по тощему и донельзя засаленному каталогу. Было еще два общественных собрания: дворянское — русское и магометанское; последнее для управления под председательством муфтия духовными делами всех магометан, кроме Кавказа и Крыма. Общественный музей, в котором, кажется, никто и никогда не бывал и — больше, по-видимому, ничего, если не считать нескольких деревянных пожарных каланчей, из которых одна недавно сгорела.

Осенью и весной в городе стояла такая невылазная грязь, что лошади увязали по брюхо, люди тонули насмерть, и часто добрые знакомые лишены бывали удовольствия видеть друг друга по целым неделям, потому что город по всем направлениям перерезан оврагами, через которые в ненастье нет переправы. Он весь тонет весной и летом в зелени, а ненавистные овраги принимают удивительно живописный вид и служат отличным прибежищем соловьев, не дающих весной обывателям спать.

Не менее чем половина светлорецких обывателей магометане и нет ни одного русского извозчика. Извозчицы экипажи убийственны, особенно так называемые «карандасы» или «гитары», поднимающие во время движения такой звон, что, кажется, будто едешь со скверным еврейским оркестром.

При появлении каждого нового сколько-нибудь интересного лица город всплашивается и старается узнать о приезде всю подноготную. Только одна полиция не интересуется этими пустяками и нисколько не любопытствует справиться, есть ли у приезжающих документы.

Лошадка Бессонова проехала несколько городских улиц, возбуждая бурное негодование многочисленных дворняжек, и вступила в растворенные настежь ворота большого двора, покрытого зеленою травой. Направо стоял деревянный флигель с мезонином; возле него был разбит небольшой палисадник с затейливыми клумбами и кустами зацветающих вишен и сирени.

С другой стороны дома раскинулся большой сад, а налево огород, посреди которого рос огромный, старый, развесистый вяз.

Бессонов указал Арасланову на мезонин с балконом и объявил:

— Вот твоя будущая резиденция. Там, брат, всего одна комната, но зато большая.

— Спасибо, спасибо.

Лошадь остановилась у подъезда. Приятели выскочили из плетенки.

— Чем богаты, тем и рады,— раздалось сзади них приветливое звонкое восклицание.

Оба обернулись и увидели Варвару Михайловну, жену Бессонова. Она, очевидно, шла из огорода в красном ситцевом платке, спущенном низко на лоб от солнца.

Ее пышные черные волосы слегка растрепались и повыбились из-под платка около висков и шеи.

— Здравствуйте, Варвара Михайловна! — радостно ответил ей Арасланов, разминая на ходу слегка затекшие от сиденья ноги и дружески, как старый знакомый, протягивая ей обе руки.

— Ах, простите, я вся в земле,— смутившись, остановила его Варвара Михайловна, показывая свои перепачканные землю, успевшие уже загореть, но красивые руки.

Арасланов взял ее за кисти рук и, пожимая их, говорил, глядя в ее большие черные глаза:

— Да как же вы поздоровели. Как пополнели! Просто сердце радуется, глядя на вас, и зависть берет.

Фигура ее была довольно высокая, почти вровень с мужем, стройная и гибкая, но далеко не полная; лицо худощавое, бледное, с большими черными глазами и немного приподнятым подбородком, что придавало ей всегда грустное выражение. Когда она смеялась, уголки ее тонких губ опускались и обнаруживали белые, но неровные зубы. Лицо было очень подвижное, и отчасти от этого, а отчасти от долговременного употребления на сцене красок кожа ее была кое-где чуть-чуть прорезана морщинами, хотя Бессонсвой было всего-навсего двадцать семь лет.

— Пополнели... пополнели,— повторил Арасланов.

— А вы точно замаринованный, несколько не изменились,— смеясь, заявила она.

— Разве? А вот Андрей находит, что я похудел и постарел.

— Это он из зависти.

— Однако, что же это я! Хороша хозяйка... Пожалуйста в комнату. Вас там самовар дожидается. Я уж пила чай, но за компанию выпью с вами.

— Однако, вы раненько поднимаетесь.

— По-деревенски... Андрюша, тащи же Араслана Галиевича. Видите, я даже не забыла ваше имя! Тащи в столовую, а я пойду через кухню, руки вымою, да, может быть, и вы переодеться захотите, ваша комната к вашим услугам.

Она быстро, слегка колеблющейся походкой, пошла к другой двери и скорее вспрыгнула, чем вошла на крыльцо.

— Пошли кучера лошадь взять,— крикнул ей вдогонку Бессонов.

— Он еще не вернулся. Я малайку * пошлю.

— Экий подлец! — Отпросился у меня вчера в мечеть и опять запьянствовал. Пять раз в неделю непременно без задних ног.

— Что же ты его не рассчитаешь?

— Да жалко. Его жена очень уж бедствует.

С крыльца сбежал малайка в тюбетейке и босиком.

— А это вот его сынишка, у нас тоже околачивается.

Мальчишка взял лошадь, едва достав узду, и повел ее к конюшне.

Приятель отправился в комнаты.

Бессоновы занимали квартиру в четыре комнаты, пятая — мезонин, — уютно обставленную, со множеством цветов. Из залы Бессонов провел его через будуар Варвары Михайловны. Это была небольшая комната, покрытая во весь пол ковром. Окна комнаты выходили в сад, и ветви зацветающей белой сирени просились в комнату. Между окнами стоял дамский ореховый письменный стол с мраморным письменным прибором. У противоположной стены — небольшой столик с лампой, а над ним портрет хозяйки, бойко нарисованный карандашом.

— Похож? — обратился к Арасланову хозяин.

— Похож.

— Это я рисовал.

— Вот как. Я не знал за тобою таких способностей.

— Я еще в гимназии немного рисовал. В прошлом году вдруг, ни с того ни с сего, припала охота рисовать. Нарисовал одного приятеля. Удачно. Я всех знакомых почти перерисовал потом.

— А теперь бросил?

— А теперь бросил, — небрежно ответил Бессонов. — Не стоит. Есть дела поважнее.

Арасланов с улыбкой покачал головою.

— Ну, а теперь пойдем взглянем на твою комнату, да и завтракать, — предложил Бессонов.

— Пойдем. Я кстати себя приведу немного в порядок и умоюсь.

— Ладно... Ах, о чемоданах-то мы и забыли. Я сию минуту скажу кухарке, чтобы она перенесла их сюда.

* Мальчишку.

Бессонов тотчас же сделал кухарке это распоряжение, и они последовали в мезонин.

— Однако, как у вас славно.

— Да, это правда, у нас хорошо,— с скромным удовольствием согласился с ним Бессонов.— Что зарабатываем, то и проживаем.

— А много вы зарабатываете?

— Да рублей двести. Полтора ста рублей я, да рублей пятьдесят Варя. Она уроки музыки дает, хотя и нет в этом необходимости.

Они вошли в мезонин.

— Тесновато тебе здесь, пожалуй, будет? — заметил Бессонов.

— Что ты, какое тесновато? Здесь хоть танцевальные вечера устраивать.

Комната была большая. Направо от стены стояла кровать, перед окном налево — стол, кресло, стулья, шкаф и — опять-таки цветы. Стеклянная дверь справа вела на балкон, откуда был виден почти весь город и открывалась даль. Через улицу — овраг, весь покрытый зеленью. Овраг тянулся вплоть до реки и по краям и склонам его лепились лачужки. Бессонов очень любил эту комнату. Она служила ему кабинетом, но он великодушно решил уступить ее товарищу.

— Вот только полицейская каланча портит этот вид,— не шутя огорченный, обратился Бессонов к Арасланову, указывая на вышку этого здания, выглядывавшую из-за зелени оврага.

По вышке ходил сторож.

— Пустяки,— улыбнувшись, ответил Арасланов.— Это предубеждение. Если бы это здание называлось не полицейской каланчей, а какой-нибудь башней,— я уверен, ты ничего бы не имел против нее.

Бессонов рассмеялся и увидел с балкона прислугу, которая несла по двору чемоданы Арасланова.

— Ну, вот и багаж твой несут. Вот тебе умывальник, полотенце и весь, так сказать, инвентарь. Будь, как дома, а я отправлюсь вниз.

В столовой кипел самовар. Солнце, прорезывая ветви сада, проникало в комнату и ослепительными бликами играло на чистом никелированном самоваре. Варвара

Михайловна явилась к чаю, и одновременно с нею сверху спустился и гость.

— Ну, садитесь и давайте беседовать,— пригласила его хозяйка.

— Да ты прежде хоть накорми его, а потом уж пытай.

— Можно и беседовать и есть в одно и то же время. Не правда ли?

— Совершенная правда! Приятный разговор даже аппетит возбуждает.

— Ну, так примемся за то и другое. Вам кофе или чаю прикажете?

— Чаю, пожалуйста.

Она подала Арасланову чай, придвинув хлеб, оборотилась к нему всей своей фигурой и, поставив локти на стол, опустила на руки голову и приготовилась слушать. Солнечный луч бросил самовар и стал играть с металлической шпилькой в ее волосах. В окно, наполовину открытое, доносилось чириканье птиц.

— А ты что же мне-то чаю?— взмолился Андрей Михайлович.

— Сам нальешь.

Бессонов покачал головой и налил себе чаю.

— С чего же прикажете начать?— ответил Арасланов.

— С Петербурга. Ну, что там нового в общественной жизни, в литературе, в искусстве?

— Судя по тому обилию газет и журналов, которые вы получаете, вы должны знать эти новости лучше меня. Да, наконец, должен вам сказать, я мало интересовался всеми этими предметами,— времени не было.

— Жаль. По газетам что интересного! Любопытно знать то, чего нет в газетах... Закулисную сторону... Весь механизм... Все пружины этой жизни.

Сказалась актриса. Она почувствовала это и, покраснев, стала поправлять на лбу природные завитки волос.

Бессонов пожал плечами и недовольно заметил:

— То есть сплетни, интриги и всю грязь! Да, это действительно интересно.

Барвара Михайловна вспыхнула, но даже не взглянула на мужа.

— Ну, зато здесь вы отдохнете от этих занятий. У нас здесь так тихо, что невольно ко сну клонит. Местным

Парисам и прекрасным Еленам, впрочем, этот сон на руку, — как бы вскользь, но не без женского яда заметила она.

Эти две искорки мелькнули и пропали. Разговор продолжался затем как ни в чем не бывало.

— Мне совестно, что я воспользовался любезностью Андрея и вашей. Я боюсь, что стесню вас.

— Что вы! — искренне запротестовала Варвара Михайловна. — Какое тут стеснение. Мы рады-радешеньки вашему приезду. Вы не поверите, как здесь мало людей.

— Пустяки ты говоришь. И здесь есть люди очень хорошие.

— Кто это? Раз-два, да и обчелся. Разумеевы да Старковы.

— А Чемезовы, а Рябиныны?... Да ведь это только наши знакомые, а город-то велик. Я тебя познакомлю с некоторыми непременно. Среди этих людей есть по-настоящему незаметные герои. Да они тебе и полезны будут в твоём деле, наверное.

— В каком деле? — с живым любопытством спросила Варвара Михайловна. — Это не секрет?

— Нет, какие тут секреты, — ответил Арасланов.

Но Варвара Михайловна, как только узнала, что это не секрет, перестала интересоваться им и перескочила опять назад:

— Ну уж и герои. Ты вечно преувеличиваешь, Андрей. Вы ему только вполтину верьте, — простодушно аттестовала она мужа. — Уж он если начнет хвалить или порицать, так не знает меры.

Арасланов однако выразил желание познакомиться с незаметными героями, особенно, когда узнал, что один из них служит в земстве, другой секретарь судебной палаты, а третий член губернского по крестьянским делам присутствия.

— Тебя здесь с распростертыми объятиями примут все, — объявил он Арасланову.

— Это правда, — подтвердила его жена, — да, да, не скромничайте, пожалуйста! Слух о ваших успехах дошел и до нас. Мы даже читали статью вашу о... о...

— О социальном положении башкир в России, — подсказал Бессонов.

— Да, да, о социальном положении башкир в Рос-

сии. У меня такая скверная память... Забита этими глупыми ролями...— в виде извинения прибавила она.

— Пора бы забыть о них,— заметил Бессонов.

— Эта статья наделала здесь не мало шума и вызвала много толков. Ведь это теперь модный вопрос. У нас тут даже дамы пустились приобретать башкирские земли.

— Полно! — остановил жену Бессонов, видя, что Арасланов насторожился.— Ты лучше налей-ка ему чаю.

Варвара Михайловна повиновалась и с детской обидчивостью заговорила:

— Ну, все-таки, расскажите что-нибудь о Петербурге, Араслан Галиевич. Неужели так-таки там нет ничего интересного?

— Может быть, и есть, да я ничего не знаю. Я не люблю ни Петербурга, ни вообще столичной жизни и навсегда расстался с ней.

— Навсегда? — широко открыв глаза, переспросила она и даже не донесла сухарь до рта,— так ее поразило это сообщение.

— Да, навсегда,— спокойно и твердо повторил он.

— Так, может быть, вы хотите ехать за границу?

— Нет, я навсегда поселюсь здесь, в Светлорецке, или где-нибудь в селе, в деревне.

— Здесь, в Светлорецке?..— с все возрастающим изумлением проговорила она.

— В селе... в деревне...— удивился и Бессонов.

— Да. Что же это вас удивляет... Ведь вы...

— Как, что удивляет? — перебил его Бессонов...— Жить в глуши с твоим образованием, с твоими способностями... Ведь тебе открывалась блестящая будущность.

— Ну, я не карьерист,— тихо возразил Арасланов,— а что касается моих знаний и моих способностей, я полагаю, что здесь они будут нужнее, чем в Петербурге, где таких, как я, талантов и без меня довольно.

— Ну, положим.

— Конечно. Только там большинство из них живут обманом весь век. И других обманывают и себя, а иные погибают, не находя исхода. А между тем его так легко найти, если только есть честное желание делать добро,

так легко его делать. У нас в руках свет, а мы вместо того, чтобы нести его во тьму, сжигаем им и себя, и других.

После этой вспышки он, точно стыдясь ее, стал усиленно мешать ложечкой чай в стакане. Варвара Михайловна заметила, что рука его слегка дрожала. Его искренность вызвала в ней сочувствие.

— Будто бы уж в городе все так мрачно обстоит? — возразил ему Бессонов.

— В том-то и дело, что так. Город губит интеллигенцию, выжимая из деревни ее лучшие соки, а сам ей взамен ничего не дает, и чем дальше, тем меньше начинают они понимать друг друга. А это, ты знаешь, к чему ведет.

— Старая штука. Нельзя же требовать, чтобы интеллигенция толпой повалила в народ.

— Где уж тут толпой. Хотя бы в одиночку-то шли, и то бы хорошо.

— Было это, и тебе известно, чем кончилось.

— Было, да не так. Там интеллигентные люди шли в народ поучать его, между тем как прежде сами должны были бы поучиться у него, потому что он гораздо нравственнее и чище их. Его нужно не поучать, а учить, вернее, — осветить, оформить те знания, какие у него есть, чтобы оградить его от грабителей: это в наших силах. Такое сближение не только было бы полезно как для тех, так и для других, но даже необходимо. Земля для интеллигента была бы спасением от всех его недугов.

— Если бы вся интеллигенция из городов пустилась в деревни, то на месте деревень выросли бы города, — вот и все.

— Ошибаешься. При таком порядке вещей, о котором говорю я, установилась бы совершенно правильная пропорция между людьми физического и умственного труда.

— И для этого надо опроститься? — насмешливо возразил Бессонов.

— Кто тебе говорит об опрощении? Это совершенно лишнее. Оно только вызовет смех со стороны народа... Народ тебя скорее поймет, чем ты его. Надо только жить с ним вместе.

— А, по моему мнению, это совместное житье совершенно лишнее. Близость с народом пускай будет только духовная, а от другой избави боже.

— Вот как. Ну, это все равно, что лечить больного или самому лечиться по телеграфу... Мало будет пользы. Я убежден, что от прямого общения с народом интеллигенцию удерживает не превосходство ее, а боязнь за свою мишуру.

— Все это ты говоришь потому, что не знаешь народа, — если знаешь, то по книгам.

— Вот видишь, ты сам же отрицаешь книги... Да, я тебе должен сказать, что изучил его, пожалуй по книгам, но не по тем, в которых пишут о нем, а по тем, в которых проявилось его творчество: по его песням, пословицам, сказкам, наконец по книгам наших гениев, сила которых заключалась в общении с народным творчеством.

— Будет вам, господа, спорить. Успеете, — остановила их Варвара Михайловна.

— Правда, — с улыбкой согласился Арасланов. — Вот вы, Варвара Михайловна, все спрашивали меня, а о себе ни слова не сказали.

— Да что говорить-то... Ничего интересного нет. Зимой немилосердно скучаю, а летом блаженствую. По целым дням копаюсь на огороде, занимаюсь цветами... Вы посмотрите, какой у меня палисадник. Я по опыту изучила цветоводство и создаю такие дивные комбинации из цветов, что здесь все поражаются.

— Это правда. Целые поэмы цветочные, — шутливо поддержал ее муж.

— А огород! В прошлом году у нас все овощи свои были, — горделиво заявила она и, обратившись к мужу, с восторгом прибавила, забыв предыдущие уколы. — Как после дождя огурцы и редис поднялись. Удивительно! — Снова обратилась к гостю: — Я так подружилась с землею, что чуть какая-нибудь неприятность — иду к ней, прокопаюсь час-другой и успокаиваюсь. Вы насчет земли совершенную правду говорили.

— Ну, а о сцене вы не скучаете?

Она смутилась и искоса поглядела на мужа. Тот сначала нахмурил брови, но потом, смеясь, заметил:

— В доме повешенного не говорят с веревке.

— При чем же тут повешенный и веревка? — рас-

сердилась на него Варвара Михайловна. — Как это глупо!

Затем, овладев собою, она ответила Арасланову:

— Нет, теперь перестала скучать. Отвыкла... Я думаю, если бы мне пришлось вновь появиться на сцене, я бы робела, как при первом дебюте.

— А скажите, пожалуйста, — неожиданно перевел Арасланов разговор на другую тему, — есть у вас здесь знакомые среди башкир?

— Есть, но только знакомство шапочное, — ответил Бессонов и назвал несколько знакомых башкирских фамилий.

— Что они представляют из себя? Те, кого ты знаешь? Интеллигентные люди?

— Как тебе сказать?.. Скорее нет. То есть некоторые из них окончили курсы в университете: Амиров, Цералов... Последний — благороднейший человек. Он служит в земстве у нас. Но... странное дело: рано или поздно всех их постигает одна и та же участь.

— Именно?

— Да как тебе сказать... Вот видишь ли: многие из них очень неглупые люди. О некоторых даже говорят, что в юности они подавали большие надежды, отличались прекрасными способностями и необыкновенною восприимчивостью... Впрочем, последняя черта свойственна вообще твоим братьям.

— Разве?

— Уверяю тебя.

— Ну, а потом?

— А потом происходит чудная вещь. Приезжает, положим, башкир из столицы с самыми благими намерениями, во всеоружии самоновейшей, так сказать, культуры и цивилизации. Европейец — одно слово. Женится здесь — и прощай культура. Халат, трубка заменяют книги, и от всех плодов цивилизации через какие-нибудь пять-шесть лет остаются только одни карты. Культура отпала, как сусальная позолота, и трехнедельный европеец снова превратился в полудикого башкира.

— Это правда, — подтвердила Варвара Михайловна. — В этом, действительно, есть что-то роковое.

Арасланов вздохнул и сдвинул брови, точно стараясь заглянуть в свою собственную душу. О, с ним-то

этого никогда не случится. Он был уверен в этом. Та же самая мысль мелькнула и у Бессоновых.

— Ну, так или иначе, ты меня познакомишь с ними, — обратился Арасланов к товарищу.

Бессонов с готовностью согласился, но Варвара Михайловна возразила мужу, обращаясь к Арасланову:

— А не лучше ли вам будет просто-напросто сделать им визиты. Все эти башкиры, насколько мне известно, замечательно гостеприимный и радушный народ, и вам будут очень рады, как своему.

— Пожалуй, — согласился Арасланов. — Хотя, как это ни грустно, какой уж я им свой. Во мне от башкира осталось разве только религия да две-три черты. Я и язык-то плохо помню.

— Ну, это в первое время ты себя будешь чувствовать среди них чужим, а потом сблизись, сразу все вспомнишь. Наследственность — это, брат, великая вещь. Стоит только дать ей подходящую обстановку, и она заявит о себе.

— Ты меня пугаешь, — иронически возразил Арасланов. — Этак по-твоему я, пожалуй, тоже пойду по дорожке своих собратьев.

— Что же! Здесь кстати и невеста есть. Прехорошенькая, брат, татарка и единственная в своем роде: Смольный институт окончила.

— Сохрани вас бог жениться, — с ужасом заявила Варвара Михайловна.

Арасланов искренне рассмеялся. Такое предположение было бы чересчур дико для него.

— Будьте покойны. Я очень далек от этого.

— Хороша! — укоризненно заметил по адресу жены Бессонов.

Варвара Михайловна как-то неопределенно шевельнула тонкими бровями.

— Ты лучше вместо невесты-то достань мне наиболее подробную карту Светлорецкой губернии. У вас, в управе, верно, есть.

— Да, конечно, достану.

— Спасибо.

— Зачем это вам? — любопытствовала Варвара Михайловна.

— Мне нужно побывать кое-где.

Бессонов с недоумением посмотрел на него: «Чего это он скрытничает?»

Варвара Михайловна под предлогом, что ей нужно распорядиться обедом, вышла из комнаты.

Когда приятели остались одни, с минуту они сидели молча, так что какая-то птичка с красненьким брюшком, все время чирикавшая за окном, перелетела на ближайшую ветку и смело заглядывала в комнату, отчетливо высвистывая: «Как сияет солнце! Как сияет солнце!» Арасланов молча катал шарики из хлеба и приклеивал их к блюдечку, а Бессонов рассеяно смотрел на свое отражение в выпуклости чистого никелированного самовара. Отражение это, по мере приближения его лица к самовару, все более и более расплывалось в ширину, нос вытягивался и, в конце концов, получалась довольно курьезная карикатура.

Арасланов тихо встал с своего места, прошелся раза два по комнате, повертел в руках какую-то фарфоровую безделушку, даже посмотрел ее на свет, потом, опершись на спинку стула против своего товарища, обратился к нему:

— Ты извини, Андрей, что я так уклончиво ответил на вопрос твоей жены. Я очень уважаю Варвару Михайловну, но считаю покуда несвоевременным разглашать планы свои, да и вряд ли это может быть для нее интересно. Наконец я не в праве делать это просто потому, что в деле, которому я хочу служить, заключаются не мои интересы, а интересы башкирского народа.

— Да к чему ты все это? — тихо возразил Бессонов на его деликатное разъяснение.

— К тому, чтобы ты как-нибудь иначе не истолковал мою сдержанность.

— Пустяки! — тряхнул тот своею кудрявою головою.

— Но с тобой я буду говорить откровенно, — отодвигая стул, продолжал Арасланов, и белыми острыми зубами пощипывая свои редкие черные усы, с опущенной вниз головой прошелся по комнате.

Птичка отлетела на соседнюю ветку и замолкла.

— Говори. На мое сочувствие и сдержанность ты можешь смело положиться. Да, наконец, я без того догадываюсь обо всем.

— Ну да разумеется, — согласился тот и, нервно пощипывая бородку, он заговорил серьезным и напря-

женным голосом, взвешивая каждое слово. — Ты уже, конечно, не раз слышал о расхищении башкирских земель?

Бессонов утвердительно кивнул головой.

— Расхищение дикое, варварское! — вырвалось у Арасланова, и он порывисто сжал себе лоб. — Хищники налетели со всех сторон и рвут чужое добро на части. За бутылку водки, за фунт табаку или чаю покупают целые земли, а то так просто рвут даром. Чтобы обокрасть доверчивых башкир, чтобы оторвать себе побольше кусок, не брезгают никакими средствами: развращают, спаивают народ, и эта восприимчивость, о которой ты упомянул, служит башкирам самую скверную службу. Таким образом народ, склонный по природе ко всему хорошему, отзывчивый, честный, погибнет, если дело пойдет таким порядком. Он погибнет! — почти со злостью повторил Арасланов, точно кто противоречил ему. — Погибнет, если вовремя не прийти к нему на помощь. Уж и теперь среди него начинают распространяться пьянство и сифилис и с каждым днем больше и больше. Когда я был еще в университете, — продолжал он, немного успокоившись, — я узнал через моего покойного воспитателя о расхищении башкирских земель, я ужаснулся и поклялся, что все силы свои употреблю на служение этим слепым. Потом я встретил недавно случайно моих двух земляков в Петербурге. Они явились с жалобой в сенат на одно крупное и наглое хищение. Я зазвал их к себе, узнал их дело, посоветовал повременить и начну с него мою борьбу с хищниками. О, я им покажу. Я им покажу!

Арасланов, почти задыхаясь от волнения, подошел к окну, сильно распахнул обе половинки его и стал жадно впивать свежий воздух.

— Какое это дело? Не тайна?

— Я скажу тебе: это дело о покупке у башкир-вотчинников земли в сто тысяч десятин по восьми копеек за десятину. Покупка сделана неким господином Брызгаловым. Купчая совершена по приговору волостного схода, то есть, по-видимому, правильно, но в том-то и дело, что только по-видимому, на самом же деле ходатаи объяснили мне, что одна треть подписей поддельная или подкупная. Это-то и требуется доказать. Я сегодня же

вызову этих ходатаев и на днях отправлюсь с ними на место, чтобы проверить их объяснения.

— Я знаю этого господина Брызгалова. Это — делец, и у него подкуплены чуть ли не все, а об адвокатах местных и говорить нечего.

— Я распугаю этих сов. Я приехал сюда с тем, чтобы никогда отсюда не выезжать. Я окончил два факультета и полагаю, что эти знания сослужат мне службу. Прежде всего я соберу все материалы по разграблению башкирских земель. Многого, конечно, нельзя будет воротить, но я все силы употреблю, чтобы сделать все возможное, а сделать, насколько мне известно, можно еще немало. Я объеду все, даже самые глухие закоулки и все разузнаю, что мне нужно. О, это будет целая эпопея беззаконного разбоя, и я убежден, что сделаю свое дело. Я вызову сенатскую ревизию и к позорному столбу, притяну всех разбойников... Я разбужу всех этих свиней, которые, как ты говоришь, заснули на своих диванах! — при последних словах он так стукнул кулаком о стол, что посуда задребезжала. — Я пристыжу их. Я постараюсь убедить их, что позорно спать, когда они нужны своему народу, и мы сообща постараемся внести свет в это темное царство, потому что главная причина всей этой башкирской беспомощности — в дикости и невежестве. Я сам пойду на все: я отдам народу все свои силы. Буду доктором, адвокатом, учителем, муллой... Всем, что в моих средствах, и, кто знает, — с гордостью закончил он, — может быть, нам удастся вызвать к жизни новую силу, которая даст миру своих художников, ученых, поэтов.

Речь эта вырвалась у Арасланова залпом, как долго тлевший огопь. Лицо его пылало, а узенькие глаза, казалось, расширились и метали искры.

Бессонов с удивлением и восторгом глядел на своего товарища. Арасланов всегда говорил медленно, как бы с усилием извлекая слова, часто затруднялся в выборе подходящего выражения и вообще брал не столько красноречием, сколько вескостью своих доводов. Бессонов увлекся пылкостью товарища и, глядя на его взволнованное лицо, подумал: «В этом человеке чувствуется большая сила, и если бы я был женщиной, я бы влюбился в него».

— Послушай, Арасланов, — обратился он к товарищу с волнением, — располагай мною, как хочешь. Я ве-

рю в твоё дело и готов помогать тебе всем, что будет в моих силах.

— Спасибо. Я сейчас же потребую от тебя некоторых услуг.

— Говори.

— У вас, наверное, в управе есть документы о количестве недоимок на башкирах, о размежевании башкирских земель и прочее. Ты можешь мне достать их?

— Вероятно, — нерешительно ответил Бессонов. — Жаль только, что я с председателем и со Шмуккером не в ладах, а это в его отделе.

— А что представляет из себя председатель?

— Он? Муж Ариадны Владимировны.

— То есть?

— То есть существо совершенно безличное. Его и председателем-то выбрали в расчёте на его безличность, но тут натолкнулись на одно его качество, совершенно непредвиденное: он, как все ограниченные люди, оказался очень упрям и вследствие этого очень вреден. Впрочем, человек он честный и имеет одно достоинство: ненавидит местных дворян.

— За что?

— За то, что они забаллотировали его в предводители дворянства. Он за это мстит им, собирая... А! Вот кстати тебе поехать к нему: у него собраны все материалы касательно расхищения башкирских земель и раздачи их местным дворянам. Он первым долгом прочтёт их, только дотронься до этой пружинки. Если тебе понадобится, — он даст предписание Шмуккеру, непременно на бумаге, он совсем в этом случае генерал Бетрищев, формалист отъявленный, и Шмуккер сделает все, что прикажут.

— Гм... Ну, а не будет это неловко?

— Какая же тут неловкость, иди. Кстати там и общество все увидишь, и Брызгалова в том числе.

— И он там принят?

— У нас неразборчивы на этот счёт, да иногда это и необходимо, — загадочно заметил он. — Ведь Ариадна Владимировна приглашала тебя?

— Приглашала.

— Ну, вот и поезжай... Только... не глядя на Арасланова, продолжал Бессонов, — не упоминай ему о том ни слова, что, мол, я тебе говорил о бумагах... Мои фонды,

видишь ли, как это сказать... мои фонды не высоко стоят у него, — договорил он наконец, смущенно улыбаясь всем своим привлекательным лицом.

Арасланов, молча, кивнул головою в знак согласия и подумал: «Нет, друг, очевидно, ты вряд ли здесь в состоянии будешь оказать мне какую-нибудь услугу».

Бессонов угадал неловкость, которая произошла вслед за только что данным обещанием, и с искреннею досадою проговорил:

— Черт знает, что такое, право. На первых же порах приходится невольно уклоняться от твоих поручений. Этакое безобразие, право! Приезжай ты месяцами двумя раньше, все бы сделал, а теперь я с ним на ножах.

— Все равно, — успокоил его Арасланов. — Еще дело мое только что начинается. Не теперь, так впоследствии чем-нибудь будешь мне полезен.

— Разумеется. Впрочем, — спохватился он, — у меня есть тут приятель, член управы Разумеев, можно через него действовать. Или вот еще Цералов...

— Нет, все равно, я поеду к председателю. Ты сообщи мне его адрес.

Бессонов сообщил.

— Знаю. А когда его можно застать дома?

— Самое лучшее тебе съездить к нему в воскресенье. Нынче у нас суббота. Завтра и поезжай, а сейчас, если хочешь, поедем к Разумеевым. У него, наверное, и карта есть. Ему часто приходится путешествовать по уезду.

— Помилуй, что ты. Чуть свет да в гости. Наконец и тебе скоро на службу нужно будет отправляться. Ведь уже десятый час.

— Ну, Разумеев такой простой человек, что несколько не посетует, если мы приедем к нему немного раньше, чем принято. А что касается моей службы, я сегодня уж не поеду, тем более, что завтра воскресенье. Кстати и пенсне куплю новое.

Последний довод был довольно странного свойства. Арасланов улыбнулся про себя и подумал: «Ну, немудрено, что председатель недоволен тобой».

— Ну так как же? Поедем, — настаивал Бессонов.

— Нет, я уж сегодня пробуду дома, а ты поезжай в управу, или куда там хочешь, и достань мне карту. Я сегодня же и разберусь.

— Ну, хорошо. Делать нечего, — согласился Бессонов и приказал прислуге кликнуть извозчика.

— Да ведь у тебя своя лошадь есть, зачем же извозчика?

— Все равно. Нужно ждать, пока лошадь запрягут, да кстати и кучера-то нет, пьянствует. Я часа через два буду дома, — крикнул он Арасланову, уже сидя верхом на «гитаре».

Арасланов посмотрел ему вслед и отправился к себе наверх.

Там он скоро привел в порядок свои вещи и бумаги, а также не забыл написать деловое письмо своим клнентам. Часов в двенадцать Варвара Михайловна пригласила его к завтраку. Бессонов еще не являлся, и они позавтракали вдвоем. После завтрака Варвара Михайловна показывала гостю свой цветник и огород. Все находилось в удивительном порядке.

— Теперь еще ничего для вас нет здесь привлекательного, а вот недели через три-четыре все зацветет, ну, тогда другое дело. Зато для меня это время самое живописное... Я вижу первые всходы и буквально дрожу за них: как бы морозом не убило, как бы мошка не поела... Вот видите, — указала она огородные грядки, покрытые какою-то красноватою пылью, — это я корьем посыпала от мошек, а то бы все всходы перепортили.

Арасланов с удовольствием переходил с ней от одной грядки к другой. Видя его дружелюбное отношение к своему хозяйству, она предложила ему пойти посмотреть кур, важно сообщая:

— У меня отличные куры. Вот вы увидите.

И повела его в баню, где обитало куриное семейство. Баня стояла на задах, в саду. При появлении гостей наседка насупилась и недовольно забормотала, прикрывая растопыренными крыльями желтеньких крошечных птенцов.

— Это она вас боится, — шепотом заметила Варвара Михайловна. — Отойдите немного к сторонке и сейчас увидите всех цыпляток.

Арасланов повиновался.

Варвара Михайловна тихо опустилась возле лукошка и заботливо заговорила с курицей, точно это было разумное существо:

— Полно, полно, глупенькая, не бойся. Мы не тронем твоих детишек.

Курица доверчиво забормотала ей что-то, точно хотела сказать: «Тебя-то я знаю, а вон тот совсем незнаком мне».

— Он добрый тоже. Он не тронет тебя... Он пришел только цыпляток посмотреть, — нежно уговаривала она курицу, и та, по-видимому, поддаваясь этому убеждению, сложила крылья.

Цыплятки запищали и завозились около нее.

Она взяла одного из них в руки, причем курица не выразила даже никакого беспокойства, и, показывая его Арасланову, говорила с умиленным лицом:

— Ну, поглядите, какая прелесть. Какой хохол! А ноги... мохнатые и борода. Это замечательная порода, Брамапутры. Яйца я покупала по рублю за штуку. И какой молодец!

Молодец пискнул.

— Пить хочет, — убежденно проговорила Варвара Михайловна и, вытянув губы, стала поить его изо рта.

Арасланов любовался этой идиллической картиной и размышлял о том, какая бы она была превосходная мать, будь у нее дети.

Варвара Михайловна вздохнула и, напив поочередно, тем же способом, всех цыпляток, встала с грязного пола, отряхнула сор с колен и, по странному совпадению мыслей, произнесла:

— Детей бог не дает, так хоть этим утешаюсь.

— А вы, должно быть, любите детей?

— Ах, ужасно! Ничему не завидую, кроме детей. Если бы у меня были дети..— порывисто добавила она и, не окончив фразы, вздохнула опять.

— Так отчего же не возьмете на воспитание?

— Ну, чужой все-таки, знаете, не то, что свой. Хотя я бы взяла с удовольствием, да Андрюша против этого.

— Почему? Разве он не любит детей?

— Нет, очень любит, да боится брать чужого.

— Чего же бояться?

— Наследственности. Мало ли, говорит, что он воспримет наследственно. Может быть, разбойничьи наклонности, или идиотизм, вот и казись за него тогда всю жизнь.

— А разве он отрицает силу воспитания?

— Да, почти. Говорит, что перевоспитать нельзя, что это все равно, что дуть в парус в направлении, противоположном ветру.

Арасланов вспомнил его давешнюю ссылку на наследственность и подивился, что у идеалиста, каким он знал его, уживаются такие противоречия.

В это время на дворе послышался стук экипажа.

— Вот и он. Легок на помине, — объявила Арасланову Варвара Михайловна при виде мужа, спрыгнувшего что-то уж особенно резво с экипажа. — Обыкновенно он, как только отправится с утра к Разумееву, так и до вечера вплоть, это уж он для вас поступился.

Бессонов, увидя издали Арасланова и жену, сияющий, шел им навстречу, размахивая большим свертком бумаги.

— Вот тебе и карта, — торжественно обратился он к Арасланову, вручая ему этот сверток. — Хотя Разумеев говорит, что она собственно почему-то ни к черту не годится. Есть карты более точные в управе. В жестяных цилиндрах... Я видел... Но.... но и они тоже почему-то ни к черту не годятся, — закончил он с чересчур веселым смехом.

— Спасибо, — поблагодарил его Арасланов.

Варвара Михайловна испытывающе поглядела на мужа, он вдруг оборвал смех и старался придать своему лицу серьезное и даже сосредоточенное выражение, но это ему плохо удавалось: он был порядочно навеселе.

IV

На другое утро, в воскресенье, Арасланов проснулся очень поздно, около десяти часов. Он проворно умылся, оделся и сбежал вниз. Варвара Михайловна, улыбающаяся и свежая, в простом светлом платье, ждала его за чайным столом.

Солнце сияло так же, как и накануне, и обещало впереди целый ряд таких же ясных дней.

Арасланов поздоровался с хозяйкой и извинился, что заставил себя дожидаться.

— Нисколько, — возразила Варвара Михайловна, — в воскресенье мы встаем гораздо позже. — Ну, как вы спали на новом месте?

— Как убитый, — ответил он и принялся за чай с отличными сливками.

Бессонов явился к чаю несколько сконфуженный своим вчерашним появлением от Разумеева, но скоро его неловкость рассеялась, и все пошло своим порядком.

В двенадцать часов пополудни Арасланов отправился с визитом к Квитковским.

Квартира Квитковских отстояла, по местным расстояниям, довольно далеко от квартиры Бессоновых, на Чернышевской улице.

Извозчик остановился около одноэтажного небольшого каменного дома, выкрашенного в дикую краску.

«Александр Викентьевич Квитковский» — прочел на карточке Арасланов и прикоснулся к пуговке электрического звонка, над которым значилась надпись: «Bitte zu drücken», а внизу для непосвященных — «Нажать».

На звонок вышла уже знакомая Арасланову горничная Маша. Он справился, дома ли господа, и, получив утвердительный ответ, попросил передать карточку. Горничная исчезла, и скоро вместо ответа появилась сама Ариадна Владимировна.

— Очень мило, что вы вспомнили мое приглашение, — любезно встретила она гостя, дружески подавая ему сразу обе руки и обдавая его запахом каких-то тонких раздражающих духов. — Только, pardon, — мило развела она руками, окинув его улыбающимся взглядом, — зачем такой официальный вид? Разве мы с вами не старые приятели?

Она пригласила его в маленькую гостиную, очень изысканно обставленную, с выхоленными тропическими растениями в вазах и жардиньерках. На маленьких столиках стояли цветущие гиацинты.

— Ну, садитесь, и будем беседовать, — приветливо пригласила хозяйка, с ногами устраиваясь на мягком лонгшезе и указывая место против себя, на круглом вертящемся пуфе. — Муж скоро будет; он уехал в собор к обедне: сегодня царский день. В соборе парад, и после обедни у губернатора прием. Я не охотница до этих церемоний... Но обедня уже кончилась. Я много мужу говорила о вас, и он жаждает с вами познакомиться.

Она говорила быстро каким-то щебечущим голосом, мягко тушая слова не совсем отчетливым произношением их. Ее белые, ровные зубы то и дело сверкали из-за

красных губ, причем во время улыбки обнаруживались не только верхние, но и нижние передние зубы, что придавало ее лицу несколько хищное выражение. Она стала расспрашивать Арасланова о том, какое впечатление произвел на него город, много ли он нашел перемен; встретил ли кого-нибудь знакомых... Справлялась о здоровье Варвары Михайловны, и когда услышала о том, что та очень ему симпатична, горячо ее расхвалила. Затем она снисходительно посмеялась над общественной жизнью, предрассудками светлорецкого общества и особенно ярко старалась оттенить одну черту местной жизни: господство сплетен, которыми, по ее мнению, живет весь Светлорецк «и даже... даже интеллигентные и очень симпатичные люди среди ее знакомых заражены этим ядом».

Последнее она не раз ставила Арасланову на вид, точно желая предупредить его и вооружить его недоверием ко всяким невероятным вероятностям.

Она живо напомнила ему давно прошедшее время и после этих воспоминаний слегка вздохнула и задумалась.

Выражение этой задумчивой грусти особенно шло к ее изящному лицу, придавая что-то беспомощно-кроткое и вместе с тем загадочное.

Арасланов холодно слушал эту болтовню, досадуя, что горничная ввела его в заблуждение, и изредка вставлял свои замечания. Он с минуты на минуту намеревался встать и распрощаться с хозяйкой, но его что-то удерживало, и он не уходил, оправдываясь тем, что интересно было бы повидать хозяина.

Ариадна Владимировна внушала ему странное беспокойство, которое он заметил в себе в ее присутствии еще на пароходе, и это его злило, побуждая бороться с тем, что, как ему казалось, служило источником этого беспокойства. Дикость и непривычка к женскому обществу — вот чему он приписывал такое состояние.

По счастью, ему недолго пришлось мучить себя: в передней послышался звонок.

— Так звонят только хозяева и кредиторы, — смеясь, заметила хозяйка.

В передней раздался мужской голос.

— Муж, — поджав губки, возвестила Ариадна Владимировна.

Через минуту в зале послышались твердые, спокойные шаги.

Квитковский отстранил драпри медленным движением руки и предстал в дверях.

Это был мужчина лет сорока пяти, среднего роста, с хорошей фигурой, с поседевшей коротко остриженной головой. Черты его свежего, выхоленного лица были неподвижны, но правильны. Борода и усы тщательно подстрижены *La Henri IV*, но совершенно бесцветные, малоподвижные глаза, плоско смотревшие сквозь золотые очки, и гладкий, невыразительный, хотя и большой, красиво очерченный лоб делали это лицо совершенно незначительным. Он был в форменном вицмундире, с расшитым золотом тугим воротником и держал голову прямо, как на статуэтках генералы, хотя Квитковский никогда не был в военной службе. Поцеловав руку жены, он мягко и любезно расшаркался перед гостем, но едва наклонил голову, что, впрочем, не столько обуславливалось соблюдением своего собственного достоинства, сколько высоким, упругим воротником.

— Араслан Галиевич Арасланов, — отчетливо назвала гостя хозяйка, точно гордясь, что так ясно помнила его имя и фамилию.

— Ариадна Владимировна мне много сообщала о вас, — заговорил хозяин, — и мне очень приятно познакомиться с вами поближе.

Арасланов поблагодарил.

— Ариадна Владимировна говорила, что вы совершенно покинули Петербург?

— Да, я думаю поселиться здесь.

— Ах, нет. Я бы ни за что не отказалась от Петербурга. И я предсказываю вам, — обратилась она уверенно к Арасланову, — я вам предсказываю, что вы скоро сбежите отсюда. Здесь так скучно.

— Я сюда не веселиться приехал.

Квитковский покровительственно одобрил его, прибавив, что провинции нужны просвещенные люди, а Светлорецкой губернии в особенности.

— Население здесь полудикое и нуждается в хороших, образованных работниках и просветителях, — начал он читать, как по книге и, верно, сказал бы на эту тему целую речь, если бы жена не перебила его, обратившись к Арасланову с восклицанием:

— Ах, да! Я тогда так и не успела выслушать от вас, что именно привлекло вас в наши палестины? Если это не секрет, конечно?

Арасланов заранее приготовился отвечать на этот вопрос до поры до времени одно и то же всем, перед кем он считал лишним откровенничать, но отвечать без лжи. Ложь даже и «во спасение» он считал преступной и недостойной мужчины.

— Признаться сказать, у меня не выработалось еще строго намеченных планов. Вероятнее всего, что я куплю себе клочок земли и займусь сельским хозяйством.

— С вашим образованием? Помилуйте! — запротестовал Квитковский. — Конечно, сельское хозяйство прекрасное дело, но такие просвещенные и способные люди, как вы, необходимы в городе. Ведь вы, кажется, юрист и в то же время медик?

— Да.

— Следовательно, вы призваны лечить телесные и социальные недуги. Если я не ошибаюсь, — две болезни, которыми страдает все человечество, а местное общество — в особенности.

— Я сам не особенно здоров и поэтому делаю такой выбор.

— А, это другое дело, — важно склоняя голову, произнес Квитковский. — Вероятно, нервы? Ах, этот ужасный, нервный век. Он отнимает у нас лучшие молодые силы! В наше время, — с улыбкой добавил он, давая понять этой улыбкой, что время его на самом деле вовсе уж не так далеко, — в наше время не знала молодежь ничего подобного.

Он осанисто выпятил грудь и не без удовольствия взглянул в зеркало на свое моложавое лицо.

— Ну, я бы никогда не подумала, что вы страдаете нервами, — с лукавой улыбкой заметила Арасланову Ариадна Владимировна, — у вас такое, если можно так выразиться, сильное лицо и твердый взгляд.

— Я и не жалею на нервы, у меня есть только одна болезнь: боязнь толпы и, следовательно, города.

— Как же вы столько времени прожили в Петербурге?

— По необходимости.

Она недоверчиво улыбнулась.

Воспользовавшись этой паузой, Квитковский снова

вернулся к своей речи. У него была особенность, когда бы и на чем бы его не перебили, не терять нити и, улучив удобный момент, продолжать с того слова, на котором остановился:

— И все же мы будем надеяться, что в самом непродолжительном времени вы явитесь обществу исцеленным и от этой болезни, и оно с восторгом примет вас в число своих передовых работников.

Арасланов порядком надоели эти разглагольствования. Он вспомнил слова Бессонова и решился нажать пружинку, о которой тот ему упоминал, но Квитковский сам не выдержал и заговорил:

— Конечно, и сельское общество очень нуждается в хороших хозяевах, которые могли бы служить достойным подражания, образцовым примером дикому населению башкир, совершенно не умеющему обращаться с землею.

— Кажется, правительство делало в этом случае некоторые попытки? — нажал пружинку Арасланов.

— Правительство? Как же-с! — с деланной улыбкой отвечал Квитковский. — Правительство, действительно, озабочивалось насаждением культуры среди башкир, но, к сожалению, эти заботы принесли совсем не те плоды, которых оно в праве было бы ожидать. Я не хочу осуждать правительство! — вдруг переменяв тон и строго нахмутив брови, заметил он, как бы изгоняя у слушателя даже из мыслей такие предположения. — Правительство имело очень благие намерения и не могло предвидеть отрицательных последствий своих гуманных распоряжений. Оказалось обратное пословице «L'homme ergorose, Dien dispose». Правительство предполагало, а люди... — Квитковский не закончил фразы и, многозначительно поджав губы, развел руками.

— Разве эти попытки были так неудачны?

— Н-да... — понемногу утрачивая свой накрахмаленный вид, ответил Квитковский. — К сожалению, местное дворянство, на которое была возложена почетная миссия поднятия сельскохозяйственной культуры в Светлорецкой губернии, оказалось далеко не на высоте задачи, — как бы скорбя за это дворянство, продолжал Квитковский. — У меня на этот счет есть, между прочим, прелюбопытный документ и, если вы интересуетесь

этим вопросом, я вас познакомлю с ним, так сказать, фактически.

— Пощади! — с шутливым ужасом взмолилась его жена. — Ну, кому, кроме тебя, могут быть интересны эти сухие цифры? Вместо этого угощения, я предложу вам позавтракать с нами.

— Наоборот, мне очень интересны эти документы, и я буду очень благодарен вам за предложенную любезность, — ответил он хозяину, — точно так же, как и вам, — повернул он голову к Ариадне Владимировне. — Но, к сожалению, я позавтракал дома.

— О нет, — зашебетала она, дружески беря его под руку и увлекая в столовую, где кипел самовар и стоял на столе завтрак.

— Я пойду переоденусь только, — заметил хозяин, удаляясь к себе в кабинет. — Pardon!.. — извинился он перед гостем.

Хозяйка усадила гостя против себя и настояла, чтобы он по крайней мере выпил стакан чаю или кофе. Арасланов принужден был согласиться.

— Муж замучает вас этими цифрами, — пугала она Арасланова. — Эти документы его слабость. Но я, я ненавижу цифры. Впрочем, кому я говорю? Ведь вы очень хорошо это знаете! Я думаю, до сих пор простить мне не можете, как я вас мучила.

— Нет, я давно забыл об этом... Только одно правило процентов почему-то вспомнил, — присовокупил он не без задней мысли.

Она весело рассмеялась, повторяя:

— Правило процентов. Правило процентов... Вот курьез!..

Смех у нее был мелкий, жемчужный, и в нем слышались детские нотки.

«Какой я дурак!» выругал мысленно себя Арасланов.

Принимая из рук все еще улыбающейся хозяйки стакан с кофе, он невольно обратил внимание на ее руки.

Эти руки были очень некрасивы: пальцы длинные и несколько кривые, оканчивались плоскими, хоть и тщательно выхоленными длинными ногтями. Тонкая, сухая кисть перерезывалась заметно очерченными жилами.

Удивительно, как у такой красивой и прекрасно сложенной женщины могли быть такие некрасивые руки.

Она, очевидно, знала этот недостаток свой и тщательно старалась скрыть его множеством колец и браслетов. Но эти-то кольца и браслеты, украшенные драгоценными камнями, заставляли предательски обращать на ее руки невольное внимание.

Квитковский вышел к столу совсем переодетый в светлую пиджачную пару, очень новомодную и щегольскую. Он еще раз извинился перед гостем за свой «чересчур домашний костюм» и, сев за стол, положил рядом с собою большую тетрадь, озаглавленную: «Раздача башкирских запасных и казенных земель в Светлорецкой губернии».

Вместе с шитым форменным мундиром Квитковский как бы снял еще значительную долю своей официальности и показался Арасланову гораздо проще, чем вначале.

Ариадна Владимировна с шутовым ужасом взглянула на тетрадь и замахала руками.

— Только не за столом. Здесь мое царство, и я не потерплю анархии!

— Делать нечего, она у меня деспот, — со снисходительной улыбкой заметил Квитковский и, величественно заткнув кончик салфетки за воротник, принялся завтракать.

Ел он с жадностью, хотя долго пережевывал куски мяса. «Как Гладстон», — заметил он, между прочим, об этой манере. После закуски тщательно вытер салфеткой рот и усы, бережно разгладил их и принялся за чай из стакана с серебряным подстаканником в русском стиле, на котором под дворянской короной красовались инициалы хозяина в гербе, изображающем карету, что имело какую-то невероятно запутанную связь Квитковского с родом Петра Могилы.

По окончании завтрака Квитковский любезно пригласил гостя в кабинет и предложил ему сигары, но Арасланов не курил.

— А мне можно с вами? — с аффектированной робостью задала вопрос Ариадна Владимировна.

— Но ведь ты не любишь цифр, — лукаво возразил супруг.

— *L'appetit vient en mangeant*. Я постараюсь вникать и, может быть, войду во вкус.

Арасланов в душе был недоволен, что она опять будет близ него и опять будет смотреть на него пристальными зеленоватыми глазами.

В просторном кабинете все говорило о солидной деловитости его хозяина: и массивный дубовый письменный стол с чугунным чернильным прибором и единственным украшением — чугунной артистически выполненной лошадью, и массивный дубовый шкаф, где в удивительном порядке сохранялись книги, переплетенные в одинаковый переплет, и черное кожаное кресло перед столом, — все, исключая мягкой широкой оттоманки, где часто, строго-настрого наказав предварительно прислуг не беспокоить его и не отрывать от серьезных занятий, он... любил всхрапнуть два-три часика подряд и после этих занятий вставал удивительно освеженный и бодрый, чем гордился перед непосвященными в тайну этого чудесного воздействия умственного труда на тело.

Хозяин пригласил Арасланова занять место с таким видом торжественной серьезности, точно они вступали в святая святых и сейчас должно было начаться богослужение.

Бережно положив бумаги на стол, Квитковский великодушно указал гостю на кожаное кресло, но гость, уважая привычку хозяина, отказался от этой чести и поставил себе с боку черный же кожаный стул. Ариадна Владимировна, как кошка, свернулась на оттоманке, подобрав под себя ноги и опершись высоким бюстом на круглую мягкую подушку. Хозяин оценил любезность гостя и, опустившись в кресло, расположил тетрадь так, чтобы Арасланову тоже было возможно следить за написанным и, почти с любовной нежностью разгладив бумагу, приготовился читать.

— Ах, — неожиданно глубоко вздохнула Ариадна Владимировна.

Муж строго взглянул на нее при этом неуместном вздохе и внушительно начал, хлопнув рукой по тетради:

— «Для насаждения культуры на основании Высочайшего повеления четвертого июня тысяча восемьсот семьдесят первого года из казны продано на льготных условиях по Светлорецкому уезду земли следующим лицам с рассрочкою на тридцать девять лет».

Тут он отчетливо произнес первую по порядку фамилию и чин, а затем — год, в который была куплена зем-

ля, количество десятин и цену. За этой фамилией шла другая, третья и т. д.

Большинство фамилий принадлежали местным тузовым дворянам.

По документам значилось, что в Светлорецком уезде тридцати шести чиновным лицам было продано сто восемьдесят девять тысяч девяносто две десятины земли за триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят один рубль, т. е. по одному рублю семьдесят одной с половиною копейки за десятину, с целью, чтобы они образцовым ведением хозяйства способствовали поднятию местной сельскохозяйственной культуры. Но — увы! — скоро большая часть этой земли...

Он не закончил и при последних словах не без злорадства указал на графу, в которой цифры были написаны красными чернилами.

По этим цифрам значилось, что половина приобретенной ими земли — девяносто четыре тысячи семьсот сорок десятин — была перепродана за один миллион двести восемьдесят семь тысяч семьсот сорок четыре рубля крестьянам и купцам вскоре после приобретения, перепродана по тридцати рублей девяносто три с половиною копейки за десятину.

— А! Каково? — снимая очки и протирая стекла, воскликнул Квитковский, победоносно глядя на Арасланова, точно ему цифровой итог доставлял несказанное удовольствие. — Но это не все-о-с. Вот вам еще пять уездов Светлорецкой губернии! — воскликнул он тоном выше и снова надел очки.

И снова пошли фамилии и цифры. Квитковский по видимому, знал уже все это наизусть, потому что иногда докладывал, как по писаному, не читая, не глядя в тетрадь.

Арасланов с напряженным вниманием, молча, следил за этой головокружительной пляской цифр, и сердце его сжималось от жалости за своих соотечественников.

Ариадна Владимировна, некоторое время неподвижно сидевшая на оттоманке, подошла к столу и, опершись на кресло мужа, странными блестящими глазами следила за этими почти мгновенными обогащениями.

С каждой страницей Квитковский увлекался все более, то и дело оборачиваясь к Арасланову, точно ища сочувствия. Чтение этих таблиц он сопровождал одно-

сложными язвительными замечаниями. Особенно доставалось тем фамилиям, обладатели которых, по его тайному внутреннему убеждению, способствовали его провалу на выборах.

Когда это чтение кончилось, Квитковский с шумом отодвинулся от стола и заговорил торопливо и взволнованно, совсем, очевидно, забыв о своей солидности и почти к каждому слову прибавляя — с.

— А-с! Каково-с? Красноречивый документ! Таким образом в продолжение восьми лет только в Светлоречской губернии продано на льготных условиях с рассрочкою на тридцать девять лет,— он при этой цифре поднял вверх указательный палец, — триста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть десятин земли в среднем по одному рублю девяносто копеек за десятину и уже в короткий сравнительно промежуток времени более половины всего количества этой земли было перепродано в среднем по четырнадцати рублей восемьдесят семь копеек за десятину, т. е. в восемь раз дороже. Вот вам и вся культура-с!

При этом он несколько минут сохранял на своем плоском лице напряженно-вопросительное выражение и вдруг, совершенно неожиданно, разразился высоким дробным смехом, скоро оборвав его и продолжая с гневным воодушевлением:

— Заметьте при этом, что значительная часть покупателей неподатных сословий сыграли роль посредников, и земли от них частью уже перешли в руки крестьян, частью же предполагаются в продажу в настоящее время, а остальная половина также довольно быстро год от года возвышалась в цене, причем хорошо известно, что никакого улучшения земледельческой культуры на этих землях нигде не введено, и хозяйство на этих участках служит для окружающего населения примером, как не следует вести хозяйство.

И, довольный последним остроумным заключением, Квитковский снова засмеялся.

— Но ведь подобное явление не выгодно ни для казны, ни для массы населения.

— Какая уж тут выгода! Да если бы казна сама распродала эти земли по нормальным ценам, при содействии правительства, на руках казны остались бы

пять миллионов рублей,— сумма, которой было бы, безусловно, достаточно для организации в потребных размерах рационально устроенного кредита под хлеб и на приобретение сельскохозяйственного инвентаря для крестьянского населения губернии, чем, с одной стороны, было бы в корень подорвано ростовщичество, а с другой — экономическая жизнь губернии настолько бы оживилась и окрепла, что и казна была бы более чем ныне обеспечена в исправном поступлении всех податей и сборов.

Арасланов слушал Квитковского с огромным вниманием. Очевидно, тут Квитковский был человек сведущий, а Арасланов рассчитывал в дальнейшем на его содействие.

Уходя от Квитковского только около трех часов дня, он нисколько не пожалел о потраченном времени.

Прощаясь, Ариадна Владимировна долго жала ему руку и просила передать ее поклон Бессоновой, взяв с него слово, что он будет у нее во вторник вечером.

— Однако вы долгонько визитировали, — встретила Арасланова Варвара Михайловна. — Неужели все это время у Квитковских были?

— Да.

— Какое они на тебя впечатление произвели? — с деланною небрежностью задал ему вопрос Бессонов.

— Очень радушных и гостеприимных людей. Ах, чтобы не забыть, — обратился он к Варваре Михайловне, — Ариадна Владимировна просила вам передать поклон.

— Спасибо, — ответила Варвара Михайловна с кривою улыбкою.

— Она очень вас хвалила, — продолжал Арасланов.

— Меня хвалила!

— Да...

— С чего это ей вздумалось? — с краской в лице и с едва сдерживаемым раздражением проговорила Варвара Михайловна.

Бессонов смутился и исподлобья взглянул на жену, точно боясь, как бы она не сказала чего-нибудь лишнего.

Арасланов понял, что сделал неловкость.

— Комедия! — презрительно пожала плечами Варвара Михайловна.

— Ну, а он на тебя какое впечатление произвел? — явно желая замять разговор, спросил Бессонов приятеля.

Арасланов передал свое впечатление и рассказал сцену с документами.

— Все, как по писаному, — со смехом проговорил Бессонов. — Я ведь говорил, что пружинка есть... Ну, а еще что интересного?

— Не жаловалась вам, что муж ее слишком сух и не отвечает ее запросам? — сорвалось с языка Варвары Михайловны.

— Варя! — почти крикнул на нее муж.

Но она сама уже поняла, что зашла слишком далеко, и постаралась обратить эту фразу в шутку. Что, мол, все провинциальные барыни считают себя непонятыми натурами.

— Во вторник звали к себе на вечер, но я не знаю, право, идти ли?

— Почему же не идти? Ты познакомишься, верно, там и с Цераловым, и с Крамовым, и с Брызгаловым.

— Не люблю я этих собраний.

— Почему? Нет, вам будет там интересно, — отозвалась Варвара Михайловна, стараясь загладить свою резкость.

— Ну, что там интересного? Верно, как говорит татарская пословица, там только «языками ласточек ловят» и больше ничего.

Эта пословица рассмешила всех, и неловкость исчезла.

— Пойдемте обедать, — пригласила Варвара Михайловна.

— Благодарю. Я только переоденусь.

Варвара Михайловна вспомнила, что ей нужно также приготовить салат к обеду, и заторопилась в огород.

Когда приятели остались одни, Арасланов спросил Бессонова:

— А ты у Квитковских не бываешь?

— Нет, теперь не бываю... Надоело. Все одни и те же лица...

— Жаль. Все-таки знакомое лицо было бы, кроме хозяев.

— Я тебе заочно представлю всех. Можно сказать, изучил до тонкости.

— Ладно... А главное, пожалуйста, расскажи, что представляет из себя хозяйка?

Бессонов загадочно улыбнулся.

— Она?— начал он... И потом как бы одумался и проговорил: — Довольно любопытный экземпляр. После когда-нибудь я тебе расскажу больше...

И, внимательно взглянув в лицо Арасланова, спросил:

— А что, тебе интересна она?..

— Так.

— Сам, может быть, скоро узнаешь, — продолжал Бессонов, не сводя с него глаз.

Арасланова почему-то рассердил этот тон и взгляд.

— Ни малейшей охоты не имею узнавать сам,— ответил он и, резко повернувшись, пошел к себе переодеваться.

— Арасланов! — окрикнул его Бессонов.

— Ну? — отозвался тот, не оборачиваясь, точно боясь, что разговор примет нежелательный для него оборот.

Бессонов подошел к нему и, делая вид, что внимательно рассматривает университетский значок Арасланова, как-то в сторону проговорил, озираясь на дверь и вертя пальцами его пуговицу.

— Ты, пожалуйста, при жене не упоминай о Квитковской.

— Хорошо.

— Я тебе после объясню, в чем дело... Конечно, ничего особенного... Ты не подумай. А все-таки...— бормотал он.

Но Арасланов догадывался и без объяснений.

Бессонов почему-то несколько секунд простоял около Арасланова, держась за его пуговицу. Потом с неестественной улыбкой взглянул на него. Они встретились глазами, и у обоих мелькнула одна и та же досадливая мысль: «Как, однако, это глупо вышло».

V

Весь этот день, а также и понедельник Арасланов провел почти не выходя из дома, подробно рассматривая

огромную привезенную Бессоновым карту и делая у себя в записной книге необходимые заметки, отчасти при содействии Бессонова, а больше самостоятельно. Из имеющейся у него копии на крепость за № 405 он проследил по карте границы проданной башкирами Брызгалову земли. Границы были обозначены чрезвычайно наивно, вследствие чего оказалось в означенных урочищах земли вдвое больше, чем предполагалось, то есть, не пятьдесят тысяч, а сто тысяч десятин. Ввод во владение был уже совершен, и хищник орудовал на земле вовсю, то есть вырубал огромные мачтовые леса и сплавлял их в неисчислимом количестве вниз по реке Ай-Су, на Каму и Волгу.

— Подлец, подлец! — с ненавистью повторял Арасланов, закрывая лицо руками и подолгу оставаясь в таком положении, точно окаменелый.

Он скопировал в особую тетрадь чертежи некоторых местностей, снабжая их своими примечаниями, и с нетерпением ожидал своих соотечественников, вызванных письмом, чтобы, обсудив здесь, в городе, как нужно поступать, и запасшись всем необходимым оружием для предстоящей борьбы, ехать в потерпевшую волость. Напрасно Бессонов пытался оторвать его от этой работы, уговаривая прокатиться за город, Арасланов уклонился и говорил: «После, после». Он боялся, что «они» придут как раз в его отсутствие, да его, по-видимому, нисколько и не влекло на простор, несмотря на то, что погода стояла чудесная: в воздухе была разлита удивительная нега, деревья распускались быстро, и молодая, душистая и липкая зелень их блестела на солнце, как отполированная. На самом верху, под окном у Арасланова, от зари до зари задорно хлопотали и чирикали птицы, но он старался не развлекаться этим весельем, с головою погружаясь в работу.

В понедельник, сидя с Бессоновым на балконе и наслаждаясь ясным весенним вечером, он вдруг обратил внимание на дружный топот копыт в конце улицы. Минута — и мимо квартиры Бессоновых прокатила знакомая хорошо обоим пара вороных. В коляске сидела Квитковская. Она как бы мельком взглянула на балкон, но присутствовавшие так растерялись от неожиданности, что не успели с ней раскланяться, прежде чем Квитковская отвела свои глаза.

Никто из них не сказал ни слова. Они даже побоялись взглянуть почему-то друг другу в глаза и продолжали, как ни в чем не бывало, внезапно прерванный на минуту разговор.

Видела коляску и Варвара Михайловна и подумала на своем театральном жаргоне: «Опять начинается игра. Ну, нет, голубушка, на этот раз ты осечешься наверное».

Во вторник утром Квитковский отдал Арасланову визит и возобновил свое приглашение. На этот раз он был очень чопорен и просидел не более пятнадцати минут. Дома была только одна Варвара Михайловна. Они встретились, как люди, хорошо знакомые между собою.

— Вы нас совсем забыли,— упрекнул ее Квитковский.

— Да некогда, знаете. Все с цветами да с овощами вожусь. Вот и теперь принуждена оставить вас и бежать полоть...— отговорилась Варвара Михайловна и оставила гостей вдвоем.

— Редкая женщина,— важно сообщил Квитковский Арасланову.

— Да, она славная женщина,— искренне подтвердил тот.

— Мало этого,— настаивал Квитковский.— Эта женщина с удивительным сердцем и характером. Помилуйте, ведь она обладает несомненным дарованием, голосом, музыкальными способностями... Я сам лично видел ее в Петербурге, и что же? Она бросает все это. Пренебрегает поклонением, успехом и довольствуется скромною ролью учительницы музыки в провинции... Редкая женщина.

— Любовь,— объяснил Арасланов.

— Да, любовь, любовь...— как бы с некоторым сожалением повторил Квитковский.— Не стоим мы этой любви, вот что,— решительно произнес он, поднимаясь со стула.— Так не забудьте, сегодня вечером! — закончил он уже совершенно другим тоном, натягивая на пальцы правой руки свежую перчатку цвета gris-pêgle.

Арасланов проводил его до дверей, возвратился к себе наверх и только что принялся за чтение книги Палласа о местном крае, как горничная доложила ему, что какие-то башкиры желают его видеть.

Он сам побежал им навстречу и узнал своих соплеменников: Юмата Гумерова и Сулеймана Загидуллина.

— Селям алейкум,— важно приветствовали они его, поочередно протягивая ему руки.

— Алейкум селям,— ответил им Арасланов и повел к себе наверх.

Горничную, толстую русскую деревенскую девку, почему-то очень рассмешила эта сцена, она фыркнула втихомолку в фартук и побежала сообщить барыне, что к «Ерусланычу», как она перековеркала имя Арасланова, пришли два черномазых «башкура».

Варвара Михайловна распорядилась, зная слабость башкир к чаю, немедленно поставить самовар и через несколько минут отправила наверх это угощение.



Почти все общество было у Квитковских в сборе и расположилось частью в столовой, частью в гостиной. Сама хозяйка разливала чай. На ней было легкое сиреневое платье, отделанное прозрачными крем-кружевами и лиловыми шелковыми лентами. Широкая лиловая же лента обтягивала ее стройную, почти девическую талию и спускалась к самым ногам обоими концами. Платье это очень шло к ней.

Все находили ее интереснее, чем когда-либо; она была в духе и весело болтала с гостями. Ее чуть-чуть подведенные глаза переливались, как морская вода, и казались больше, чем были в действительности. Эта маленькая фальшь заметна была только очень опытному глазу, да ее никто и не нашел бы несколько предосудительной: в этом полувосточном городе все почти русские барыни давно уже были заражены обычаем восточных женщин — подкрашиваться.

Всех гостей было человек десять, среди них несколько уже знакомых по фамилиям: Брызгалов, Кегульский, местный адвокат, помещик Сколков, богач, слывший умником и оригиналом, помещик Цибулевский, а об остальных не стоит говорить: все это были серенькие, незаметные люди, неизбежная принадлежность всякого общества. Была еще пара молодых людей, до неприличия чистеньких, прилизанных и белокурых. В обществе они были известны под именами — Коко и Моко. Имена эти часто путались, но ни Коко ни Моко не обижались.

Дам почти не было совсем, если не считать двух-трех расплывчатых особ этого пола. Хозяйка не любила дам.

Столовая выходила на террасу, внизу которой был разбит цветник. Вид с террасы открывался великолепный. Справа, как бы образуя полукруглый залив, река Светлая прильнула к берегу и, пропадая невдалеке за гористым мысом, вновь кокетливо являлась вдали серебряными излучинами в молодой зелени берегов. Прямо перед глазами, над группами самых разнохарактерных домишек, возвышалась небольшая старая-престарая церковь, а за нею взбегали на гору опять группы домишек, беспорядочно разбросанных и весело блестящих своими разноцветными крышами и балкончиками в розоватых лучах заходящего солнца. Это был старый Светлорецк. Домишки его сползали вниз и прихотливо лепились по обрывам и скалам до самой реки. Среди них красиво белел в зелени женский монастырь, с маковками, усыпанными золотыми звездами, обнесенный длиною белой стеною. На воротах монастыря красовался ангел, вырезанный из железа. Ходила легенда, что, когда Пугачев подступал к Светлорецку, ангел этот обращен был к нему, несмотря ни на какой ветер, лицом, как бы угрожая мятежнику. Левее шла равнина, по которой вилась дорога к живописнейшему уголку в окрестностях Светлорецка, почему-то носившему романтическое название «Сатанинский трон».

Старинная церковка на горе была историческая. Ходила и про нее легенда, что когда Пугачев подступал к Светлорецку, колокола ее уныло звонили сами собою. Это предзнаменование испугало будто бы Пугача, и он сам не пошел туда, а послал своего помощника Чика и, по уверению хозяев, Чика будто бы угрожал Светлорецку как раз с того места, где теперь находилась их квартира. Здесь же, спустя неделю после казни Пугачева, Чика был обезглавлен, и голова его была посажена на кол, воткнутый в эту самую землю. В земле палисадника не раз находили старинные ядра и пули.

Солнце зашло. Розовый отблеск разлился по реке, отразился в стеклах окон, расцвел крыши и деревья и быстро погас. Сумерки сгустились. В комнатах зажгли огонь.

«Однако, что же это он не идет?» — думала Ариадна

Владимировна, с каждым новым звонком ожидая увидеть Арасланова. Наконец не выдержала и с деланным равнодушием спросила мужа:

— Ты не забыл пригласить m-me Aрасланова?

— Нет, mon ange, не забыл.

— И он обещал?— наклонясь над чаем, спросила она.

— Да, непременно.

— Позвольте полюбопытствовать, о ком идет речь?— развязно спросил высокий красивый брюнет с густою черною бородою, которую он то и дело величественно откидывал на обе стороны правой рукой, на указательном пальце которой сверкал огромный брильянт. Таким же брильянтом был заколот и его щегольской сиреневый галстук. Это и был Брызгалов. Он приблизился к столу, слегка покачиваясь корпусом и глядя на хозяйку поверх своего золотого пенсне.

— Об Арасланове,— ответил хозяин на его вопрос.

— Арасланов? Арасланов... — недоумевая, произнес Брызгалов.— Он, вероятно, не здешний?

— Да. То есть собственно он родом-то из Светлорецкой губернии. Он башкир. Здесь воспитывался в гимназии, но лет пятнадцать жил в Петербурге.

— Теперь он известный адвокат. Речи его печатались в газетах,— прибавила Ариадна Владимировна.

— А? Вот как. Что же, он сюда по делам, или тоска по родине?

— Не знаю. Кажется, хочет здесь землю покупать.

— Опоздал,— с наглым смехом заявил Брызгалов, откидывая бороду.

— Хватит еще и на него,— заметил кто-то.

— Башкир и известный адвокат. Это интересно,— вызывающе глядя на Ариадну Владимировну, проговорил Брызгалов.— Вы с ним, что же, знакомы были?

— Да, мы друзья детства. Когда я была совсем девочкой, а он гимназистом, он давал мне уроки.

— Вдвое интереснее.

Она сделала легкую гримасу. Брызгалов начинал раздражать ее своею развязностью.

— У меня есть очень сложное дельце, которое с удовольствием поручу ему, если он так сведущ,— продолжал Брызгалов.

— А мы-то на что же, батенька?— быстро возразил

ему Кегульский, юркий господин с выхоленными усиками и небольшой тщательно зачесанной лысиной.

— Ростом не вышли-с, милейший,— фамильярно хлопнув Кегульского по животу, отчего брелоки у того зазвенели, отрезал Брызгалов и, довольный этой остро-той, захохотал.

Кегульский тоже засмеялся.

— Оригиналы!— без тени смущения заявил он присутствующим и быстро засеменил к столу, чтобы принять из рук хозяйки стакан чая.

— Ну, вряд ли Арасланов возьмет ваше дело,— возразила хозяйка.

— Почему же-с? — обиженно заявил Брызгалов.— За ценой не постоим-с.

— Суть не в том.

— В чем же-с?

— В том, что он, по-видимому, бежит от дел.

— А-а, другое дело. И что же, надолго он сюда?

— Кажется, навсегда,— заметил Квитковский.

— Навсегда! — раздалось несколько голосов.

— Из столицы приехал сюда, чтобы навсегда остаться! — насмешливо обратился ко всем Брызгалов.— Ну, должно быть, ему не особенно повезло там.

— Да, уж вряд ли это просто! — поддержал его Кегульский.

Хозяйка хотела что-то язвительно возразить им, но раздался звонок, и в столовой показалась фигура Арасланова.

Арасланов раскланялся с хозяевами. Брызгалов, выпятив грудь, на которой блестели брильянтовые запонки, подняв брови, через пенсне, осмотрел гостя.

— Арасланов, Брызгалов,— отрекомендовала их хозяйка.

Брызгалов с шумом расшаркался, склоняя голову на бок. Глаза их встретились, и оба сразу инстинктом почувствовали друг к другу неприязнь.

— Весьма приятно,— громко отчеканил Брызгалов.

Арасланов не сказал ничего и представился другим гостям.

Хозяйка указала ему место возле себя и предложила чаю.

Присутствующие на минуту смолкли и не без любопытства осматривали Арасланова. Арасланов почувство-

вал, что он виновник этого молчания, что ждут его голоса.

— А знаете,— обратился к Арасланову Квитковский.— Когда я выходил от вас, у ворот встретились мне двое башкир и спросили у меня, здесь ли вы квартируете. Я им указал.

Арасланов никак не ожидал этого, немного растерялся и ответил:

— Благодарю вас. Я их видел.

— Уже прослышали, что свой человек-адвокат приехал, и нагрянули,— презрительно заметил Брызгалов и обратился к Арасланову.— Они теперь вам покоя не дадут, если вы их не будете гнать.

— Знает кошка, чье мясо съела,— шепнул Сколков хозяину.

— У этого народа страсть к сутяжничеству,— продолжал Брызгалов, но вдруг спохватился. — Я, конечно, говорю о простых, диких башкирах.

Арасланов не шевельнул бровью.

— Ведь они, верно, к вам тоже с делами пристава-ли?— не унимался Брызгалов.

Арасланов сразу забыл о своей сдержанности, тихо поднял голову от стола и, острым, пронзительным взглядом охватив сразу все лицо Брызгалова, помолчал с минуту и потом отчетливо произнес:

— Да, и я взял это дело. Дело о незаконном пользовании башкирскою землею и о составлении подложных приговоров на продажу ее.

Брызгалов и Ариадна Владимировна обменялись быстрыми взглядами. Брызгалов самоуверенно улыбнулся сквозь усы, снял пенсне и стал протирать стекла. Таких дел в последнее время было поднято не мало, часто они поднимались зря. Ничто в словах Арасланова не указывало на то, чтобы он намекал на дело Брызгалова по последней покупке, однако всем это почему-то невольно пришло на ум.

— Вот видите,— обернулся Кегульский к хозяйке.— А вы говорили, что господин Арасланов бежал от дел.

— Да, но я не говорила, чтобы дела бежали от господина Арасланова.

Гости засмеялись. Кегульский несколько не смутился и, первый заплодировав, развязно обратился к Арасланову:

— Вы здесь у нас, бедненьких, отобьете всю практику! Живо разбогатеете.

— Успокойтесь, — холодно возразил Арасланов. — Я беру это дело безвозмездно.

— Напрасно, — возразил чей-то новый веселый голос.

Арасланов обернулся и увидел в дверях мужчину высокого роста, плечистого, с широким русским лицом, с густою русою бородою, с русыми же волосами, небрежно зачесанными косым пробором, с зоркими голубыми глазами, широким носом и угловатыми манерами.

Он поздоровался с хозяевами, а потом, представляясь Арасланову, назвал свою фамилию: Разумеев.

— Да-с, напрасно вы гонорарий-то брать не хотите. У нас теперь на этих делах светлорецкие Цицероны ловко деньгу наколачивают! — Он метнул лукавый взгляд в сторону Кегульского и Брызгалова, но в его манере было столько добродушия, что тем и в голову не пришло принять эти слова за обиду. — Такой теперь на них спрос пошел, что просто хоть на части разрывайся. Некоторые из них такие штуки выкидывают, что нынче одну сторону защищают, а завтра — другую, — смеясь, закончил он, с шумом усаживаясь на стул.

— А как же иначе? — довольно нагло возразил Кегульский. — Мы, как врачи, не можем отказываться от требования наших пациентов, то есть, иначе сказать, клиентов. Не правда ли, коллега? — обратился он к Арасланову.

Тот вместо ответа холодно спросил, глядя в лицо Кегульского:

— Извините, я не совсем понимаю ваш вопрос. Вы какие же недуги таким манером лечите?

— То есть, как? — несколько опешив от этого вопроса, пробормотал Кегульский. — То есть, как — какие недуги?

— Ну да, очень просто: какие недуги?

— Ну, если хотите: недуги общественного организма.

— Извините, я никак не могу взять в толк этой юридически-медицинской философии.

— Ну, на это могут быть разные точки зрения, — пробормотал Кегульский.

— Совершенно верно! — отозвался Арасланов, принимаясь за чай. — Значит, мы с вами врачи разных школ.

Разумеев комически вздохнул и проронил, как бы про себя:

— Ох, не желал бы я к такому врачу, как господин Кегульский, попасть.

Некоторые рассмеялись, а он продолжал, обратившись к Ариадне Владимировне:

— Барынька, нельзя ли мне лекарства от сорока недугов, «горяченьких сливочек» в стаканчик мало-мало плеснуть.

Ариадна Владимировна с улыбкой передала ему коньяк, и он сразу бухнул себе полстакана.

— Отличные у вас сливки,— похвалил коньяк Разумеев.— Вам не угодно ли?— предложил он Арасланову.

— Благодарю, я не пью.

— Не употребляете, жаль. Ну да со временем, вероятно, исправитесь.

— Вряд ли.

— Ни от водки, ни от селедки не отказывайся, сказано в писании... одного пьяницы. Вот наш милейший поэт приехал сюда, капли в рот не брал, а теперь так коньячок хлещет, что любо-дорого... Ну, да и то сказать: поэту без этого нельзя. Любить и пить— это символ веры каждого поэта.

— Вы это о ком?— спросил Арасланов.

— Да о Бессонове.

Некоторые из присутствующих переглянулись. По лицу Брызгалова промелькнула торжествующая улыбка.

— Он и управу крайне небрежно посещает,— строго заметил Квитковский.

— Что поделаете, весна,— вздохнул Разумеев...— Плесните-ка мне китайского зелья, Ариадна Владимировна. Какая уж ему весной работа... Натура поэтическая... «Хочется в поле, в широкое поле, где шествуя сыплет цветами весна»,— нараспев продекламировал он.

К сожалению, большинство русских людей— поэтические натуры, оттого они так и ленивы.

— Мало того,— подхватил Брызгалов.— У нас лень считают часто непременно признаком недюжинной натуры, и какой-нибудь гимназистик, сносно нарисовавший какую-нибудь картину или написавший гладкое стихотвореньице на именины своей мамы, считает себя вправе забросить учебник и разыгрывать героя.

— Ну, положим, Бессонов-то действительно натура

поэтическая и талантливая. Этого нельзя от него отнять,— заступился за него Разумеев.

— Правда,— подтвердила Ариадна Владимировна.

— Тем хуже для него,— тряхнув плечами, уронил фразу Брызгалов.— Посмотрите на Европу. Там каждый незначительный талантлик старается утилизировать свои способности и доразвить их до возможной степени совершенства, и достигают, а наши доморожденные таланты с своими способностями мечутся из угла в угол, забывая, что терпение — гений.

— Эко, как Смайлса-то изучил! — в притворном уважении воскликнул Разумеев.— Только знаете, батенька, терпение есть принуждение, а я полагаю, что в области творчества принуждение то же самое, что овес для нас с вами. Потребность творить у гения есть такая же потребность, как у нас с вами — есть и пить. Полагаю, что вам для этого не потребуется большого принуждения.

Чай кончился. Гости встали из-за стола. В гостиной зазеленели поля, и игроки присаживались к ним.

— А вы не играете?— спросила хозяйка Арасланова.

— Нет, не играю.

— Жаль. Аркадий Дмитриевич,— обратилась она к Брызгалову,— будьте любезны, садитесь с мужем за стол. Там необходим партнер.

Брызгалов расшаркался, наклонил голову на бок и покорно направился к столу Квитковского.

В числе не играющих остались только хозяйка, отговорившаяся необходимыми заботами, Арасланов, Разумеев да «сиамские близнецы», которым родители выдавали весьма мизерные суммы на карманные расходы. Серенькие личности все пристроились у игорных столов «по маленькой».

— Я рад, что вы не играете,— обратился Разумеев к Арасланову.— Давайте, побеседуем с вами. Андрей мне говорил о вас, и мне охота с вами поближе познакомиться.

— Очень рад!— отвечал Арасланов.

Они пожали друг другу руки и уселись в будуаре хозяйки, откуда видно было всех игроков.

Разумеев сразу заговорил без обиняков:

— Андрей взял у меня для вас топографическую карту нашего края.

— Благодарю, я ее получил.

— Не в этом суть.— Я должен вам сказать, что вряд ли для каких-нибудь целей эта карта может вам пригодиться.

— Почему?

— А потому, что она составлялась давно, а за это время в Светлорецкой губернии множество произошло перемен, которые не занесены еще в карту.

— Именно?

— Появились поселки там, где ими в то время и не пахло, и исчезли оттуда, где были. То есть не подумайте, что они перенеслись, нет, а так исчезли куда-то, да и баста! «Кончал базар», как говорят ваши собратья. Сократились без остатка. А что касается лесных дач, то из них осталась только половина, а другая половина, фюить, тоже сократилась, но «остаток» в кармане господ Брызгаловых покоится.

Арасланов с ненавистью взглянул в сторону Брызгалова.

— Рвачи с каким-то собачьим нюхом,— продолжал Разумеев.— Тоже гении своего рода по Смайльсу. Папенька его, извольте видеть, служил лакеем у одного помещика. Обокрал что ли он его, только очутилось у него несколько сотенных... Купил он у башкир клочок земли, втрое дороже заложил его, на вырученные деньги купил втрое больше и пошел дальше орудовать. Глядь, уж и лес сплавляет. Отличный мачтовый лес. Таким образом в лучшем виде перещеголять того мужика, который хотел разбогатеть, убив зайца... Не прошло и десяти лет, как в кармане у него миллион очутился. Ну, сынок тоже не ударил лицом в грязь. Даже папеньку перещеголял. Европейец. За границу ездил, хотя из иностранных языков только на башкирском говорит, и обычаи их и характер изучил до тонкости: без этого никак им нельзя. Папенька их теперь почил от дел. Сидит дома да божественное читает. Он древнего благочестия придерживается... В ненастную погоду божественное читает, а в ясные, теплые дни на крылечке собственного домика посиживает. Однако купчие и всякие такие бумажки на свое имя велит делать: «Умру, говорит, я скоро... Так, ежели что не чисто,— пусть уж лучше на меня падет... Мертвые срама не имут». Ничего сказать, заботливый папенька... И сколько у нас таких старичков!..

— Неужели же все это им до сих пор сходило с рук безнаказанно?— взволнованно перебил Арасланов.

— Мало этого... Почетное гражданство получают. Вот вам сей же образец достойный. Я ведь понял, на какое вы давеча дельце-то намекнули,— продолжал Разумеев.— Дело это верное, только **копнуть** нужно его хорошенько... Да и это ли одно? **Вы только оглянитесь** кругом, и-и-и, батюшки мои, какая тут вакханалия идет!..

Арасланов стиснул руками голову, и с губ его сорвалась угроза.

— Дай вам бог успеха,— поддержал его Разумеев.— А-ах, давно бы здесь следовало дезинфекцию произвести.

— Что-о?— внезапно появившись, произнесла хозяйка.

Арасланов вздрогнул и быстро отвел руки от головы,

— Де-зин-фек-цию!— отчеканивая каждый слог, проговорил Разумеев, стараясь в то же время прочесть по ее лицу: слышала ли она этот разговор или нет.

— Что такое?— продолжала недоумевать хозяйка.

— Дезинфекцию, говорю, в Светлоречке следует произвести, чтобы вредные микробы не размножались!

— Что за разговор!— поморщилась хозяйка.

— Самый настоящий разговор! Разве вы забыли, что господин Арасланов — доктор не одного только «общественного организма»?

— Нет, уж давайте о чем-нибудь другом разговаривать!

— О чем же?

— Что за вопрос. Разве мало тем для разговоров, помимо дезинфекции?

— Есть, да ваша цензура не пропустит. Впрочем, нашел!.. Давайте злоязыничать насчет ваших гостей.

— Как хорошо!— укоризненно остановила его хозяйка.

— Виноват, я не так выразился. Давайте знакомить господина Арасланова с вашими гостями... Ведь вы, наверное, мало кого здесь знаете?— обратился он к Арасланову.

— Почти никого.

— Ну, вот видите... А вам необходимо знать их, потому что с волками жить... То есть... виноват... В чужой

монастырь с своим уставом не ходят... С кого же мы начнем?..

— Ну, вот, с первого же к нам стола!— подсказала Ариадна Владимировна.— Только не ударьте лицом в грязь перед новым человеком... Призовите на помощь все ваше остроумие.

— Нет-с, за остроумие не ручаюсь. Остроумие не в характере русского человека, и в этом отношении мы тоже, как говорит почтеннейший Аркадий Дмитриевич, далеко отстали от европейцев. Но за искренность слов моих держите пари,— предложил он Арасланову.

— Ну, хорошо... Без предисловий... Начинайте,— нетерпеливо торопила его Ариадна Владимировна.

— Извольте-с,— согласился Разумеев и, слегка прищурив голубые глаза свои, начал тоном раешника, указывая на ближайший стол, где сидели Брызгалов, Квитковский, Кегульский и Сколков.— Вот вам зеленый стол, а сидит за ним мужской пол. Номер первый!— громко выкрикнул он, указывая глазами на Брызгалова.

— Тс...— остановила его хозяйка.— Услышат...

— Так что ж? Вы почему же думаете, что я буду такое говорить, чего им нельзя слышать. Может я хвалить их буду?— ответил Разумеев.

— Знаю я вас: для «красного словца не пожалеете мать-отца»,— смеясь, проговорила она несколько утрированно, по-русски.

— Ну, судите сами, к кому эта пословица больше подходит. Я еще ни одного худого слова не проронил, а уж вы меня выругали.

— Зачтите это, когда очередь дойдет до меня.

Разумеев в ужасе поднял руки, но она его остановила.

— Довольно... Знаю... Продолжайте.

Она даже обдернула на себе платье и оперлась рукою на столик, точно готовилась слушать и смотреть представление.

Разумеев налил себе рюмку коньяку и выпил ее, поглядев сквозь рюмку на хозяйку.

— Что это вы, кажется, с меня хотите начать?— заметила она.

— Сохрани бог. Я просто смотрю рюмку на свет, как все пьяницы,— сострил Разумеев.

— Вы умеете говорить и любезности, когда пожелаете. Но к делу.

Разумеев с комической торопливостью налил себе еще рюмку, выпил ее залпом и поставил на стол вверх дном.

— Так как вы меня сбили с тона,— упрекнул он Ариадну Владимировну,— то мне приходится переменить порядок, чтобы начать, действительно, с похвал. Начнем с хозяина.

— Ну, это скучно. Хозяин, так непременно хвалить.

— А как же! Во-первых, он мой принципал; во-вторых, хозяин этого вина; а в-третьих, ваш супруг. Уж его-то я никак не могу порицать.

— Неужели это так трудно?.. То есть, не подумайте, что я хочу сказать: неужели так трудно найти в нем дурное, — с двусмысленной улыбкой произнесла она... — В нем есть отличные достоинства...

— Вам и книги в руки,— перебил ее Разумеев. Вы лучше меня его знаете, если говорите, что нетрудно хвалить его.

— С вами не сговоришь.

— Ну-с, так начнем с кого-нибудь, все равно... Ну, хоть с Коко-Моко. Их за одного, потому что, в сущности говоря, за двоих их считать — недоразумение.

— Они братья?— спросил Арасланов.

— Нет, какое! Даже не родня. Но не правда ли, точно оба из одного яйца вылупились... Игра природы-с. Как видите, Коко чуть-чуть потолще Моко, в этом вся и разница. Если бы Коко раскрыть, вычистить, то Моко вошел бы в него, как в великолепный футляр. Мне кажется, что даже и внутренностей-то настоящих ни у того, ни у другого нет, а как в пружинных куклах, механизм вместо этого, благодаря которому они ходят, едят, улыбаются, шаркают, даже играют в четыре руки на пианино, а когда нажмут известную пружинку, говорят: «Здравствуйте»... «Как ваше здоровье?» «Мегсі» и тому подобные, несложные вещи.

— Теперь о Брызгалове...— просила Ариадна Владимировна.

— Ладно... Номер второй. Впрочем, г. Арасланов его знает.

— Откуда?— живо спросила хозяйка.

— Во-первых, я успел кое-что сообщить,— сознался

Разумеев, — а во-вторых, он сам себя достаточно аттестовал презрением к так называемым предрассудкам.

Хозяйка чуть-чуть смутилась, но не унималась и просила перейти к другим.

— Баста! — закончил Разумеев. — Хорошенького понемножку.

— Нет, вы не смеете отказываться! — настаивала она. Арасланову не нравился ее тон.

Разумеева пригласили зачем-то в эту минуту к карточному столу, и он оставил Квитковскую и Арасланова вдвоем.

— Пойдемте на террасу, а то здесь что-то душно, — предложила хозяйка Арасланову, направляясь из будуара через гостиную.

Он молча последовал за нею. Брызгалов проводил их долгим и пристальным взглядом.

— Смотрите, вас обремизят, — многозначительно заметил ему Разумеев.

Ночь была ясная. Светил месяц на ущербе. В мягком весеннем сумраке, приглядевшись, можно было разобрать невдалеке почти все предметы. Лунный свет блестел кое-где на железных крышах зданий и на кресте церкви, которая особенно ярко выделялась из мрака. На возвышенности так же ярко выделялись и некоторые домики, светясь белыми стенами, зато там, куда не проникал лунный свет, чернели, точно пропасти, совсем темные пространства. От горы на воду, в которой зыбилось и дрожало лунное сияние, падала тень, пересекая воду надвое. Кое-где на реке мигали огоньки, должно быть, на плотках. Огоньки также загорались, двигались и гасли в окнах домов, и во всей этой бесшумной жизни чувствовалось что-то таинственное, кроткое и примиряющее.

Город совсем спал, только изредка трещала колотушка ночного сторожа, слышался лай собаки... Из комнат доносились восклицания: «пас», «большой шлем», «малый шлем», но, как ни близко были эти голоса, они казались доносившимися сюда из какого-то другого мира, ничего общего с окружающей ночью и ее тайнами не имеющего.

— Хорошо у вас здесь! — вырвалось у Арасланова.

— Не правда ли? Только я уж пригляделась к этой красоте, и она мне порядком надоела. Я не люблю долго заниматься одним и тем же.

— Вот как!

— А вас это удивляет? Все женщины любят разнообразие.

— Я мало знаю женщин.

Квитковская засмеялась.

— Что вы смеетесь?

— Простите, но я не верю вам. Неужели вы нисколько не интересовались ими?

— До сих пор нет. Мне некогда было заниматься этим.

— Напрасно. Есть прелюбопытные экземпляры.

— Может быть.

— Зато, вероятно, женщины интересовались вами?

— Мною!..

— Да! Что же, вас это удивляет? От вас веет какой-то диковосточною силою... Простите, что я так искренна, но ведь мы старые приятели... А главное — вы известны... Женщина, которую нельзя подкупить ни деньгами, ни умом, ни красотой, ни храбростью, ни постоянством, — никогда не устоит против славы.

— Вы очень дурного мнения о женщинах, — насмешливо прервал ее Арасланов.

— Что поделаете! Я люблю правду больше себя. Все женщины страшно тщеславны, особенно хорошенькие, а так как собственных средств для завоевания славы им не дано, они стремятся заимствовать ее у мужчин.

— Как луна у солнца?

— Да, совершенно верно: как луна у солнца. Хоть отраженным светом да посветить. Все люди живут призраками, и тот счастливее, у кого их больше.

— О, да вы философ!

— Призрачный, — сострила она. — Впрочем, нет, я только женщина.

— И все женщины таковы?

— Почти.

Арасланов улыбнулся. Она чувствовала это снисходительное отношение к себе, но оно ей даже нравилось.

— Впрочем, такой взгляд на женщину, как на существо ничтожное, не должен казаться вам странным, как магометанину. Ведь это у вас в крови.

— Может быть.

— Если вы никогда не любили,— продолжала Ариадна Владимировна пророческим тоном,— берегитесь. Природа жестоко мстит тем, кто оскорбляет ее законы, а закон любви самый важный.

— Положим, в природе нет таких законов,— ответил он.— Любовь — это роскошь, украшение жизни, призрак, скажу вашими словами.

— Нет, не призрак. За призраками гоняются люди, а тут обратно: любовь сама гоняется за людьми. Значит, не люди сочинили любовь...

— А любовь сочиняет людей,— смеясь, закончил Разумеев, появляясь в дверях террасы.— Ариадна Владимировна, как всегда, права.

Квитковская, ударив Разумеева веером, с притворной строгостью покачала головой.

— Я пришел проститься с вами,— продолжал Разумеев.

— Как проститься? Я не пушу. А ужин?

— Боже мой! — комически закатывая глаза, возразил Разумеев.— Да разве я мог бы уйти от вас, если бы не дела. Дела проклятые!..— закончил он, продолжая стоять с протянутой широкою закрубелой рукою.

— Какие такие дела!.. Не верю.

— Спросите супруга... Ехать должен. Пароход уходит в час, а теперь двенадцать часов. Пока переоденусь дома да перецелую детишек — у меня ведь их девять человек — будет половина первого... Только-только успею к пароходу.

— Ну, делать нечего. Прощайте... Да не жмите так руку, пальцы сломаете.

— От полноты чувств. До свиданья,— обратился он к Арасланову.— Вернусь, милости просим ко мне.

— Непременно. А вы надолго?

— Недели на полторы.

— Меня уж в это время здесь не будет.

— Ну, бог даст, останетесь,— с неуловимой улыбкой заметил Разумеев.— Удержите-ка его, барынька.

— Вряд ли это в моей власти.

— *Vouloir cest pouvoir*,— произнес он невозможно по-французски.

Она взглянула на Арасланова и покачала головой, точно признавая себя бессильной.

Арасланов, нахмурив брови, обратился к Ариадне Владимировне:

— Позвольте и мне проститься.

— Нет, у нас это не полагается,— решительно ответила она и, без церемонии взяв его руку, предложила пройтись по саду.

— Так, так,— одобрил, уходя, Разумеев.

Арасланов хотел сухо высвободить руку, но вместо этого молча повиновался.

Она крепко оперлась на его руку, и они спустились в цветник. Из освещенных окон на дорожки и клумбы цветника падали светлые полосы, точно ручейки воды.

— Пойдемте туда,— предложила Ариадна Владимировна, указывая на аллею высоких вязов, сквозь молодую узорчатую тень которых луна бросала на дорожку серебряные пятна.

— Пожалуй,— согласился Арасланов.— Только там сыро.

— Я не боюсь сырости.— И она отворила решетчатую калитку из цветника.

Они вошли в аллею, и влажный сумрак охватил их со всех сторон.

Несколько шагов они шли молча. В саду было тихо и таинственно.

— А знаете ли...— начала Ариадна Владимировна, и Арасланову показалось, что ее голос звучит как-то особенно ласково. Она на минуту остановилась после этой вступительной фразы, точно колеблясь, продолжать ли ей, и заговорила снова.— А знаете ли, что я в детстве была влюблена в вас?

— В меня?— удивился он и даже остановился в удивлении.

— Да, в вас! — подтвердила она.— Вот вы минуту назад говорили, что любовь призрак, сочиненный людьми. Ну, разве можно предположить, чтобы в детстве сознательно стремились сочинять подобные вещи! Ведь нет?

Она совсем обернулась к нему лицом и глядела ему прямо в глаза...

— Ребячество. Подражание взрослым,— ответил Арасланов, и ему вдруг стало досадно на себя за то, что он не ушел домой.

— Нет, тут о подражании не может быть и речи,— настаивала она.— Какое тут подражание? Я ночей не спала напролет... Все письма вам сочиняла. Выучила наизусть письмо Татьяны и чуть не со слезами читала его по вашему адресу. Бывало, вы мне объясняете какие-нибудь арифметические правила, а я смотрю, слушаю и ничего не понимаю. Мне ведь тогда пятнадцать лет уже было. Неужели вы не догадывались об этом?

— Нет,— холодно ответил Арасланов.

— Да, разумеется, не догадывались,— как бы углубляясь памятью в прошлое, продолжала она с сожалением.— Воображаю, какой вы меня считали тупицей. Я сама до слез сердилась на себя за то, что не могла заниматься. Сяду за арифметику, хочу непременно выучить то, что вы задали, отличиться перед вами, заслужить ваше одобрение, и иногда, действительно, мне удавалось побороть все затруднения, а как только приходится отвечать, точно ваши глаза вон у меня все из памяти вынимают.

Она слегка вздохнула, Арасланов чувствовал, как из ее руки в него переливалась теплая отравляющая струя, вызывая в плечах и спине мурашки.

— Не лучше ли нам возвратиться?— нерешительно предложил он.— Вы простудитесь.

Она как будто не слышала его слов и продолжала:

— Ах, я часто вспоминаю это время. В нем так много было какой-то весенней свежести и чистоты. Казалось, всего этого могло бы хватить на сто жизней, а остается только одно воспоминание, дорогое, милое.

Сильнее оперлась на его руку и лениво двигалась вперед. Деревья стояли совершенно неподвижно. Мягкий сумрак так тщательно окутывал их, что в нескольких шагах они уже казались непроницаемою черною стеною, но по мере того, как гуляющие приближались к этой стене, сумрак расступался перед ними и смыкался за спиною их. Было так тихо, что Арасланов слышал ровное дыхание своей спутницы.

На повороте дорожки показалась освещенная луною скамейка.

— Сядем здесь,— пригласила она, опускаясь на скамью.

Он сел несколько поодаль.

Отсюда дорожка спускалась вниз и кончалась обры-

вом, который отрывал сад от другой стороны местности, населенной разной беднотой, лачужки которой беспорядочно жались одна к другой. Где-то шумел ручей. Деревья здесь были мельче, и прямо перед скамейкой валялось в траве что-то белое, похожее на детскую фигуру. Арасланов остановил на ней свой взгляд.

— Это какая-то статуя полуизломанная и довольно безобразная. Озорные мальчишки с той стороны камня сбили ее. Я никак не могу приказать ее убрать, потому что порядком привыкла к ней. Это мое любимое место. Здесь я часто вспоминаю свое детство. Мне кажется, что это самая лучшая пора человеческой жизни. Вы как думаете?— обратилась она к Арасланову.

— Не знаю, право. Я не могу сказать этого о своем детстве.

— Разве оно у вас было так печально?

— Да-да,— не совсем охотно отвечал он.

— Это жаль! Мне помнится, впрочем, что доктор, который вас рекомендовал нам в качестве репетитора, рассказывал о вас что-то очень интересное.

— Ну, интересного-то мало.

— Ведь вы, кажется, росли сиротой, и этот доктор... как его фамилия... Забыла.

— Рокотов.

— Да, да, Рокотов! — живо подхватила Ариадна Владимировна. — Такой высокий, плотный, говорил отрывисто. Брови седые, насупленные. Он мне казался очень строгим.

— Это был замечательный человек. Бескорыстный, прямой, благородный и необыкновенного ума и начитанности.

— Да, я слышала это о нем. Когда его хоронили, весь город был на похоронах. Особенно много было бедноты. Говорят, он все, что зарабатывал, отдавал бедным.

— Это правда. Он жил и умер героем. Он мог бы в столице быть профессором, светилом. Ему предлагали кафедру, а он уехал в глушь. Знаете вы, как он умер?— Арасланов продолжал, не ожидая ответа.— При одной операции больному попал в горло гной. Он мог бы задохнуться... Тогда Рокотов высосал этот гной, спас больного, но сам заразился и умер.

— Боже!

— Я обязан этому человеку всем,— твердо продолжал Арасланов.— И я постараюсь быть достойным его любви ко мне и забот.

— Но как случилось, что он принял в вас участие?

— Это долго рассказывать,— попытался он уклониться. — Да и скучно будем вам.

— О, нет, нет, напротив! Если вам это не будет тяжело, расскажите мне об этом. Верьте, что я прошу не из пустого любопытства.

Она обернулась к Арасланову и, коснувшись его руки своею рукою, настойчиво повторила:

— Расскажите!

Лунный свет делал ее лицо зеленовато-бледным и трогательно грустным, золотил ее волосы и двумя огненными точками отражался в темных влажных глазах.

Арасланов молчал. Его охватила острая, но бесильная досада на себя за то, что он, по его собственному сознанию, распускал себя: не хотелось рассказывать ей то, о чем она просила, но непонятная сила переборола его. Он с досадой ущипнул зубами кончик усов и заговорил, опустив голову на руки, упирившиеся локтями в колени.

— Я не помню и не знаю ни отца, ни матери. До шестилетнего возраста я рос в глуши, в башкирской деревушке и пас скотину. Однажды в стадо забежал бешеный волк, перекусал скотину и укусил меня. Я стал кричать. Крик мой услышали люди и убили волка. По счастью, на кумысе в деревне лечился один чахоточный учитель, который, услышав об этом, напугал всех и велел везти меня в город, в больницу. Чтобы не терять времени, я поскакал верхом, в сопровождении одного старого башкира, который знал несколько слов по-русски. От учителя у нас было письмо к старшему врачу губернской больницы. Прочитав письмо, врач принял за лечение меня, сделал мне прижигание каленым железом и оставил в больнице...

— Это был Рокотов?— перебила Ариадна Владимировна.

— Да. Затем он несколько месяцев внимательно ухаживал за мною. Я жил в больнице, хотя чувствовал себя совершенно здоровым. Рокотов хорошо говорил по-башкирски и часто беседовал со мною на родном языке, но я скоро с грехом пополам выучился и говорил

по-русски и помогал кое в чем больничным служителям, а также прислуживал и больным, бегая по их поручению то в лавочку, то куда пошлют. Кормили и поили меня отлично, и я совсем забыл и думать о возвращении. Так протянулось дело до глубокой осени. Тогда, наконец, доктор объявил мне, что я могу идти домой. Я представил себе долгую холодную зиму в грязном, как хлев, углу, холод, голод, расплакался, рассказал ему, что дома у меня нет, и с его позволения остался в больнице на побегушках. Осенью же переехал в больницу из нашей деревни и знакомый мне учитель. Кумыс плохо помог ему, и он медленно умирал, сам сознавая свое положение. От скуки начал он заниматься со мной грамотой. Мне она давалась легко, и я в осень и зиму успел так много, что другим на это надобно года два-три. Весною моему учителю стало хуже... Накануне своей смерти... так, приблизительно, дня за два, или даже за день, он долго о чем-то беседовал с доктором, и оба часто поглядывали на меня. Когда он умер, я много о нем плакал. Тогда доктор взял меня к себе и, хотя я никогда не слышал от него ни одного слова утешения, но в его присутствии мне было легко и спокойно.

— Дальше...

Арасланов сразу точно очнулся. Воспоминания так овладели им, что он почти забыл о присутствии постороннего лица. Он помолчал с минуту и сухо ответил:

— Дальше — он определил меня в гимназию и долго держал меня в заблуждении насчет источников моего существования, уверяя, что деньги на мое воспитание завещал ему учитель, и когда я узнал случайно, что деньги были его собственные, он рассердился и даже раскричался на меня.

— Чудак!

— Да, именно таких благородных людей принято у нас величать чудаками. Ну-с... Затем я окончил курс гимназии, поехал в университет и... больше ничего, — совсем овладев собою, закончил он, поднимаясь с места.

Она задумчиво подала Арасланову руку, и они двинулись по направлению к дому.

С колокольни соседней церкви гулко оторвался колокольный удар и поплыл над городом, медленно затихая вдали. Ариадна Владимировна вздрогнула и прижалась к спутнику.

— Аминь! — прошептал он про себя, точно подводя итог каким-то затаенным мыслям и чувствам.

С другой колокольни оторвался другой удар и поплыл в погоню за первым. Там — третий... четвертый...

Они вошли на крыльцо. Небо побелело. Близился рассвет.

Гости уже вспоминали хозяйку. Брызгалов при виде их вскинул пенсне на нос и саркастически улыбнулся.

— Ах, как ты неосторожна, мой друг, — встретил жену Квитковский. — На воздухе так сыро.

— Пустое, — устало ответила она и пригласила гостей к ужину.

Гости разместились таким образом, что по одну сторону хозяйки очутился Арасланов, по другую — Брызгалов. Во время ужина снова зашел разговор о башкирах.

— Я собственно не понимаю, о чем здесь разговаривать, — с апломбом заявил Брызгалов, сам же и поднявший этот разговор, чтобы выведать как-нибудь от Арасланова, чье именно дело взялся он вести. — У башкир все равно земля лежала без толку. Это ленивейший народ, который способен только лежать на боку, пить «сяй», кумыс да ашать баранину. Землю все равно они не обрабатывают, платить им за нее подати приходится. Наконец, покупщики башкирских земель, пуская в ход земли, поднимают производительность страны и оживляют экономическое развитие ее.

— Так, по-вашему, значит, им благодеяния оказывают? — спросил Сколков язвительно, глядя на Брызгалова из-под своих седых клочковатых бровей. — Благодеяние оказывают, отнимая у них землю?

— Во-первых, у них не отнимают, а покупают, Дмитрий Васильевич, — почтительно ответил старику Брызгалов.

— Хороши покупки! — не выдержал Арасланов. — Лесные дачи на реке покупают за копейки десятину. Что же касается того, что башкиры не умеют взяться за обработку земли, — это вполне понятно: народ целые века вел кочевой образ жизни; ему трудно отделаться от своих привычек и перейти к оседло-земледельческому труду.

— Совершенно верно, — поддержал его Цибулевский. — Ему нужна поддержка извне, поддержка куль-

турных людей... Дворяне, помещики... Наглядный пример...

— Ну, насчет дворян-помещиков это вы напрасно, — не выдержал Квитковский. — У меня на этот счет есть интересный документ и, если вам угодно...

— Дело не в том, — возразил Брызгалов. — Если над башкиром будет палка, он еще кое-как станет работать, как это было тогда, говорят, когда у них были кантонные начальники из татар. Те силой и денежными наградами еще заставляли их работать, а самостоятельно они пальцем о палец не ударят.

— Ах, господа, — перебила разговор Ариадна Владимировна. — Оставьте хотя за ужином-то эти башкирские дела. И как вам не наскучат они в управе! Будемте говорить о чем-нибудь другом.

— Правда, правда, — поддержал ее Брызгалов. — А вот вам новость: сегодня я видел объявление театральное: к нам едет труппа на гастроли.

— Да, да, и мы видели! — воскликнули оба юнца. — Опереточная труппа!

— Ну вот тебе и раз. Не было ни гроша, да вдруг алтын! А состав неизвестен? — спросил кто-то.

— Нет, куда еще неизвестен, — ответил Моко. — Но, по слухам, будет Знойнова... О ней очень много писали в столичных газетах.

— Талантливая артистка на каскадные роли, — поддержал Коко.

— Талантливая артистка и едет сюда? Нет это, вероятно, мистификация, — возразил Брызгалов. — Теперь самозванство в моде не только на сцене, но даже в литературе.

— А может быть, у нее голос пропал? — глубокомысленно заметил Квитковский.

— Какой в оперетке голос! Там важна игра, передача, *chic*... В бытность мою в Париже я видел Жюдик... — Брызгалов прищелкнул языком и облизал пальчики. — Какой торс!.. Вы ее не видели? — обернулся он к Арасланову. — Она в прошлом сезоне была, насколько мне известно по газетам, в Петербурге.

— Я не поклонник театра, — сухо ответил Арасланов.

— Напрасно.

Арасланова мало занимал этот вопрос. У него из головы не выходил обмен взглядов между Брызгаловым и Квитковской при упоминании вновь о покупке земли у башкир. Странная догадка невольно начинала беспокоить его, но он не давал ей веры.

Ариадна Владимировна поймала его рассеянный взгляд и улыбнулась Арасланову.

В этой улыбке было что-то до того ясное и милое, что подозрение Арасланова сразу рассеялось. Эту же улыбку он поймал и при прощании с хозяйкой, когда она, не выпуская его руки из своей, ласково говорила:

— Не забывайте же нас... меня... — как бы поправи-лась она. — На днях я собираюсь устроить маленькую поездку на «Сатанинский трон» и рассчитываю на вас.

— Благодарю вас. На днях я должен буду выехать в уезд.

— Все по поводу этих противных башкирских дел? — капризно спросила она, и в глазах ее зажглась искорка.

— Да, — ответил он.

— Но ведь это, надеюсь, не надолго?

— Нет, вероятно, надолго.

— Разве это так далеко, или такое сложное дело? — выпытывала она.

— Нет, не то, чтобы, а все-таки, — намеренно неопределенно ответил он.

Она улыбнулась и повторила свое приглашение.

Арасланов вышел на улицу. Было совсем светло. От реки подымался туман. На колокольне ближайшей церкви пробило три часа, но эти удары были не похожи на те, которые он слышал два часа тому назад. Это были сонные и вялые удары. На улицах начиналось движение. Перекликались петухи. Мычали коровы.

У подъезда дома Квитковских стояла белая лошадь. На козлах, свесив голову на грудь, спал кучер. Арасланов догадался, что это была лошадь Брызгалова, так как только он один и оставался еще после ухода всех гостей. Это обстоятельство снова вызвало в Арасланове прежнее недоверие. Он стал припоминать все мелочи в отношениях Брызгалова и Квитковской и не мог не сознаться, что во всем этом было много такого, что указывало если не на близость, то на существование между ними какой-то тайны.

«Какая однако противная рожа у этого господина», решил Арасланов и одновременно с этим почувствовал, как голову его обвеяло что-то теплое и до сих пор неизвестное, что разлилось потом по всему его существу. Арасланову вдруг стало чего-то боязно и стыдно. Он снял шляпу, провел похолодевшей рукою по лицу и волосам и вдруг совершенно определенно решил, что завтра уедет из города.

V

Квитковский ушел спать. Брызгалов с Ариадной Владимировной остались в гостиной вдвоем.

— Вы понимаете, зачем я оставила вас? — обратилась она к Брызгалову.

— Может быть, объявить мне, что мои муки кончились, — ответил тот, страстно глядя ей в глаза.

Она покосилась на дверь и с притворной строгостью покачала головой.

Однако Брызгалов мало обратил внимания на это предостережение и, быстро схватив ее руки, поднес к своим губам.

— Довольно, — прошептала она и, указывая ему место подле себя, приказала: — Садитесь.

Брызгалов вздохнул, однако повиновался и сел на место, дыша так тяжело, что его туго крахмаленная сорочка с бриллиантовыми запонками скрипела.

— Ну-с, что вы скажете? — пытливо обратилась она к Брызгалову.

— Насчет чего? — все еще как бы недоумевал он.

— Да будет вам комедию ломать! — резко прервала она его, и на лице ее появилось совсем не шедшее к ней нетерпеливо злое выражение. — Вы поняли, насчет чего намекал Арасланов?..

— И что же-с?..

— Уверены ли вы, что отнять у меня... то есть у вас... Ну, — словом, отнять у нас купленную землю нельзя?

— Разумеется, уверен: земля куплена по приговору.

— Вы слышали, что он собирается ехать туда. Может быть, приговор составлен... сомнительно, — она чуть не сказала: мошеннически. — Ведь если это дело объяснится, — земля — фюить. Скажите, вы спокойны?

Брызгалов ответил не сразу. Приговор, благодаря содействию мирового посредника, был составлен, действительно, не совсем чисто, и при энергичном расследовании это могло обнаружиться, но, во-первых, Брызгалов был убежден, что тот же посредник не допустит Арасланова обнаружить некоторые компрометирующие обоих приятелей обстоятельства, а во-вторых, ему самому не хотелось ударить в грязь лицом, и он ответил:

— Покоен.

— То-то... Ну-с, а теперь извольте идти домой... Au revoir.

— Au revoir, — печально повторил Брызгалов, исподлобья глядя на нее, как будто все еще чего-то выжидая.

Она засмеялась, хлопнула его веером по плечу и протянула обе руки ладонями вверх для поцелуя.

Брызгалов жадно наклонился к ее рукам и опустил перед ней на колени.

По лицу Квитковской снова промелькнуло не то презрительное, не то пренебрежительное выражение. Ей всегда был неприятен этот здоровый, как бык, и грубый по натуре человек, а теперь, — теперь почему-то особенно. Когда же он поднял на нее глаза умоляющие и расширенные, она встретила этот взгляд непоколебимо холодным взглядом.

— Мрамор! — со вздохом проговорил он и, безнадежно махнув рукою, вышел из комнаты.

По уходе его она устало потянулась и лениво направилась в спальню кошачьей походкой.

По дороге она подошла к трюмо и, взглянув на себя, улыбнулась и погасила свечи. Сквозь занавески пробивался день, а из сада доносилось щебетание птиц.

Проходя в спальню через столовую, она опытным взглядом хозяйки окинула стол и, заметив остатки жаркого, приказала прислуге поставить его на лед. Фрукты и виноград она сама заперла в буфет и, тщательно осмотрев бутылки, нашла, что выпито было вина немного, и сделала на бутылках отметины ногтем: чтобы прислуга не баловалась. Только бутылка с коньяком была опорожнена наполовину. «Однако этот господин, — подумала она о Разумееве, — целых полбутылки выпил». Затем налив себе большую рюмку fine champagne, она стала цедить его сквозь зубы, посасывая лимон, посыпанный сахаром. За ужином она и без того достаточно

выпила вина, чокаясь с гостями; эта рюмка слегка отуманила ей голову, щеки ее вспыхнули, глаза покрылись матом; она расстегнула воротник и, продолжая на ходу расстегивать лениво пуговицы лифа, вошла в спальню.

Муж ее спал, прилично похрапывая и посвистывая носом. Лицо его теперь совершенно утратило свою важность и казалось вылепленным из плохого, расползавшегося теста. Он утомился за день и спал вверх лицом, вытянувшись, как покойник, так что пальцы его ног, с которых слегка сползло одеяло, торчали наружу. Сквозь занавески окон рассвет пробивался все отчетливее. В одно из стекол билась бабочка. Ариадна Владимировна заметила ее, отстранив занавеску, слегка раскрыла окно, и бабочка вылетела наружу, откуда пахнуло на мгновение влажным свежим воздухом. «Вот я какая добрая», мысленно похвалила она себя, разделась, но, прежде чем лечь спать, набожно перекрестилась на образ.

На мужа она не обращала ровно никакого внимания, точно его совсем не было здесь. Она была поглощена своими собственными мыслями и чувствами, которые в тумане опьянения плавали, как облачка по утреннему небу. Она не лгала Арасланову, когда говорила, что в детстве была в него влюблена. Через пятнадцать лет, при новой встрече на пароходе, это детское чувство невольно припомнилось ей. Она хотела дать себе отчет: за что тогда полюбила его, и от далекого прошлого мало-помалу перешла к настоящему. Арасланов нравился ей и теперь, и, как это ни странно, в его присутствии она чувствовала себя по-прежнему девочкой, ученицей, и наедине с ним, как ни старалась владеть собою, смущалась.

«Никогда никого не любил, — с улыбкой подумала она об Арасланове, — это интересно... А Брызгалов, верно, врет, что сделка совершена безукоризненно, — вдруг перепрыгнула она к другому совсем вопросу. — Тем хуже для него, а для меня? — Для меня все равно... Даже лучше... Убью двух зайцев сразу: первое — Арасланов будет мой, а второе, — если он будет мой, земля также будет моя».

И, продолжая улыбаться, она потянулась, по ее здоровому, свежему и опьяненному телу точно прошлась невидимая, но властная рука, и она с тою же улыбкой заснула.

Скоро на всех заборах появились театральные афиши. Афиши лезли в глаза из окон магазинов, аптек и даже из полицейских будок. Публика извещала, что 1-го мая открываются двери летнего театра в саду Трофеева, и для первого спектакля будет поставлена оперетка «Корневильские колокола», имевшая огромный успех на всех столичных и провинциальных сценах, с участием высокоталантливой артистки К. Л. Знойновой. Публика, наголодавшаяся за четырехлетнее отсутствие театра, еще до выхода афиши поспешила запастись билетами. Бессоновы тоже решили пойти на первый спектакль. Варвару Михайловну даже несколько взволновала эта первая афиша, но она старалась скрыть от мужа свое волнение и казалась вполне равнодушной. С жадностью пробегая фамилии артистов, она нашла среди них знакомую фамилию, и это была фамилия Знойновой. Варвара Михайловна некогда служила с ней вместе. Знойнова была каскадная, а Варвара Михайловна — лирическая певица. Та и другая любили театральное искусство и чуть ли не родились на сцене. Бессонова сначала служила в опере, но незначительное положение, которое она занимала, не удовлетворяло ее, а тут явился демон-соблазнитель в образе опереточного антрепренера. Для оперетки ее голос был более чем достаточен, и она сразу получила в этом мире положение и вдвое больше жалованья. Все ее пребывание на сцене было ее триумфом, пока она не встретилась случайно с Бессоновым...

В день выхода афиши Варвара Михайловна заехала в кассу театра, чтобы приобрести билет на ложу. С внешней стороны театр был очень хорошенький, с балкончиками, галлерейками и резными украшениями.

Варвара Михайловна не видела его внутри. Оттуда раздавались звуки оркестра и голоса хора: «Скорей на рынок все идите». Знакомые ей слова... Очевидно, только что началась репетиция. Варвара Михайловна поспешила к кассе, боясь, что опоздала купить билет. Билет нашелся. — Последний, — сообщил кассир. — Последний? — повторила она, и ей вдруг почему-то стало невольно жутко. Озираясь вокруг, точно собираясь сделать что-то дурное, она потянула ручку двери крайней ложи. Ей хотелось посмотреть театр внутри. Дверь отворилась. Голоса хора и звуки оркестра вырвались наружу, и Вар-

вара Михайловна с бьющимся сердцем, сама пугаясь своего волнения, удивляясь и вместе с тем поддаваясь ему, вошла в ложу.

Сначала пестрые костюмы хористок смешались у нее в глазах. Она стала искать взглядом Знойнову.

Любовник есть Жан Гренише.
Любовник Серполеты!

— пропел хор, и вдруг знакомый, задорный и звонкий голос Знойновой выкрикнул на весь театр:

Кто, что говорит про Серполе-е-е-ту?! —

и, расталкивая локтями толпу, Знойнова выпорхнула на авансцену. Прежде всего бросилась в глаза ее немного полная, но стройная фигура. На ней было надето платье цвета семги, отделанное узенькими малиновыми бархатками, громадная фетровая шляпа такого же цвета с отогнутыми спереди большими краями, где была прикреплена малиновая роза, желтые длинные перчатки на руках с напизанными на них по нескольку в ряд браслетами, которые при каждом движении артистки звенели брелоками.

Знойнова казалась миловидной. Черты ее лица были неправильны, но изящны. Глаза большие, с длинными ресницами, лукавы и быстры. Движения грациозны, несмотря на ее полноту. Она даже не была нисколько подгримирована, так как цвет ее кожи все еще был свеж, вопреки десятилетнему пребыванию на сцене.

Варвара Михайловна впилась в нее глазами, и прошлое так и хлынуло в ее память.

Говорят, говорят,—
Вот эта песня злая,
И вам ее же повторяя,
Я отомщу вам во сто крат!

— продолжала Знойнова, но вдруг, обратившись к зрительному залу, увидела Варвару Михайловну; ошеломленная этой неожиданностью, она взяла еще несколько нот, потянув: «Говоря-а-т». По вспыхнувшему краской лицу и улыбке Бессоновой Знойнова убедилась, что она не ошибается, замахала руками, приглашая свою бывшую подругу к себе за кулисы и, не прерывая пения,

закивала ей радостно головой, отчего края ее шляпы заколебались и цветков грациозно запрыгал.

Говорят, красotka Жанна... —

дружно повторил ее слова хор. Знойнова воспользовалась своей минутной паузой, крикнула: — Иди же, иди сюда, Варюся! — и снова запела, продолжая махать руками и улыбаться всем своим подвижным лицом.

Все присутствующие на сцене, весь хор обратились глазами к ложе Варвары Михайловны. Она смутилась, покраснела и, быстро покинув ложу, направилась к примадонне за кулисы.

Увидя бывшую подругу за кулисами, Знойнова бросилась к ней, звонко поцеловала ее прямо в губы и, крикнув: — Подожди! Я сейчас, — снова бросилась к авансцене, куда ее призывал дирижер.

Варвара Михайловна прислонилась к кулисе и стала с любопытством озиаться на декорации и обстановку: «Вот воздух, вот облака, вот деревья, башня. Там — трон, разукрашенный дрянным сусальным золотом. Старинные знакомые», думала бывшая артистка, озираясь с растерянным видом. Артист тенор, который должен был играть роль Гренише, красивый малый, с серьезно-наглым лицом, проходя мимо Варвары Михайловны с дымившейся папиросой в здоровых белых зубах, заглянул ей прямо в глаза, точно спрашивая. Знакомый и взор... Она посмотрела ему вслед, и ей показалось, что она когда-то видела эту плотную фигуру в коротеньком пиджаке, с обтянутыми толстыми ногами и курчавым затылком. «Впрочем, у всех актеров такая шаблонная наружность», тотчас же подумала она.

Актер оглянулся на нее снова. Варваре Михайловне стало не то совестно, не то жаль чего-то ложного, нечистого, но манящего... Она сделала Знойновой знак, что будет ждать ее в саду, и вышла из-за кулис, опять-таки озираясь, точно совершая преступление. Лицо ее горело, походка была неровна.

День был солнечный, ясный. Вся природа, — и небо, и зелень деревьев, и птицы — все это как-то просто до наивности улыбалось, шумело и пело, и эта простота являлась невольным и ярким контрастом того, что она видела за минуту перед этим, и того, что ощущала теперь в своей душе.

— Ну, вот и я! — снова прозвенел голос Знойновой, и они опять поцеловались.

— Вот встреча! Вот сюрприз! Вот неожиданности! Как ты здесь? — засыпала Знойнова вопросами подругу.

— Я здесь живу.

— Живешь? — воскликнула та, пораженная удивлением, и ее верхняя губа с темным пушком усов даже оттопырилась от этого удивления.

— Живу, — повторила Бессонова.

— Давно?

— Четыре года.

— С мужем?

— С мужем.

— Сцену, значит, совсем по боку. Швам-дрюбер!

— По боку, — улыбаясь, подтвердила Варвара Михайловна ее фразой.

— И не скучаешь? Неужели не скучаешь?

— Н-нет...

— Что же ты тут делаешь?

— Почти ничего.

— А муж?

— Муж служит.

— И зиму и лето живешь здесь, в глуши? В этой деревне, где даже ни в одном магазине пудры-вельютин нет?.. Это ужасно! — не переставала тараторить своим звонким голосом Знойнова, не обращая внимания на гулявшую в саду публику.

— И зиму, и лето живу здесь, — отвечала Варвара Михайловна, несколько сконфуженная этой сценой.

— Но ведь здесь можно с тоски умереть! — не унималась Знойнова. — Нет, как хочешь, голубушка, а у меня в бенефис ты будешь играть, — неожиданно объявила она подруге — Тебя здесь публика не знает как артистку?

— Нет.

— А как т-те... т-те?..

— Бессонову, — подсказала Варвара Михайловна.

— Прости, душечка, совсем из памяти вон... А как т-те Бессонову?

— Немного знает.

— Тем лучше... Будешь, будешь играть... На коленях умоляю?.. Тряхнешь стариной... Я ставлю «Боккаччо». Какие я сделала костюмы удивительные!.. И потом, ты

знаешь мои ноги?.. В красном трико публику с ума сводят... Это самая подходящая пьеса для бенефиса... Ты будешь играть Фиамету и снова запоешь... «Так холить надо почку», — протянула Знойнова. — Не красней, не красней, это дело решенное... Да как же ты изменилась... Поздоровела!

— Да и ты пополнела.

— Немудрено, голубка, как сыр в масле катаюсь. Бенефисы полные, подарки, брильянты, цветы... Цветами положительно засыпают. Поклонники, как петухи, ходят за мною. Даже такие дураки есть, что стреляются из-за меня. В товариществах не служу, получаю не менее четырехсот и два полубенефиса... Ты знаешь, я уже с мужем разошлась! — неожиданно закончила Знойнова.

— Разве?

— Да, да, finita la comedia. Пять лет жили душа в душу, наконец очертели друг другу до тошноты и расцарапались, то есть, не то, чтобы рассорились, а так, полюбовно расстались. Да оно и лучше... Ты знаешь, на сцене муж для нашей сестры пугало поклонников, лишняя обуза... Другой бы карась и закатил колеса, да при муже побойтся, ну, а без мужа они на стену лезут — конкуренция... Друг перед другом стараются, а мне это на руку! — с торжествующим смехом закончила она.

Варвара Михайловна вспомнила теперь актера Гренише, вспомнила, что он-то и есть муж Знойновой, хотя на афише фамилия его значилась иначе.

— А мне показалось, — возразила Варвара Михайловна, — что я видела на сцене твоего мужа... Впрочем, может быть, я ошибаюсь, я его мало знаю. Встречалась только два раза.

— Нет, это он и есть, — сообщила Знойнова, понижая голос. — Ты только молчи об этом. Он у меня мальчик пай, зато и не остается в накладе: ведь у него ни голоса, ни таланта, а благодаря мне он положение занимает в труппе. Я ведь у нас всей труппой верчу! — воскликнула опять уже громко Знойнова. — Антрепренер у меня вот где! — Она показала свой кулачок. — Что хочу, то и делаю.

Двое знакомых Варвары Михайловны, губернский агроном Тенишев и губернский механик Шиловцев, раскланялись с ней и жадно посмотрели на артистку. Варваре Михайловне становилось не по себе.

— Это твои знакомые? — громко обратилась к ней Знойнова, повертывая голову к проходившим мужчинам. — Познакомь меня с ними, а то мне уж тут надоели двое каких-то болванчиков. Все руки мне мусолят да цветы таскают... «Цветы, цветы и ничего существенного», — смеясь, повторила она фразу Калхаса.

Варвара Михайловна принуждена была исполнить ее желание. Тенишев был красивый мужчина и большой дон-жуан. Знойнова сразу повела с ним беседу, точно была век знакома, и совсем почти забыла о Варваре Михайловне.

Варвара Михайловна воспользовалась этим и поспешила распрощаться с Знойновой. Та отобрала ее адрес и, в свою очередь, сообщила свой, вызываяще глядя на кавалеров.

Тенишев без стеснения вынул записную книжечку и, чертя что-то там карандашом, явно дал понять, что на-мек понят.

— Непременно, непременно во время спектакля приходи ко мне за кулисы! — крикнула ей вслед Знойнова. — Я познакомлю тебя с трупой... Вспомним старину, а то ты, как я вижу, совсем здесь дичать начала, отвыкла от сцены...

Варвара Михайловна неловко улыбнулась ей на прощанье и поспешила выбраться из сада, но у садовой калитки она лицом к лицу встретилась с Квитковской. Бессонова побледнела, но Квитковская, улыбаясь, раскланялась с ней и, осведомившись о ее здоровье, спросила об Арасланове.

— Он уехал, — не без злорадства ответила Варвара Михайловна.

— Вот как, давно?

— На другой день после того, как был у вас, — в том же тоне продолжала Варвара Михайловна.

— Куда?

— Насколько мне известно, по делам.

— А когда вернется?

— Не знаю.

— Жаль! — искренне ответила Квитковская и, снова пожав ей руку, объявила, что приехала за билетом на предстоящий спектакль.

Варвара Михайловна не сказала ей, что взяла пос-

ледный билет, и та направилась своею легкою походкой к кассе.

«Да, действительно, я, должно быть, отвыкла от сцены», созналась себе Варвара Михайловна. «Зато эта госпожа...», перенесла она свои мысли на Квитковскую, «настоящая актриса».

Придя домой, она не скрыла своего настроения от мужа, и он, недовольный тем, что жена его успела уже побывать за кулисами, был, однако, доволен, что эти кулисы, после долгой разлуки с ними, на первых же порах неприятно поразили его жену.

Узнав от Бессоновой о неожиданном отъезде Арасланова, Ариадна Владимировна задумалась. В этом отъезде ей почувствовался скрытый вызов на борьбу, и она досадовала на себя, что не приступила энергичнее к своей атаке раньше. Мало того, что она могла проиграть теперь дело, чувство, которое разбудил в ней Арасланов, сразу поднялось в ней выше, как вода в сосуде, в который бросили камень. Она боялась, что Арасланов не приедет скоро, и из двух зайцев, на которых она рассчитывала, она не убьет ни одного.

Не было сомнения, что Арасланов накануне, может быть, за несколько часов, даже минут до отъезда еще сам о нем не думал.

«Что это он так внезапно поднялся?» спрашивала она себя и старалась припомнить все мелочи во время его пребывания у нее среди гостей, но не находила в них ответа на свой вопрос. «Интересно было бы по крайней мере знать, заставило ли его таким образом поступить дело, или чувство, намек на которое ее опытному глазу сквозил у Арасланова в сцене с нею в саду. Если чувство, то этот отъезд — пустяки: Арасланов вернется самое большее недели через две, какой бы чудак ни был, если же его вызвало дело, тогда скверно... Тогда он может уснуть направить дело в Петербург, даже поехать туда лично и — прощай мечты. А может быть... может быть, эти господа», подумала она о Бессоновых, «кроме того, успели ему что-нибудь наболтать обо мне...»

Как бы то ни было, складывать оружие было бы преждевременно. «А la queerre, comte à la queerre», решила она. «Надо ковать железо, пока горячо», и, вернувшись домой, послала Брызгалову записку, что сегодня ждет его вечером у себя непременно.

Брызгалов, как только получил эту записку, немедленно бросился к Квитковской. Она сухо его встретила. Он ожидал совершенно иного и сразу упал духом.

— Слышали вы, что Арасланов уехал? — вместо всякого приветствия встретила она Брызгалова вопросом.

Вопрос был задан почти со злобой, точно виною этого отъезда был Брызгалов. Его обидел этот прием и тон, и он довольно резко ответил:

— А мне какое дело! Меня он мало интересует!

— Уж вы не ревновать ли вздумали? — насмешливо щуря глаза, возразила ему Ариадна Владимировна, презрительно подумав: «этот тоже удила кусает».

— А если бы и так, — продолжал Брызгалов, упрямо отводя глаза в сторону. — С этим скуластым башкиром вы весь вечер где-то в саду скрывались, а со мной боитесь минуту наедине остаться.

Она нашла необходимость несколько ослабить вожжи и, выказывая притворное смущение, заметила, пожимая плечами и опуская глаза:

— Как это... глупо. В том-то и дело, что я боюсь с вами остаться, а с ним мне совершенно безразлично. Ведь он мой бывший учитель математики, а я уже давно вышла из младенческих пелен.

— И он вам не нравится?

— Разумеется... Вот нелепое подозрение... Он и вы... — она даже рассмеялась.

— Простите меня, — усмехнулся Брызгалов, польщенный ее фразой.

— То-то же, — упрекнула она и, быстро оглянувшись вокруг, подставила ему щеку.

Он жадно чмокнул ее.

«И поцеловать-то не умеет!» — пренебрежительно подумала Ариадна Владимировна и, едва удержавшись, чтобы не провести по щеке рукою, спокойно отошла в сторону, покачивая своей хорошенькой головкой, точно китайская куколка, и приговаривая с шаловливостью ребенка:

— Среди бела дня... Ай, какой срам... Какой срам!..

Он был совсем побежден и следовал за нею, готовый повиноваться ей, как раб. Она уже ясно это видела, и потому без обвиняков возвратилась к начатому разговору.

— Арасланов уехал на другой же день после проведенного у меня вечера, как я ни старалась удержать его в Светлоречке.

— А-а... — протянул Брызгалов, отуманенный ее близостью, слыша только одни звуки ее голоса.

— Понимаете теперь, почему я провела с ним вечер? Он понял, наконец, и проговорил в восторге:

— Ну и политик же вы... Позвольте за это... хоть к ручке приложиться.

Она подала ему руку и, оставив ее в его руке, продолжала:

— Необходимо тотчас же ехать *туда* и постараться предупредить все неприятности, какие он может нам натворить.

— Почему же вы думаете, что он именно *туда* поехал?

— Мне Бессонова сказала, — ответила она, солгав, но полагаясь на свою проницательность.

Брызгалов помолчал с минуту, потом убежденно проговорил:

— Все равно он ничего не сделает. — Однако по его лицу пробежала тень неуловимого беспокойства. От нее это не укрылось.

— Сделает или не сделает, а вы извольте слушаться моего приказания. А то я подумаю, что вы боитесь Арасланова. Чем скорее вы предупредите, тем лучше это будет для вас, — многозначительно добавила она, метнув в своего поклонника такой многообещающий взгляд, что у того сердце екнуло и расширилось, впитывая этот взгляд, как губка влагу.

Брызгалов давно уже ухаживал за Квитковской, все больше день ото дня запутываясь в ее тонких сетях, и если в его чувстве не было настоящей любви, то желание обладать ею, женщиной гораздо выше его по своему положению, происхождению, распалилось в нем чуть не до бешенства. Одного своего соперника, как он полагал, ему удалось столкнуть с своей дороги, и, если бы Арасланов явился новым соперником, Брызгалов постарался бы изо всех сил уничтожить его в ее глазах. Она успела до некоторой степени рассеять сейчас его подозрения по отношению к Арасланову, но он хотел окончательно стереть его с своего пути, и потому, почти не колеблясь, в ответ на ее вызов ответил с купецким ухарством:

— Хорошо-с, для вас я поеду и, ежели что, — в порошок его изотру и зубы вычищу!

— Нет, вы только постарайтесь его вернуть сюда, а уж это я сама сделаю, — возразила Квитковская.

— Слушаю-с.

Она снова подставила ему щеку, но, когда он исчез за дверью, она брезгливо отерла руки и лицо одеколоном и, точно обиженная за Арасланова, бросила ему вдогонку:

— Бык!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

VI

После проведенного у Квитковской вечера Арасланов так спешил уехать из Светлорецка, что не успел даже сделать некоторых, намеченных ранее, визитов: к муфтию, к Цералову и к некоторым должностным лицам, которые так или иначе могли содействовать успеху его дела, но он успокоил себя тем, что эти визиты — пустая формальность, что они не уйдут от него, а между тем, чем скорее будет приступлено к делу, тем лучше. Он в этом смысле ответил и Варваре Михайловне, когда она уговаривала его отдохнуть в Светлорецке, но если уж она смутно догадывалась об истинной причине этого внезапного отъезда, то себя-то обмануть ему было еще труднее. Странное беспокойство, зародившееся в нем еще при первой встрече с Ариадной Владимировной на пароходе, в ту свежую звездную ночь, когда они тихо до рассвета беседовали между собою, это беспокойство все глубже и глубже пускало тонкие и цепкие корни в его сердце и высасывало оттуда кровь. Стойкий и уравновешенный до этой случайной встречи, привыкший отдавать себе строгий отчет, он теперь сам не узнавал себя, и в изумлении и испуге останавливался перед чем-то неизвестным, еще не вполне сознанным, но уже властным, что надвигалось на него темной тучей, таившей в себе гром и молнию. Его волновала и раздражала беспомощность перед этой угрожающей силой; он считал ее за что-то случайное и внешнее и решил бежать, забыть все, заняться делом и не возвращаться сюда до тех пор, пока последние следы этого нелепого страха не исчезнут из сердца.

Это сознание с честью выдержанной борьбы до некоторой степени ободряло Арасланова, но, несмотря на обманчивую бодрость, он боялся спокойным и беспристрастным светом озарить глубину своей души, боялся разобраться в наступившей путанице противоречий и старался отделаться от них, устремляя все свое внимание на важный в данный момент предмет, — на вверенное ему башкирами дело.

Но и в этом деле он смутно различал некоторые нити, переброшенные от Брызгалова к Квитковской, опять-таки к ней. Арасланов далек был от подозрения того, что было в действительности: он только предполагал, что Ариадна Владимировна заинтересована этим делом, как человек, близкий Брызгалову, и это подозрение бросало Арасланова в жар и поднимало в нем чувство нехорошей ревнивой злобы к Брызгалову: ему хотелось уничтожить этого человека, отнять у него эту землю, сделать таким образом неприятность ему, а следовательно и ей, и тем отомстить за то чувство, которое она в нем зародила, за те мучения, которые заставила его переживать... Она и она! К чему бы ни обратиться, — везде неизбежно стоит она. С мыслями о ней Арасланов сел в почтовую повозку и покинул Светлорецк.

День был жаркий, и он выехал из города под вечер, рассчитывая с восходом солнца быть в Кумыш-Камаре. Пока они ехали городом, ямщик, вятский мужик, шершавый и белокурый, лихо подгонял лошадей посвистом и покрикиваниями, но как только они переехали светлорецкий мост и выехали на оренбургский тракт, ямщик дал лошадям волю, и они побежали сдержанною рысцою, уныло позвякивая колокольчиками.

— Вы что, чиновник будете? — обратился ямщик к Арасланову певучим говорком, по которому сразу можно отличить вятчика.

— Я адвокат.

— Тэ-эк... По делу по какому изволите ехать?..

— По делу.

— Тэ-эк... В этой губернии и по сей части делов бугры. Умные люди башкирьё во как нажигают!.. И поделом.

— А ты не здешний?

— Не, мы вячкий... — уныло ответил тот, моргая своими маленькими голубыми глазками.

— За что же это ты так на башкирьё-то сердит? — спросил его Арасланов.

— Народ дрянь стал, — с сердцем отвечал вятч. — Судите сами, вашескобродие... Деда наши, значит, перешли сюда с родины на Морозовскую землю... Слышали, чай, купца Морозова... наш мужичок... Совсем простой, серый мужик, гроша ломаного не было, а теперь так башкирьё ловко оборудовал, что земли имеет — моря... Лесу одного уйму сплавляет по Светлой, — не без гордости заметил он. — Ну вот, этот самый Морозов продал нам, значит, землю... сколотили мы, то-ись — деды-то наши — избенки, стали хлеб засеивать — все бы ладно, да повздорил чего-то Морозов с башкирьём, те туда-сюда... Земля-то, говорят, наша... Оно, действительно, Морозов-то у них ее почитай что дарма взял, да ведь мы-то ни при чем...

— Так, значит, во всем Морозов и виноват, — возразил Арасланов. — За что же башкирьё-то ругать?

— А ты слушай, — обиженно, задетый за живое, переходя на ты, продолжал вятч. — Видим мы, что дело плохо, дали им отступного, потому не бросать же свитые гнезда. Те мало-мало угомонились, а там смекнули, где раки-то зимуют, да и начали нас прижимать... Морозов их, а они, значит, нас... Жали, жали, да все и выжали...

— То есть, как?

— Да так... Вконец нас разорили... Житья не стало... Вот почитай уж пятый год, как я все бросил и убежал отсюда. Да я ли один... Э-эх, вы, мохнорылые! — неожиданно прикрикнул он на лошадей и повертел в воздухе кнутом...

Арасланов уже слышал об этом Морозове, слышал, как он спаивал и развращал башкирский народ, чтобы удобнее было выжимать из него соки, и собирался в будущем ударить на него грозою. Эта беседа несколько отвлекла от неотвязных мыслей о Квитковской. Он попытался снова заговорить с возницей на другие темы, но мужичок, очевидно, был так огорчен неприятным воспоминанием, что отвечал крайне неохотно, и скоро разговор совсем умолк.

Дорога шла то вырубленным лесом, то лугами. Солнце закатилось. Зной спал. Горизонты неба стали палевыми. Трава покрылась росой, и в воздухе пахло ароматною свежестью вечера. Серебряная звездочка робко

задрожала в небе, точно слезинка, и на душе Арасланова стало грустно. Сумерки быстро густели, и вместе с этою тьмою в душу его наплывали щемящая скорбь и недавно знакомое мучительное ощущение одиночества и тоски.

Птицы умолкли. Ночная тишина, полная своеобразного сдержанного шума и жизни, обняла землю. Точно миллионы брильянтовых булавок, воткнутых в темно-синий полог неба, сияли звезды. Из ближнего леса донесся крик филина. Ямщик дремал на козлах, и лошади вяло бежали ровною дорогой.

Чтобы хоть несколько забыться, Арасланов подложил под голову подушку, но долго не мог устроиться поудобнее: чувствовалась то неловкость в ногах, то усталость в спине. Соломинка, попавшая за ворот рубашки, неприятно раздражала. Наконец он, по-видимому, устроился как следует, потянулся и зевнул, приготавливаясь уснуть, но и то и другое вышло натянуто. Тело было утомлено, но сон от него все еще бежал. Однако Арасланов закрыл глаза с намерением заснуть, во что бы то ни стало, но только что он закрыл их, перед ним замелькала какая-то светлая точка в виде звезды... Она разрасталась и мало-помалу принимала знакомые очертания: тонкий облик женского лица, светящаяся глубина глаз, маленький красивый нос, полураскрытые губы и темная родинка на белой упругой шее с золотистым пухом волос позади. Такою Ариадна Владимировна была на пароходе, когда он застегивал ей крючок у ворота накидки. Эта полудетская гримаса губ, слегка приподнятые тонкие брови и ясный, очаровывающий взгляд предстали Арасланову так ясно, что он открыл глаза и оглянулся, точно ища вокруг знакомое видение и не зная хорошо, видел ли он этот образ во сне, или так слился с его памятью, что стоило только закрыть глаза, как он ясно вырисовывался перед ним в темноте.

Обессиленный и подавленный, чувствуя себя в чьей-то посторонней власти, Арасланов поднял голову и жадно вдохнул в себя воздух. Ему было душно, точно это постороннее существо, неотступно его преследовавшее, выпило вокруг всю свежесть и влагу, и даже ветерок ночной, обвевавший ему лицо, казался сухим и горячим. Он разбудил ямщика и приказал ему ехать скорее.

На рассвете Арасланов прибыл в Усть-Курдюм, полурусскую, полубашкирскую деревушку, с кабаком и двумя лавочками: пивной и мелочной. Деревня еще спала. Среди улицы спали гуси, коровы, овцы и телята. Гуси загоготали и захлопали крыльями, но скотина не пошевелилась даже, и ее пришлось осторожно объезжать. Ямщик постучался в первую попавшуюся избу, находя, что лошадей необходимо покормить, хотя до Кумыш-Камара оставалось всего верст двенадцать, и это с успехом можно было сделать там. Напрасно Арасланов доказывал ему всю неосновательность этой остановки: ямщик уверил его, что через четверть часа он будет готов, и точно, бросив для вида лошадям по клочку сена, исчез по направлению гостеприимной вывески, и когда Арасланов, наскуча на крыльце ожидать его и чувствуя недоброе, пошел туда же, он нашел ямщика пьяным без ног. Вятич пытался подняться, но это ему плохо удавалось, что он исключительно, впрочем, приписывал расстроенному состоянию духа.

Деревня мало-помалу просыпалась. Проведав о несчастье Арасланова, хозяин русской избы, седенький мужичок с ястребиным взглядом и почтительными манерами, предложил путнику своих лошадей, заломив ни с чем несообразную цену. Арасланова это рассердило, и он нанял тут же подвернувшегося ему башкира, который живо стащил его вещи в свою плетенку и, проворно запрягши лошадку, усадил Арасланова на целую гору покрытой войлоком соломы.

Несколько человек башкир, черных, как сапоги, с живыми карими глазами и быстрой гортанной речью, явившиеся также с предложением запоздалых услуг, потерпев неудачу, скалили свои белые зубы над лошаденкой своего собрата, пересыпая лопотанье на родном своем языке ломаными русскими словами с заразительным веселым смехом.

— Ха-ха-ха... Телонка... Совсем маленький телонка! — выкрикивал один из них, хватаясь от смеха за бока и кивая головой на лошаденку, понуро дожидавшуюся кнута.

Эта острота возбудила общий восторг. Остальные также залились смехом, приговаривая:

— Телонка... Телонка... Мало-мало вез и консял базар.

— Бери моя корова пристяжкам,— прибавил остряк, и смех поднялся еще сильнее.

Глядя на эти брызжущие безобидным смехом лица, Арасланов сам не мог не улыбнуться. Действительно, лошаденка его возницы была немного более теленка; худая, тощая и понурая, не оправившаяся еще от зимней голодовки, во время которой ей, не имевшей не только теплого стойла, а даже загона с навесом, приходилось добывать из-под снега тощий корм, блуждая по степи на тебеневке, — она служила живым укором беспечности своего хозяина. Ну, да вряд ли и у насмешников лошади были лучше. Знаменитая некогда порода башкирских лошадей, выносливых, как верблюды, и быстрых, как ветер, почти везде отошла в область преданий и заменилась обыкновенной породой русских рабочих кляч. Но хозяин «теленка» нисколько не смущался этими насмешками; отвечая на них добродушным смехом, он взобрался на облучок, нахлобучил поверх донельзя засаленной тюбетейки белую войлочную шляпу и хлестнул лошадку башкирским кнутом,— попросту вырванной из плетня хворостинкой. Таратайка покатилась.

Лес давно уже остался позади, и дорога выбежала в степь. Утро занималось над степью румяное и ясное. Арасланову стало свежо в летнем пальто, но эта свежесть пришлась ему по душе. Он оглядывался кругом широко открытыми глазами и в восторге повторял про себя: «Так вот она, степь. Так вот она, степь».

Взгляд его тонул в беспредельной дали, мысль летела вслед за ним, и ей, как ему, нигде не встречалось преграды. Привольно и хорошо было вокруг. Широкая и ровная степь, как скатерть-самобранка, расшитая яркими восточными цветами, раскинулась под запыхавшим румяною майскою зарею небом, в котором розовые утренние облака, как живые, шевелились, сливались и разделялись, образуя фантастические группы и узоры, и таяли в недостижимой высоте.

Густая уже высокая трава мерцала цветами: мятой, белоголовиком, голубыми и алыми колокольчиками, пушистой медуницей и множеством других, раскрывших свои разноцветные венчики и чашечки, обрызганные росой и посылавшие небу свои ароматные вздохи. Ветер, изнемогая от этих вздохов, лениво двигался по степи, будя ее, стряхивая с цветов росу и возвещая всему жи-

вому близость утра и солнечного восхода. Из высокой травы, в ответ на эту весть, точно выбрасываемое чьею-то невидимой рукою, трепеща крылышками, то и дело взлетали жаворонки в высоту, чтобы оттуда поскорее увидеть восход солнца, и, исчезая из глаз, они сыпали сверху свои однообразные, простые, нежные трели, и от их песен шел над степью торжествующий звон, словно миллионы невидимых серебряных колокольчиков трепетали и разливались в голубой вышине и будили зарумянившуюся от ночных грез и поцелуев зари, омытую чистойшею рососою степь.

Чем-то родным хлынуло при виде этой картины на Арасланова. В душе и в памяти его, как отголоски давно минувших лет, забродили странные, милые образы, тесно связанные с этой степью, с этим небом, с этим воздухом, влажным и ароматным. Сладкие слезы подступили к глазам его, но он не замечал их и жадно всматривался вокруг, точно пытаюсь найти что-то такое, что запечатлелось ему в детстве и не раз снилось в зрелом возрасте, хотя, проснувшись, он забывал свой сон,— такую точку, от которой шли прямо в его воображение и сердце невидимые, но неразрывно крепкие нити.

Башкир забыл хлестать лошаденку и потихоньку замурлыкал песенку, выделявая горлом заунывную руладу, однообразную и томительно-грустную; он пел известную башкирскую историческую песню о батыре Мурадыме и покачивал бритую голову с торчащими из-под шапки оттопыренными ушами.

Подобным Мурадыму если хочешь быть,
Лучше проводи время юности.
У единого бога чего нет?
У бога нет товарища.
Сделав шесть месяцев для лета,
Другие шесть назначил он для зимы,
А беленькое-беленькое яйцо
Пустил по воздуху вертящейся птицей...

Дальше следовало повествование о подвигах Мурадыма. Арасланов внимательно стал прислушиваться к песне, но с трудом, чуть ли не инстинктивно только понимал ее. В Петербурге он пробовал изучать родной язык по книгам и до некоторой степени освоился с ним, но разговорную речь понимал туго, хотя чувствовал, что освоиться с нею ему будет очень легко.

— Кумыс пить едешь, знаком? — неожиданно обрвав песню, обратился певец к Арасланову.

— Йок... — невольно вырвалось у Арасланова гортанное татарское слово.

Башкир быстро обернулся к нему всем своим худым лицом, с редкою черною бородкой и подбритыми в ниточку усами и, обрадованный, засмеялся и живо заговорил по-башкирски:

— Башкурт! То-то я, как взглянул на тебя, сразу подумал, что ты — башкурт... Ты откуда же едешь?

Арасланов понял его: стало досадно, что он не в состоянии ответить на родном языке, и, несколько смущенный этим, он ответил по-русски.

— Зачем русс калякаш? Нашима калякай! — протестовал башкир.

— Я плохо знаю! — снова покраснел Арасланов.

— Насяр, — неодобрительно заметил возница и хлестнул лошаденку. — Насяр... А что, хазрет, — переменяв разговор, обратился он к Арасланову, с трудом подбирая русские слова. — Петербург большой деревня?..

— Большой.

— Больше Светлорецка?

— Много больше.

Башкир с удивлением почмокал языком.

— И больше Казан?

— Много больше...

Он недоверчиво покачал головой, однако продолжал расспрос:

— А царь... где живет?.. Какой деревня?

— В Петербурге...

— Шулай, шулай... Петербург — ему деревня... — важно заметил башкир... — Шулай... Гостем к нему гулял?

— Нет, не гулял, — улыбнулся Арасланов на этот наивный вопрос.

Затем башкир спросил, есть ли в Петербурге степь, башкиры, кумыс, река Светлая, и правду ли люди калякают, что там все пьют арака, а воду пьют только собаки, потому что выпивший ее человек не растет больше «курина жеребса», то есть петуха?

Арасланов ответил ему на все эти вопросы,

— Шулай, шулай, — пощелкав языком, проговорил башкир... — Кумыш-Камар тож йок кумыс.

— Почему? — удивился Арасланов.

— Лошадкам косевка гулял, — ответил тот.

— Как так?

Дело оказалось очень просто. Это была первая весна, когда башкиры-вотчинники Кумыш-Камарской волости не пошли на кочевки, потому что Брызгалов, считая своею приобретенную землю, не пустил их на привольные места кочевья. Скот, привыкший ежегодно покидать аул, долго волновался, ожидая обычного движения, и, наконец, не дождавшись его, огромными табунами ушел на знакомые места, откуда его трудно было вернуть обратно. Кроме того, брызгаловские приказчики загоняли скот и требовали за него выкуп, потому что скот, мол, портит чужую траву. Арасланов был возмущен этим известием до глубины души, однако нашел, что это может быть к лучшему, так как при враждебном к Брызгалову настроении всего народа легче будет ему бороться с хищником.

— А ты что же не гуляешь на кочевку? — подлаживаясь под его речь, спросил Арасланов.

— Мы давно косевка консял! — грустно вздохнув, ответил тот.

— Почему?

— Мы припущен. Арндам сдаем... Земля мала...

— Кому?

— Купса русс.

— Что же, выгодно сдаешь?

Башкир нахмурился и покачал головою. Очевидно, это было его больное место.

— Зачем же ты сдаешь ему? — спросил Арасланов.

— Деньга нужна! — с горечью воскликнул тот. — Недоимка бульно нам большой, хазрет.

— Так ты сам бы сеял... Ведь у тебя есть семь десятин надела, кроме свободной земли...

Башкир молча покачал головою.

Арасланов не понял его, но тот объяснился:

— Никак нельзя нам хлеб сыпать!

— Почему это?

— Мы сановник! — с достоинством ответил возница.

Арасланов удивленно посмотрел на этого чиновника

в лохмотьях, подпоясанного веревкою вместо кушака, но тот не заставил долго ждать разъяснений и продолжал:

— Мы князь Бурзянский... Наш зять — сотский.

Когда-то, действительно, фамилия бурзянских князей славилась своим богатством на Урале, но после знаменитой Петровской берг-коллегии, разрешавшей пользоваться башкирскими землями всем, кто заявлял на эти земли претензии с целью добывания и разработки найденных на них минералов, — бурзянские князья были вытеснены оттуда почти нищими в степные местности вместе с тысячами других, пользовавшихся завидным благосостоянием, горных башкир.

Арасланов улыбнулся этому наивному тщеславию, однако не дал «титулованному чиновнику» заметить своей улыбки; тот объяснил себе молчание седока его почтительным удивлением к своей особе и начал рассказывать ему о невозвратно минувшем богатстве своего рода и славе его среди башкир. В конце концов он, однако, размечтался и выразил ни на чем не основанную надежду, что это богатство вернется, и тогда Минибай (так звали бурзянского князя) возьмет себе трех жен.

— Зачем же тебе так много? — улыбнулся Арасланов.

— Хорос и богат людя сетырь жена имеют, — возразил Минибайка и начал с увлечением распространяться о будущем блаженстве. Он был, очевидно, мечтатель и поклонник дамского пола.

Арасланов почти не слушал его и любовался окружающей его красотой степи.

Вдали, направо от дороги, показались какие-то камни, уныло торчавшие в зеленой траве, среди которых возвышалась наподобие здания другая груда камней.

— Что это такое? — перебил Арасланов болтовню князя.

— Это... это... — затрудняясь ответить по-русски, повторял башкир. — Это кабрь... Кабрь... Зиярат.

— Кладбище?

— Вот-вот... Шулай... Она... Клятбиша...

Но теперь Арасланов догадался бы об этом и без его пояснений. Стаи ворон с резким криком поднялись оттуда и стали носиться вокруг, точно чуя мертвые кости. Мертвые среди этой диковатой природы, полной животворного трепета и мощных напряженных сил! Здесь

как-то даже не верилось в смерть. Арасланов удивился, что кладбище отстоит так далеко от человеческого жилья, но возница объяснил ему, что это древнее кладбище и что здесь теперь уже не хоронят.

— Кто же здесь похоронен? Чья это могила.

— Вели-пигамбяр... Святой пророк одна... — перевел сам себя башкир. — Хусейн-Бек... Давно умирал... Тыща лет умирал...

Башкир обернулся к Арасланову и стал рассказывать, с трудом подбирая слова:

— Давно был... Ногай народ тут был... Многа народ... Яман народ... Аллах обижал... Коран обижал... Башкурт обижал... Вот!.. Вели царь большой земля Бухар-Туркестан-Хузя-Ахмет-Ясовей-хан послал здесь к ногай свой вели-пигамбяр Хусейн-Бек. Хусейн-Бек учил ногай, яхши учил. Ногай умна стал, добра стал... Вот какая пигамбяр Хусейн-Бек. Большой имам у башкурт был, Мекка гулял. Умрил, — на его кабрь огня гулял... Ай-ай-ай... большой был пигамбяр.

Арасланов велел остановить лошадь и отправился по росистой траве к могиле мусульманского святого, ногайского имама Хусейн-Бека.

Могила эта — четырехугольное здание из дикого камня, длиною и шириною около двух сажен, с тремя отверстиями наподобие окон и входом с южной стороны. Остатки потолка и пола виднелись в виде сводиков, по углам. Внутри здания, посреди сырой от недавно стаявшего снега земли, стоял коричневый огромный камень, а на нем змеилась арабская куфическая надпись, гласившая:

«Поистине, на свою ответственность Хаджи-Хусейн-Бек, сын Гумер-Бека из рода Тарсас, из земли Туркестан... Господи Боже, не оставь его своею милостью... Скончался в седьмой день месяца Мухаррема, после Магомета в 444 г., имея отроду 76 лет».

Камень этот прислал сюда, по преданию, бухарский хан Темир-Ленг на двенадцати волах. Когда мимо здешнего места шел Тамерлан на погром России, он воздвиг этот мавзолей и сам прожил с ордою полгода. Здесь Тамерлан лишился шести князей и велел похоронить их около мавзолея Хусейн-Бека. На их могилах также стояли шесть надгробных камней.

Арасланов осмотрел эти камни, но на них не было никаких надписей. Вороны, еще более встревоженные живым гостем среди могил, сильнее заволновались и зловеще закаркали. Их крик неприятно отозвался в сердце Арасланова, и он поспешил вернуться к плетенке.

Лошаденка снова запрыгала по дороге, вспугивая стаи птиц. Арасланов промочил ноги и, вздрагивая от холода, нетерпеливо посматривал на восток, наливавшийся пурпурным светом, сквозь который проблескивали серебряные искры, предвестники солнечного восхода.

Вдали полосой белел и извивался молочный туман. Арасланов принял его за реку, через которую нужно было переправляться в Кумыш-Камар, но возница рассеял его заблуждение: туман поднимался от озера Ак-зиярат и от соседних с ним болот и озерок, оставшихся в низине после разлива реки Юл-Су.

Журавли, чайки, утки, чибисы, кулики и прочая дичь тучей поднялись при их приближении и, свистя в воздухе крыльями, мелькали здесь и там, наполняя утреннюю тишину степи нестройным хором разнообразнейших голосов. Среди этого хора жалобно выделялся один крик, то протяжный, то отрывистый, похожий на крик женщины, старающейся сдержать невыносимую боль. «Ай-ай!.. Аяй... Аяй!..» отчетливо звучал он в воздухе... Арасланов сначала испуганно насторожился, но потом понял, что это кричит птица. В уреме допевали соловьи свои песни, но трели их были слабые и прерывистые, да и те заглушались клекотом, свистом и криками многочисленных обитателей этих привольных мест.

Ястреба, коршуны и кречеты высоко парили над этим благодатным царством и, порою сложив крылья, черным камнем падали в траву и поднимались, держа в когтях добычу, от которой кружились по воздуху вырванные перья и пух.

Наконец давно ожидаемое солнце огненным шаром выкатилось из-за горизонта, и туман быстро рассеялся вокруг; птичий гомон и свист зазвенел еще сильнее, степь зашумела, и горизонты, затушеванные до этого туманом, раздвинулись необъятно широко и свободно. Панорама степи стала еще очаровательнее, еще многоцветнее.

Направо от дороги, все заросшее камышом, точно расплавленное серебро, влитое в зеленую чашу, блестяло, отражая купол неба, озеро Ак-зиярат (Белая моги-

ла). Как в огромном аквариуме, вода в озере была кристально чиста, на дне виднелась трава, и стаи рыб, блестя чешуею, играли на солнце и плавали на глубине.

На берегу озера разбирали сети рыбак-башкир. Немного ниже протекала быстрая река Юл-Су, а за нею на другом берегу рисовались соломенные крыши изб и стройный минарет мечети с сквозными окнами. Это была деревня Кумыш-Камар. Река огибала ее, как серебряный пояс, и от этого деревня получила свое название.

Башкир-рыбак долго смотрел совершенно равнодушно вслед путникам, и только когда они вознамерились переехать вброд небольшое болотце, покрытое желтовато-зеленым мохом, рыбак дико замахал руками и закричал на своем гортанном языке.

Башкир испуганно остановил лошадь.

— Что он кричит? — спросил Арасланов.

— Кричит... Нельзя здесь гулять... Вчера здесь один человек с лошадакам со-о-всем консял базар.

— То есть, как кончал базар?

— Умирал... Тонул... с лошадакам.

— Надо, стало быть, объехать?

— Моя не знал. Знамо, надо.

— Так спроси его, — указал Арасланов на рыбака.

Тот вынимал в это время из сети двух здоровых щук, линя и соменка, которые, блестя на солнце чешуею, извивались у него в руках.

— Бельмем, — ответил рыбак, отводя лукавые глаза в сторону.

Возница справедливо не поверил и энергично залопотал.

Рыбак что-то проворчал как будто про себя.

Возница выругался на этот раз по-русски.

— Что он говорит? — поинтересовался Арасланов.

— Калякат, чтобы ты ему мала-мала бакшиша давал.

— Ладно.

— Ярар, — перевел возница злобно.

Рыбак сбросил в траву спутанные сети и направился назад, приглашая едущих следовать за собою. Лошадь пошла по высокой росистой траве, которая сгибалась под колесами, оставляя на них зеленые листья. За колесами трава выпрямлялась, но свежий след протянулся по ней вплоть до самой реки, быстро бежавшей в крутых берегах, как конь, в бока которого вонзили острые шпоры.

По ее упругой поверхности расходились круги от всплесков разыгравшейся рыбы. Деревня была как на ладони.

У другого берега стоял паром, но паромщика на месте не было. Напрасно оба башкира надрывались, крича его. Голос муэдзина зазвучал с мечети. Оба замерли, шепча молитву, и, когда призыв кончился, закрыли лицо руками, потом открыли и попросили у Арасланова денег. Арасланов рассчитал извозчика и сунул мелочь проводнику. Тот пересчитал ее, точно боясь обмана. Возница, поблагодарив Арасланова, уехал.

Рыбак снова крикнул; — Китерь барум! Велекейка-а!

Но убедившись, что его крик бесплоден, взглянул на солнце, потом — на Арасланова, бросил рыбу в траву и, забрав все медные деньги в рот, так как в его рванье не могло быть и признака кармана, он, очевидно, решившись на что-то, снял рубашку и, оставшись в одних полосатых красных штанах, сошел к реке. Тут, не обращая на Арасланова внимания, он присел на корточки, снял с себя штаны, засунул в них рубаху и стал закручивать их в руках.

Через минуту штаны превратились в его руках в живописную чалму, которую он возложил на бритую голову и в этом уборе пустился вплавь на противоположный берег по холодной, как лед, воде. Кое-как добравшись до него, он опять дал штанам и рубахе их истинное значение и отправился в деревню.

Скоро он явился на берег в сопровождении слепого паромщика Велекейки, и при помощи мочального каната, местами перетертого и связанного узлами, очевидно, не раз обрывавшегося и грозившего оборваться снова, Арасланов переправился на другую сторону. Проводник согласился дотащить вещи его до Сулеймана, и, встреченные громким собачьим лаем, они вступили в деревню.

Деревня Кумыш-Камар считалась одною из богатейших башкирских деревень: в ней было несколько изб с деревянной крышей, помещалось волостное правление, имелось целых две лавочки и новая большая мечеть. Около большинства изб были огорожены загоны для скота, но некоторые избы по наружному своему виду мало были похожи на жилища человека: сделанные из плетня, обмазанного снаружи и внутри глиною, с пло-

скою земляною крышею, поросшею разною травою, они не имели вокруг ни кола ни двора и смело могли бы быть приняты за хлева для скотины, если бы не окна, в которых вместо стекол была вставлена просаленная бумага или пузырь, да не чуть видная глиняная труба.

Изба Сулеймана была несколько лучше других: крытая соломой, она имела позеленевшие от времени стекла в крошечных окошечках и загон для скота. Сулейман мог бы, пожалуй, иметь избу получше, да мешала этому его природная беспечность, а главное — обязанности ходатая по делам своих однообщественников, добровольно принятые им на себя без всякого, конечно, вознаграждения. Благодаря этому бескорыстию и усердию, семья Сулейманова билась, как рыба об лед. Начальство в образе волостного старшины, писаря и старосты смотрело на него как на зряшного мужичонку, чуть ли не бунтовщика, и постоянно вело с ним войну из-за неисправности в уплате податей. На Сулеймане Амирове всегда числилась огромная недоимка, и не раз все его убогое имущество шло с молотка. Однако он не унывал, с башкирской покорностью воле провидения сносил все удары судьбы и постоянно мечтал возродиться.

Мечтатель он был, как большинство башкир, самый неисправимый; от этой мечтательности его не отучила даже многолетняя военная служба, которая не пошатнула также и его религиозных верований. Сулейман считался образцовым мусульманином, с презрением смотрел на пьющих арака и усердно посещал мечеть. Его длинная тонкая, как жердь, фигура, в затасканном бешмете и огромных ичигах, загорелое, необыкновенно добродушное морщинистое лицо с черными хвостиками загибающейся снизу вверх бороды и подбритыми усами, были проникнуты такою наивною важностью и несокрушимым спокойствием, что жена его Фариха, тощая и усталая от постоянных родов и труда баба, благоговела перед ним и верила во все его мечты.

При входе в избу Сулеймана Арасланова поразил спертый и душный воздух. Сквозь почерневшие от копоти, грязи и времени окна мало проходило света, однако гость рассмотрел ее. Стены избы были бревенчатые, грязные, законопаченные вылезавшим всюду наружу мохом. Тараканы и пауки сновали тучами. Посреди избы стояла печь-камин, закоптелая, со вделанным в нее

котлом. Прямо против двери, во всю длину избы, вышались на три четверти от деревянного с огромными щелями пола нары, покрытые войлоком и разделенные пополам ситцевой рваной занавеской. Нары эти служили постелью и столом. Над ними на закоптелых балках висели перины и подушки, необходимая принадлежность каждого башкира, и разное тряпье, которое башкиры всегда держат на виду, как все свое богатство. На полу около печи стоял жестяной самовар, таз и кумган для омовений.

При появлении Арасланова с нар поднялась костлявая, некрасивая, как смертный грех, преждевременно состарившаяся башкирка в грязных лохмотьях и испуганно глядела на посетителя, закрываясь рукавом.

— Дома хозяин? — спросил Арасланов.

Та пугливо что-то забормотала. Из этого бормотанья Арасланов разобрал только одно слово «месеть» и понял, что Сулейман ушел в мечеть.

Юмат Думеров, будучи в городе, заболел и теперь лежал в больнице. Арасланову ничего не оставалось, как подождать возвращения Сулеймана из мечети.

Оставив в избе свои вещи, Арасланов хотел уже уходить, как вдруг, взглянув за занавеску, заметил двух детишек, разметавшихся на нарах: две девочки; одна лет трех, другая четырех, единственные оставшиеся в живых у Фарихи. Девочки стонали. Арасланов приблизился к ним и с жалостью покачал головою.

Обе были в бреду. Одна, постарше, была покрыта струпьями, и все тело ее и лицо были совершенно изуродованы болезнью; по обнаженному телу другой расходились красные пятна... Мать поспешно закрыла их своими лохмотьями, бормоча: — Сесяк... Сесяк...

— Вижу, что оспа, — возразил Арасланов. — Привить надо было.

— Бельмем.

Он пощупал у детишек пульс и, махнув рукой, вышел наружу. От спертого прелого и нездорового воздуха Сулеймановой избы у него кружилась голова и вызывало тошноту. Удобнее было подождать Сулеймана снаружи.

Деревня понемногу просыпалась. На улице появились башкиры, лениво почесывавшиеся и позевывавшие. Косматые и простоволосые девчонки потащились с деревян-

ными ведрами за водой. Мальчишки в жалком рванье, почти голые, подростки и моложе, с жадным любопытством следили издали за Араслановым, крича:

— Баяр... Эге-ге... Хазрет... Хазрет... Урсак... Урусс... Урусс... Русс... Русс...

Один из них, черный, как негритенок, в одной изодранной рубашонке, чудом державшейся на его плечах, пустил в Арасланова камень и бросился бежать, но двое других нагнали озорника и задали ему порядочную задачу.

Однако почти полное отсутствие скота вносило в деревенскую жизнь гнетущее уныние; оно проявлялось и в необычной утренней тишине, и в тоскливых лицах башкир. Арасланову самому стало грустно при виде этой безжизненности, и он вышел за околицу.

Там он присел на траву и с удовольствием подставил свое лицо и тело горячим лучам. Ему захотелось растянуться во весь рост, он опрокинулся на спину, положив руки под голову, и закрыл глаза от ослепляющего света солнца.

Приятная теплота охватила его и сковала члены. Попробовал было открыть отяжелевшие веки, взглянул в сияющую глубину неба, где белело облачко, и, тихо улыбнувшись чему-то, снова закрыл глаза и почувствовал, что засыпает...

Сначала перед его глазами заходили белые и оранжевые круги. Мелькнула физиономия какого-то башкира. «Аппак-аппак юмурткани авадан эрлаб учар куш итканэй»... прозвучал обрывок песни... Потом ему показалось, что степь раскинулась над ним небом, а небо очутилось под ним вместо степи, и он летит по его голубому простору, как по спокойному океану на белом-белом облаке... Облако чудом превращается в белого коня... Грива его разметалась по воздуху, тело пышет жаром... Конь взвился в высоту так быстро, что у всадника закружилась голова, и он в страхе зажмурил глаза. Копыта коня коснулись степи... Он несется по зеленой траве... Всадник открывает глаза и видит небо опять над собою и вместе с тем видит себя не нынешним Араслановым, а маленьким, черным, как уголь, башкиренком. Вдали пасутся кумысницы-кобылы и их нужно пригнать к кочевым кошам.

Сон этот Арасланов видел неоднократно и прежде, но каждый раз, проснувшись, забывал его; во сне он вспоминал о том, что забывал сон, но этот сон казался ему теперь действительностью, потому что того, что случилось дальше, никогда ему не снилось во сне.

Пастух уже близко около табуна... Но где же лошади? Вместо них бредет целая толпа башкир, и они живо разговаривают между собою на родном языке... Все это знакомые лица: вот Ахмет Загидуллин, вот Сейфулла, а тот кривоногий и маленький Гассан. Они окружили своего пастуха, остановили его лошадь и с криками набросились на него... Он в страхе опять закрывает глаза и чувствует, что чья-то грозная рука поднялась над ним, и вслед за тем грубый голос произнес: Не жалея его... Бей сильнее... — За что? За что?... — хочет крикнуть Арасланов, крикнуть по-русски, но ни одного русского слова он не помнит. Продаст, продаст, — говорят голоса по-башкирски. Эти слова острым ножом режут его сердце... Так вот за что его собираются убить: его подозревают в том, что он продаст свой народ... Белокурая головка, как облако, промелькнула перед глазами Арасланова... Нет, нет!.. хочет крикнуть им он, но чувствует, что какая-то черная туча надвигается на него... Она сейчас раздавит его, если он не крикнет... Шум голосов сильнее... Голос изменил ему... Он должен погибнуть... Перед ним раскрывается бездонная черная пропасть, и он стремглав падает туда... Арасланов проснулся, облитый холодным потом, и тотчас же закрыл опять в страхе глаза...

И наяву вокруг звучит башкирская речь, но теперь он уже не понимает ее. Чья-то длинная фигура склонилась над ним... Арасланов делает над собою усилие и сразу приходит в себя.

Когда он спал, за околицу вышли башкиры для испытания покупаемой лошади, но никто из них не решился разбудить спящего. Сулейман разыскал его, и Арасланов открыл глаза как раз тогда, когда тот наклонился, чтобы его разбудить.

Пораженный в первый миг пробуждения некоторым совпадением сна с действительностью, Арасланов смутился и быстро вскочил на ноги, но Сулейман не заметил его смущения. Он был, очевидно, чрезвычайно обрадован приездом гостя и, с важностью подавшись всем

своим длинным корпусом вперед, по башкирской манере протянул ему обе жилистые черные руки и торжественно приветствовал его:

— Ассалям-галейкум.

— Галейкум, ассалям, — ответил Арасланов, также подавая ему обе руки и все еще находясь под влиянием сна.

Пока Сулейман тщательно отряхивал с Арасланова приставшие к его платью во время сна соринки, тот с любопытством оглядывал стоявшую в некотором отдалении от него оживленную толпу башкир. Причиной оживления служили, очевидно, две лошади. На одной сидел лет восьми малайка, на другой — взрослый башкир, похожий на козла.

— Лошадка продает, — пояснил Сулейман, указывая на всадника-башкира с козлиной физиономией.

Другая лошадь, отличный скакун, на которой сидел малайка, внук Сулеймана, Ахмет-Гота, назначена была для состязания с покупаемой.

Момент был самый горячий.

Даже Сулейман увлекся, когда лошадей установили рядом и крики вдруг утихли перед новым бурным взрывом; он поднялся на цыпочки и, вытаращив глаза, ожидал скачки.

Разгоряченные этим шумом молодые лошади чувствовали устремленное на них внимание и, напряженно вздрагивая, поводили ушами и ревниво оглядывали друг друга.

— Гайда!.. — вырвалось у кого-то.

Лошади рванулись... Сулейман ахнул и присел, и целый взрыв громких криков проводил быстро удалявшихся скакунов. Лошади уже мелькают вдали черными точками и делают около леса закругление... Точки постепенно увеличиваются. Шум то стихает, то вспыхивает, как огонь, в который бросают порох. На синем фоне неба уже ясно рисуются кони и всадники... Первый скачет малайка. Он сидит на лошади, как влитой, точно составляя с ней одно существо... Голова его смело и гордо приподнята... Загорелое черное лицо серьезно, но глаза сверкают... При виде его Арасланов сразу вспоминает свой сон и себя на коне таким же ребенком, как этот. Бог весть почему, именно этот обрывок прошлого уцелел в его памяти и снился не раз ему впоследствии.

Невдалеке от малайки скачет продавец лошади. Его конь с честью выдержал испытание, и нестройный громкий гул одобрения приветствует обоих... Обе лошади в мыле, тяжело дыша и раздувая ноздри, остановились перед толпой. Всадники легко соскочили с них, и десятки рук протянулись к их коням, трепля их по шее, крупу, поправляя разметавшиеся во время скачки гривы и снимая пену с взмыленных удил.

Лошадь была куплена Нурейманом Умитбаевым для предстоящих скачек, и хозяину тут же, при всеобщем говоре и взаимных пожеланиях, были вручены за коня тридцать целковых.

— Для сабантуй купил, — одобрительно заметил Сулейман.

— Какой же сабантуй, когда у вас все лошади ушли? — возразил Арасланов.

— Назад ведут, — беспечно ответил тот, однако сокрушенно покачал головою, вероятно, сам плохо веря этой надежде.



Дорогой Арасланов заговорил с Сулейманом о его больных детях.

— Оспу надо было прививать, — говорил он.

— Нисяго, и так консят сесяк, — равнодушно заметил Сулейман. — Недель пройдет, другой пройдет, а там все будет систо. Лицо систо, тел систо...

— Хорошо, если будет чисто... А если умрет...

Сулейман на мгновение опечалился. Он, как всякий башкир, был нежный отец, но вера в неисповедимую волю провидения победила эту слабость; он поднял глаза к небу и покорно произнес по-башкирски:

— Против смерти нет лекарства. Аллах знайт, как надо. Аллах все знайт.

— А много детей умирает? — спросил его Арасланов.

— Умирайт, — уклончиво ответил тот, и, вспомнив, что сесяк унес с начала весны больше половины башкирских детишек в их деревне, Сулейман опять вздохнул и зашептал молитву.

Но по мере приближения к своей избе это чувство уступило в нем место другому. Он страдал, что не может принять кунака у себя и угостить его со свойствен-

ным каждому башкиру гостеприимством. В доме не было ни чая, ни сахара, ни масла, ни даже молока, а тут еще больные детишки...

По возвращении из мечети, узнав о приезде гостя, Сулейман был угнетен до глубины души и, скрепя сердце, отправился к старшему мулле попросить его принять гостя. Тот с радостью согласился. Иначе и не могло быть. Такой почетный гость, как Арасланов, мог составить гордость хозяина и возбудить всеобщую зависть.

Но как сообщить ему об этом, не роняя своего достоинства? Сулейман смущенно пощипывал редкую с проседью бородку и, замедляя свою журавлиную походку, виновато поглядывал на него. Наконец он конфузливо потер сквозь тубетейку затылок и осторожно намекнул Арасланову, что старший мулла очень желает познакомиться с ним. Это было как раз вовремя, потому что они уже подходили к Сулеймановой избе, и Арасланов боялся, что ему трудно будет побороть отвращение при виде грязи, которую он там встретил. Он понял намек Сулеймана и, облегченно вздохнув, выразил желание отправиться к мулле.

Изба муллы стояла неподалеку от мечети и отличалась от убогих соседних изб, как свежее зеленое деревцо от старых, увядших и скривившихся деревьев. Она была бревенчатая, с деревянной крышей и створчатыми окнами; двор в ожидании гостя был чисто выметен, против него имелся крытый соломою, но также бревенчатый сарай, за домом несколько загонов для скота. Но что особенно отличало его от других изб — это подобие садика перед окнами, где стояло несколько пеньков. С полдюжины пеньков стояли также во дворе, около плетня с лошадиными черепами на кольях. Пчелы жужжали и шумели, как кипящий самовар, а под стенами сарая задорно чирикали воробьи. Мулла встретил Арасланова ласково и почтительно; это был красивый, среднего роста мужчина с бронзовым цветом лица, с небольшой черной бородкой и редкими усами, подстриженными над губой. Его умные карие глаза, озарявшиеся порою вместе со всем лицом сдержанною доброю улыбкою, свидетельствовали о спокойном, выдержанном характере, об этом же говорили и его исполненные достоинства и природной простоты, не лишенные изящества, манеры. На нем был темный люстриновый бешмет с гарусными за-

вязками и небольшими карманами на боках, черного цвета ичиги в кибисах и темная тюбетейка. При виде гостей он снял с рук зеленые варежки, в которых работал по хозяйству, и после обычного «Ассалям-галеюкум» повел гостей в кунак-бульмясе. Жилое помещение муллы мало чем отличалось от избы Сулеймана, парадное же было довольно чисто и даже уютно. Оно состояло из одной горницы с печью посередине, украшенную синими разводами. Нары были во всю длину покрыты чистым войлоком и поверх полосатой кошмой. Гора перин возвышалась в углу; на балках висели шубы и платья, на гвоздях — лисьи шапки самых разнообразных форм, с крыльями и хвостами, которые должны прикрывать уши и затылок. На лицевой стороне печи было выложено небольшое углубление, в котором стоял самовар. На тщательно выструганных бревнах вместо туч тараканов висело, правда, засиженное мухами свидетельство об окончании курса в татарском медресе, стих из корана, зеркало, свойствами напоминавшее новую жечь, и часы, которые прежде чем бить, хрипели, как старая собака. Рядом с ними стоял шкаф со стеклянными дверцами, где хранилась чайная посуда. Это был самый богатый угол, он даже, не в пример прочим углам, был оклеен кусочком дешевеньких обоев. Над входной дверью красовалось лубочное изображение Константинополя, а направо от входа, на полке — священные книги.

Вслед за гостями простоволосая рябая девчонка, сирота, по обычаю, призреваемая зажиточными людьми, внесла другой кипящий, блестящий самовар, поставила его на нары и быстро скрылась. Вслед за нею в комнату застенчиво вошла молодая, довольно симпатичная башкирка в разноцветном ситцевом кюльмяке, красной домотканной рубахе, украшенной цветною вышивкой, с цветным кухряком на груди, в нанковом зюлене и в выложенных зеленым и красным сафьяном ичигах. В ушах и на руках блестяли серебряные украшения. Голова была покрыта тяжелой серебряной кошмой.

Это была жена хозяина. Она, как и хозяин, оставила кибисы у двери и поставила на нары мед, пшеничный хлеб и каймак.

Арасланов поклонился ей, она с достоинством ответила на его поклон и вопросительно посмотрела на своего повелителя; очевидно, ей хотелось вместе с гос-

тем напиток чаю, но мулла счел это неудобным, и она, поняв его взгляд, молча удалилась из избы.

Перекинувшись несколькими словами с Сулейманом, мулла поставил к нарам стул, а сам сел с Сулейманом на нары, сложив калачиком ноги. Арасланов понял эту любезную снисходительность к себе, сознался, что с непривычки не мог бы просидеть, как они, десяти минут и сел на стул.

Мулла налил в чашки крепкого чаю, нарезал толстыми кусками лимон и подал то и другое гостю.

Арасланов пил со сливками, но мулла и Сулейман усердно выжимали на блюдечках лимон и пили кислый, как укус, чай с видимым наслаждением.

Мулла, очевидно, был уже предупрежден Сулейманом о том, что Арасланов плохо говорит по-башкирски и, подолгу обдумывая каждую фразу и деля слова, обратился к Арасланову с расспросами о Петербурге и о его деятельности.

— Спасибо... к нам приехал...— перешел он к разговору, более интересному для Арасланова.— Свой брат башкурт помнил... Бедный людя помнил. Бог помнил... Плохо башкурт жить стал... Злой человек башкурт обижал...

— Брийзгал бульно нас обижал... — злобно добавил Сулейман. — Сейчас его приказчика нашим лошадкам загонял...

— А что же ваше начальство смотрит? — возразил Арасланов.

— Никак нельзя...— таинственно сообщил Сулейман, точно боялся, что его услышат. — Мировой посредник их людя, он мировой посредник жеребса дарил. Старшина — их людя, писарь — их людя... Изба их Брийзгал строил, лес давал. Наш лес... Систый абдраган!

— Разве Брызгалов вырубает уже лес?

— Давно рубайт, река пушайт гулять... Много урман рубили...

Арасланов злобно стиснул зубы, и эта злоба на хищническую наглость Брызгалова так охватила его, что он, не желая дать себе ни минуты отдыха, решил немедленно объехать вместе с Сулейманом деревни: Дуртели, Юсупово, Шингак и Иркен, чтобы через частный опрос башкир Кумыш-Камарской волости лично убедиться в справедливости того, что говорил ему Сулейман, и тогда

подать на незаконность приговора, полученного Брызгаловым, жалобу в губернское по крестьянским делам присутствие.

Мулла с удовольствием согласился предоставить пару лошадей. Сулейман сдерживал свой восторг и горячо говорил:

— Сам увидишь, какой акаянный народ Брийзгал, и Басимка, и писарь, и мировая посредник! Народ тамга не давал,— писарь и старшина страшал народ Сибирь гонять. Водкам поил, подарком дарил... Давай тамга... Мухамед-Салим ульган, Гимран Аллагулов ульган... Еще один, два, три люда — ульган, а в приговоре их тамга — бар.

— Какая подлость!

— Акаянный народ! — подтвердил Сулейман и с злобным презрением плюнул.

— А хранятся ли у вас списки умерших? — спросил Арасланов муллу.

— Да... да... Списки в месети.

— Так, пожалуйста, к моему приезду приготовьте их. Это очень важный документ.

— Ярар... Ладно... — понял мулла. — Я... приготовьте...

В дорогу Арасланов хотел переодеться, так как сначала намокшая, а потом ссохшаяся на солнце обувь неприятно беспокоила его ноги. Вообще нервы у него так измотались за это время волнением и бессонными ночами, что каждая мелочь его раздражала и беспокоила. Сулейман вызвался принести багаж Арасланова из своей избы, но у порога он вдруг остановился и стал переминаться на своих тонких и длинных ногах. Арасланов вопросительно взглянул на него, Сулейман быстро перебросился с муллой несколькими словами, тот тоже взглянул на Арасланова и, очевидно, сочувствуя мысли Сулеймана, утвердительно кивнул головой.

Арасланов понял, что они хотят просить его одеть национальный костюм. Действительно, Сулейман, не осмеливаясь предложить этого переодевания Арасланову серьезно, выразил его вроде шутки, плохо, однако, вязавшейся с беспокойно выжидательным выражением его узеньких глаз.

Арасланов на минуту задумался.

— Народ будет видать... свой селовек... Будет сказать... наш люда...

— Но ведь я плохо говорю по-башкирски,— ответил Арасланов на родном языке, краснея,— хотя понимаю все.

— Яхши! — убежденно заявил Сулейман, тоже по-башкирски продолжая речь.— Много говорить не надо, а выговор у тебя, как у настоящего башкира.

— Сын... Бик сын, — подтвердил мулла.

— Ярар... — серьезно согласился Арасланов, смерив рядом одинаковую с ним фигуру муллы.

В национальном башкирском костюме Арасланов выглядел совершенным башкиром. Сделав несколько движений руками и ногами, он почувствовал себя так свободно, точно всю жизнь свою не снимал его с плеч. Мало того, неловкость, которую он всегда чувствовал с своими единоплеменниками, точно была сброшена с костюмом. Это обстоятельство обрадовало его и вместе с тем испугало: он вспомнил слова Бессонова об общей участи интеллигентных башкир, вспомнил, как во сне не мог припомнить ни одного русского слова и нахмурился; но у муллы и у Сулеймана наружность его вызвала искренний восторг: эта мелочь сразу как бы сблизила их.

— Башкурт! Совсем башкурт! И красив как! — фамильярно похлопывая Арасланова по плечу, с какою-то детскою веселостью и торжеством восклицал по-башкирски Сулейман и, наклоня свою голову то вправо, то влево, любовался им, как ребенок новой игрушкой.

— Наш, наш! — одобрил мулла.— Так хорошо.

— Ай-ай, как красив! — не унимался Сулейман.— Лицо вот только не больно румяно, ну, да поживешь у нас, попьешь кумыс — жирный будешь... Башкирские красавицы любить ай-ай как будут!

— Он, чай, на наших девушек смотреть-то не захочет,— ревниво возразил мулла.— Русских девушек много... богаты и красивы... Лица белые, глаза голубые.

Арасланова точно резнуло по сердцу, и лицо его потемнело.

— Йок! Йок! — обиженный за Арасланова, возразил Сулейман.— А разве он забыл коран... Коран сказал: «Не женитесь на женах язычницах, покуда они не уверуют: правоверная невольница стоит бесконечно дороже,

чем свободная женщина-язычница, хотя бы она была прекраснее»,— с благоговением закончил он, поднимая длинный палец.— Правду коран сказал? — обратился он к Арасланову.

В эту минуту в горницу вбежала дочь муллы, семнадцатилетняя красавица Лейли-Зямал.

Смуглая, тоненькая, с большими пугливыми черными глазами, с тонкими чертами лица, она всею своею грациозною наружностью напоминала дикую козочку. Увидев гостя, она вспыхнула, замерла и вдруг, забыв, зачем прибежала, полузакрыв лицо широким цветным рукавом кюльмяка, стрелою вылетела вон.

Мулла нахмурился, но Сулейман, лукаво щуря правый глаз, склонился к уху Арасланова и в восторге шепнул ему:

— Вот и невеста! Красива. Богата.

Мулла притворился, что не слышит этих слов и строго произнес:

— Совсем дикая стала... Целый день в степи... То, как мальчишка, на лошади скачет, то с места ее не сдвинешь... Песню услышит — плачет. С цветами и птицами разговаривает... Мяса совсем не кушает.

— Сердце доброе имеет,— расчувствованный произнес Сулейман.— Ай, ай, славная девка!

Когда Арасланов садился в плетенку с горой подушек, Лейли опять пронеслась по двору, но, так как на крыльце стоял отец, она даже побоялась взглянуть на гостя и скрылась в сарай, откуда в щелку смотрела своим живым и быстрым глазом; к ее досаде, с этой стороны садился в плетенку Сулейман, и его длинная журавлиная фигура совсем закрывала фигуру гостя.

То, что увидел Арасланов своими глазами и услышал своими ушами, превзошло все его ожидания и даже рассказы Сулеймана. Покупка земли была сделана до того вопиюще незаконно, что он нисколько не сомневался в успехе взятого им на себя дела. Злоба на Брызгалова закипела в нем с еще большею силою, и на этот раз она совершенно утратила личный характер.

— Пусть Брызгалов вырубает лес и распахивает землю,— он за все ответит. Наше не пропадет,— твердо говорил Арасланов.

Сулейман чуть не прыгал от восторга, похлопывал его по плечу и с гордостью повторял:

— Спасибо... Спасибо... Мы им покажем, как обижать башкурт. Мы им покажем... Теперь у нас голова есть! Сам аллах послал тебя темным людям!

Однако Арасланов просил его до поры до времени не доводить об этом до сведения деревенского начальства.

— Знаю... Знаю... Понимаю!..— отвечал Сулейман.— Мы им покажем. Мы им покажем!

В этих объездах для Арасланова совершенно незаметно прошло два дня. Встречая повсюду грязь, нищету и полное невежество, он на время отвлекся от своего увлечения, и воспоминание о нем вызывало негодование на себя. Как мог он помышлять о таких низостях, когда его братья жили почти как животные, в вечном полусне, примиренные с этим варварским состоянием. «Неужели и я так же жил бы, как они, если бы не несчастная случайность?» спрашивал он себя.— Разумеется, так,— говорил ему какой-то голос, и он жадно всматривался в эти опаленные солнцем лица, то суровые, то мягкие, то веселые, то хмурые, то добродушные, то лукавые, и ум работал с страстным напряжением.

Он схватывал внешние черты всех тех, с кем встречался, и пытался сосредоточенным, пытливым взглядом проникнуть в глубь их сердец, мысленно сравнивал их с собою, старался отыскать похожего на себя, чтобы лучше и яснее представить себя в этой обстановке, и всех находил похожими. Кровная связь с народом давала себя знать... «Родной. Родной и по крови и по духу!» с приподнятыми нервами, заставлявшими его сердце усиленно биться и гореть глаза, повторял сотни раз Арасланов, находя в этом сознании глубокое нравственное удовлетворение и доходя порою до такого экстаза, в котором ему страстно хотелось уничтожить единственную лежавшую между ними преграду, чтобы хоть на миг вполне слиться с ними и зажить их жизнью.

«Благо ли для меня эта случайность?» неожиданно задал он сам себе вопрос под влиянием все того же экстаза, и сердце его болезненно сжалось невыносимую тоскою, и по какой-то непонятной связи с этим страшным вопросом он опять с прежнею силою и яркостью вспомнил ее, вспомнил и, вздрогнув, стал пытаться заглушить поднимавшуюся в его сердце горечь.

Готовый проклинать и презирать себя за эту слабость, он повторял себе: «Как смею я думать так? Эти несчастные живут во тьме, а мне тем, что я называю случайность и что есть на самом деле, конечно, нечто большее... быть может, воля неба, как говорит Сулейман, дан в руки зажженный светильник. Я обязан принести этот свет им, моим братьям, несмотря ни на что! Пусть огонь этого светильника не озарил и не согрел моего собственного сердца, он согреет тысячи других сердец».

Но это приподнятое настроение ослабевало, и с угрожающе ясностью представляя себе всю огромную тяжесть принимаемого на себя бремени, подавленный врезавшимися в память суровыми картинами встреченной им нищеты и невежества, он в ужасе закрывал глаза и готов был впасть в отчаяние. «Что могу сделать я, ничтожный червяк, бессильный справиться с самим собою?». Он содрогался от охватывавшего его холода и готов был крикнуть на весь мир: «Да помогите же мне! Помогите! Отзовитесь!..»

На третий день к обеду Арасланов вернулся домой и очень обрадовал муллу теми результатами, которые удалось ему добыть. Большинство башкир очень доверчиво встретили его и откровенно сознались, какими принуждениями были они заставлены давать тамгу. Даже наиболее упорные и те сознавались в конце концов и обещали подтвердить свои показания на сходе, если это понадобится. Также обрадовало муллу и то, что Арасланов совершенно свободно объяснялся теперь по-башкирски. Ограниченным запасом знакомых ему башкирских слов он при первых же шагах распоряжался довольно свободно, незнакомые же слова запоминались им как-то сами собою, точно они долгое время дремали в его памяти и теперь, в родной им обстановке, выплывали наружу, как только в них встречалась необходимость.

Под вечер, проверив доставленные муллой выписки умерших, внесенных в число выборных, значившихся в приговоре, и, убедившись, что эти лица умерли действительно раньше дела, Арасланов просил выписки опять сохранить в мечети, затем он отправился на прогулку за реку, где нарвал полные руки шиповника. Но лишь только он отрешился на несколько минут от дела и ос-

тался в одиночестве, привычные думы стали одолевать его и тревожить сердце. Он поспешил домой и поставив благоухающий шиповник в стакан с водою, сам сел у раскрытого окна, выходящего в садик, и, подперев руками голову, задумался. Ему казалось, что теперь он в состоянии разобраться в этих думах и уяснить себе их истинный смысл и происхождение, а это до известной степени не значило ли отрешиться от них?

В самом деле, что представляли собою эти неотвязные думы и влечения, как не сон, — мучительный и нелепый сон, полный самых чудовищных грез. Откуда в действительности могло зародиться в нем чувство, похожее на любовь к этой женщине, которую он совсем почти не знал, — к женщине не только чуждой, но враждебной ему по своему происхождению, по религии, по духу, по убеждениям, да по всему. По всему. Главное же, к чужой жене. Последнее препятствие, будь оно даже единственным, являлось такою стеной, за которую не в силах была переступить никакая надежда на...

Он не посмел произнести слово взаимность или счастье... Об этом не могло быть и речи. Не смешно ли, не безумно ли было бы принять простое женское кокетство за что-то большее, похожее на чувство! А чем же иным могли быть все эти странные взгляды, намеки, рукопожатия, как не заурядным кокетством! Так же, если не больше, она кокетничает и с Брызгаловым.

— Так ли? — вдруг тревожно и неожиданно спросил его внутренний голос.

Готовый за минуту перед этим желанием презрительно улыбнуться над своим безумием, Арасланов теперь снова нахмурился от вновь загоревшихся сомнений и призывов, которые жгли его сердце, как упдающие на живое тело искры.

«А не все ли равно, кокетство это или нет!» с отвращением оборвал он эти мысли, и глаза его сверкали злобною досадою на самого себя... «Что бы ни было, конец один — нет. Я не затем приехал сюда, чтобы заниматься романами. Преступно и стыдно даже думать-то о чем-нибудь другом, помимо народа... Преступно! Преступно! Преступно!

Он повторял себе это слово с особенным ударением, точно желая им, как тяжким молотом, убить в себе ненавистное чувство. Поднявшись со стула, он нервно про-

шел из угла в угол по горнице, но половицы, как клавиши, заходили под его ногами, это его раздражало, и он снова сел у окна и, ничего не видя перед собою, стиснув руками голову, устремил страдальческий взгляд вдаль.

«Мой путь иной... Мой путь иной!» повторял он про себя, стараясь заглушить другой голос. «Я стремился к нему много лет. Лучшие годы потратил, чтобы приготовить себя к выполнению самого святого моего долга, и я его выполню. Да, выполню!» Сам растроганный этими словами, закончил он речь, и в глазах его блеснули слезы, быть может, чистые слезы умиления перед величием предстоящего ему подвига, а может быть, слезы тоски о том, что он сознательно и твердо решался отвергнуть, и, опустив голову на руки, он закрыл ими лицо.

Он сидел так долго-долго...

На прозрачном, как вода, слегка позолоченном вечернею зарею западе зажглась звездочка.

Стадо, как каменный обвал, давно скатилось с холма к аулу с громким мычанием и бляением.

Правоверные совершили последний намаз, и хозяйка муллы доила кобыл-кумысниц, в порядке смиренно выстроившихся у плетня. Жирное молоко, звеня и дымясь, струею попадало в ведро... Башкирские семьи кое-где сходились к ужину на траве. В вечерней тишине отчетливо раздавался скрип коростелей, свист перепелов и кваканье лягушек, издали похожее на стук телеги по тряской мостовой.

Но Арасланов ничего этого не видел и не слышал. Мулла, свершив последнее омовение посреди двора, увидав Арасланова с лицом, закрытым руками, подумал, что он молится, и тихо удалился, не решаясь беспокоить его, и только два быстрые черные глаза Лейли-Зямал украдкой давно следили из сарая за порывистыми изменениями его лица, и ее лицо, как зеркало, повторяло эти изменения, точно его борьбу и волнение переживала в эти минуты она сама.

В полудиком сердечке быстро расцвела любовь к этому совершенно незнакомому, но уже близкому человеку, о котором она случайно слышала от отца и Сулеймана такие чудесные вещи, что ей невольно вспомнилась старая сказка о богатыре Мурадыме, который много лет тому назад прославил себя славными подвигами, переру-

бил своею кривою саблею несметные полчища врагов, но в последней битве изменой отсекли ему саблею руку и, чтобы не попасться в плен врагам, он с конем бросился в озеро Ак-зиярат и надолго скрылся там... Надолго, но не навсегда... Должно пройти много лет, отрастут вновь руки богатыря, и он вновь выступит на защиту угнетенных башкир, и тогда падут враги, и край его зацветет прежним великолепием и свободой.

Слыша восторженные речи Сулеймана и отца о том, что этот красивый, молодой гость явился освободителем башкир от врага, защитником родного народа, она жадно схватилась за эти слова, и он представлялся ей этим чудным, восставшим из прозрачных вод Ак-зиярата богатырем. Все его движения и слова казались ей таинственными и полными силы и сокровенного смысла, и, когда он закрыл руками лицо, ее душу охватила глубокая грусть, но, переборов ее, она тихонько запела:

Есть у неба солнце, месяц,
Звезды без числа...
Ими жизнь его согрета
И всегда светла.

Только у родины милой моей
Нет больше месяца, звездных лучей,
Солнца горячего нет!
Будь ей отрада и свет!

Есть у степи ветер вольный,
Звонких птичек хор,
Есть ковыль, как снег пушистый,
Из цветов убор.

Только у маленькой Лейли-Зямал
Друга нет, друга, чтоб все заменял:
Солнце и месяц, и птиц, и цветы...
Будь им, о юноша, ты!

Но Арасланов не слышал этой песни: он как будто замер в своей неподвижности.

Не только независимо от его воли, а прямо-таки наперекор ей, в душе Арасланова вдруг объявилось то, что мешало ему спокойно глядеть на свое дело как на простой долг и превращало этот долг в почти сверхъестественный подвиг, для совершения которого у него могло нехватить сил, потому что минутный прилив сил и вдохновения сменялся порою отчаянием, и тогда пре-

зрение к самому себе кривило его губы, холодило лицо и до боли в висках заставляло стискивать губы. Только когда все вокруг умолкало и тихая весенняя ночь, полная затаенной музыки, обнялась со степью, Арасланов очнулся. Он отвел руки от лица, которое как будто постарело и осунулось за этот час, и долгим неподвижным взглядом глядел на небо, теплившееся бледными звездами, точно в этих звездах хотел прочесть свою судьбу.

Вдруг в кустах, около окна, робко свистнул соловей. Арасланов оглянулся и увидел серенькую малютку-птичку, приютившуюся на ветке вблизи окна. Соловей повторил свой свист, слегка вибрируя на низкой ноте, прислушался к этим пробным звукам и довольный ими, закрыв глаза, пустил звучную трель. Арасланов замер и насторожился. Соловей прибавил новую руладу, перешел в сдержанную звучную дробь, дробь перелилась в мелодичный свист, свист — в новую трель, и отравленная тоскою любви полилась его песня, подчиняя себе всю природу и самый воздух, очарованный ее музыкой. Певец уже более не слушал себя... Он забылся в своей песне, он лил звуки один другого чудеснее, понятнее и слаще, чистые, как первые слезы, как хрустальное сияние утреннего света, и этими звуками он внятно объяснял красоту и смысл жизни, призывы небес и благоговейное молчание ночи...

Эта песня — была песня любви, блаженства и муки, неразлучной с любовью, и Арасланов побледнел, когда она нашла радостный отголосок в его сердце и открыла ему великую тайну жизни. Ему мучительно захотелось счастья, своего собственного счастья, женских ласк, поцелуев, объятий и безумных восторгов,— всего, о чем пел и к чему звал соловей, вдохновляемый землею и небом. Перед его закрытыми, как у лунатика, глазами стоял все тот же нежный и обворожительный образ, и Арасланов уже не отгонял и не отталкивал его от себя. Быстрым, как молния, взглядом проверил он изменчивые выражения ее лица и глаз, обращенных к нему, и понял, что счастье любви, к которому призваны все люди, все живое и жаждущее жизни, это счастье, представлявшееся ему досель грешным и преступным, открывает и перед ним свои двери, и не войти в них он не волен, как не волен соловей не петь своих песен и не струиться река, зародившаяся в ледниках гор.

И, поняв все это, тихо, чтобы не спугнуть птичку, он отошел от окна, и из глаз его покатались слезы.

Лейли бесшумно, как тень, промелькнула мимо его окна, но он не мог ее видеть. Соловьиная песня и ей объяснила ее чувства, но она поняла, что это счастье пока далеко от нее, как звезды, и, выйдя в степь, она тихо побрела вдаль, колеблясь, как тростинка от ветра, а соловей все пел и пел свою богом внушенную песню, и все живое, слушая ее, покорялось ей и находило в ней если не отраду, то успокоение.

VII

На другой день Арасланова рано утром разбудил необыкновенный шум: ржание лошадей, мычание коров, бляенные козы и овец, крики людей,— все это сливалось в какой-то дикий и нестройный хаос. Он поспешил одеться и выйти наружу: тут оживление было полное: народ с радостно-возбужденными лицами загонял скот во дворы или накидывал на него тебеневки. Мулла забыл свою солидность и также суетился на дворе с бабами и работниками. Между башкирами Арасланов заметил несколько человек русских, верхом на лошадях, из которых один громко кричал спрашивавшему его о чем-то бабаю, ни слова не понимавшему по-русски:

— Да пойми ты, голова, русским языком тебе говорят, что сам велел... Экий народ чудной: лопочет, лопочет, а что лопочет, черт его знает!

И, вытянув нагайкой коня, верховой поскакал вдогонку своим. Арасланов все понял: Брызгалов не только позволил без всякого выкупа взять башкирам загнанный по его же приказанию скот, но и распорядился пригнать его своим работникам, внушив им объяснить народу, что скот задержали без ведома хозяина. Народ в этом видел со стороны Брызгалова чуть не милость, но Арасланов дал его великодушию настоящую цену. Это был своего рода подкуп, и Сулейман с муллою подтвердили его мысль: очевидно, Брызгалову уже донесли о действиях Арасланова, и он повел против них войну и, конечно, не ограничится только этим, а пойдет дальше.

Накануне ночью, повинувшись охватившему его опьянению, Арасланов решил немедленно ехать в Светлорецк. Это решение несколько поколебалось теперь понятными

опасениями, но изменить его они не могли. Напрасно Сулейман и мулла уговаривали его остаться, чтобы не дать Брызгалову возможности поколебать неустойчивый народ и тем испортить так хорошо наладившееся дело. Арасланов отговаривался тем, что бояться теперь уже нечего и что жалобе надо дать надлежащий ход, то есть сдать ее в губернское по крестьянским делам присутствие, чтобы оно, в свою очередь, немедленно командировало своего члена для расследования. На самом же деле он отлично сознавал всю основательность их доводов и поехал только потому, что туда неудержимо рвалось его сердце.

Лейли, бледная, несмотря на свою смуглоту, грустно сосредоточенным взглядом провожала гостя, и сердце ее, как бабочка, опалившая на огне крылья, беспомощно билось, а когда его лошади тронулись, она украдкой, как коза, взбежала на гору и смотрела ему вслед до тех пор, пока даль не скрыла черную точку. Тогда девушка, с неподвижным, широко открытым взором, как бы сама удивленная происшедшей в ней и вокруг нее переменой, долго бродила по степи, и эта степь казалась ей теперь совсем новою, проникнутою каким-то особенно-глубоким смыслом.

Арасланов, выезжая из деревни, чувствовал себя почти нездоровым: в голове бродил какой-то отравленный туман; когда же он стал подъезжать к Светлорецку, ему стало казаться, что он летит в ту самую бездну, куда так недавно страшился заглянуть, но глубина которой неодолимо привлекала его. Ожидание неизбежной встречи опьяняло Арасланова еще более.

«Что должно быть, то будет»,— решил он наконец, по врожденной вере в предопределение, но тотчас же поймав себя на этом детском заключении, нахмурился, и сознание своей уступки кому-то или чему-то стало тяготить его еще сильнее. Эта уступка была сделана еще в минувшую ночь, когда соловьиная песня так разбредила его душу и объяснила ему всю его страсть. Это сознание выразалось в нем мучительным недовольством собою: ему казалось, что оно наложило на него такую печать, по которой все сразу угадают его настроение и его мысли, как преступника узнают по клейму. Прежде всех, конечно, об этом узнают Бессоновы, и в их глазах он явится пустым фразером, Конечно, это была

мелочь, но именно потому она и вонзалась так сильно в его душу. Подъезжая к дому, он в первый раз пожалел, что остановился у Бессоновых.

Бессоновы сидели за утренним чаем, когда Арасланов перешагнул порог их столовой. Он ожидал возгласов удивления по поводу своего неожиданного приезда, — удивления если не громкого и явного, то все же заметного для его подозрительно-зоркого глаза, но удивления этого не было, как будто все случилось так, как должно было случиться. Он поймал даже в этом смысле выражение на лице Бессонова, сопровождавшееся, как ему показалось, едва уловимой иронической улыбкой, и ту же иронию в тоне произнесенной им фразы: — А, вот и ты!..

Но Варвара Михайловна не приняла ни этого взгляда мужа, ни этого тона: она, как ни в чем не бывало, с тою милою приветливостью, которую у женщин вызывает доброта, пожала ему руку и сказала:

— Отлично сделали, что приехали, а то я уж начала было скучать о вас. Садитесь... Я вам сию минуту приготавливаю чай.

— А ты, однако, как я замечаю, похудел! — всматриваясь в Арасланова, проговорил Андрей Михайлович.

Арасланов ничего не ответил. Варвара Михайловна бросила мужу укоряющий быстрый взгляд и с серьезным видом обратилась к Арасланову:

— Вероятно, вам в эти три-четыре дня пришлось немало потрудиться? Ну, как ваши дела? Pardon! Может быть, это секрет? — перебила она свой вопрос, вспомнив, как Арасланов при первой встрече в Светлоречке стеснялся говорить при ней о своем деле.

В ее вопросе Арасланов справедливо нашел великодушно брошенный ему якорь спасения, это его оскорбило, но вместо того, чтобы отвергнуть его, он с горячностью передал все, что ему удалось открыть. Андрей Михайлович слушал его с деланным вниманием, точно для него все эти слова были только ширмою других мыслей и чувств Арасланова; зато Варвара Михайловна рада была принять их за чистую монету, чтобы таким образом заглушить свои подозрения.

— Ну, поздравляю вас! — искренне и горячо пожала

она руку Арасланова, выслушав его рассказ.— Я очень рада!

— И я также,— присовокупил Андрей Михайлович...— Но, признаться сказать, меня в твоём путешествии не столько интересует сторона деловая, сколько психологическая и, так сказать, художественная... Воображаю, что ты должен был пережить при виде степи и родного народа!

— Да, это очень сложное чувство, но я не мастер описывать,— вдумчиво ответил Арасланов.

— Ты-то не мастер! Ну, нет, брат, извини... Я помню тебя на наших студенческих вечеринках... Да, да, не скромничай... В тебе сидит поэт... Мне кажется... я уверен, что ты и в адвокатских речах-то своих брал не столько логикой и убедительностью своего красноречия, сколько страстностью и образностью языка.

— Благодарю покорно...— улыбаясь, возразил Арасланов, внутренне соглашаясь с Бессоновым.

— Нет, в самом деле, интересно знать, какое впечатление произвели на вас народ и степь?— заинтересовалась Варвара Михайловна.

Андрей Михайлович не дал времени ответить Арасланову и воодушевленно заговорил:

— Не правда ли... Хороша степь!.. Черт знает, какой силищей веет от этого зеленого простора! Души не хватает, чтобы вместить его! Я положительно завидую, что ты рожден в степи и значит тесно с нею связан.

— Что же тут особенно завидного?

— Да как же! Тебе должна была по наследству перейти вся дикая мощь и непосредственность,— с восторгом воскликнул Бессонов, измеряя Арасланова глазами, точно перед ним был не среднего роста худощавый человек, а колосс. Арасланов не мог не улыбнуться. Варвара Михайловна заметила по адресу мужа:

— Не может не преувеличивать.

— Ей-богу, завидую! — не унимался Бессонов.— Глядишь ты на нее и думаешь: вот она, родная степь... Родная степь... ведь и звучит-то как дивно!.. Так и просится в стихи...

Он на минуту задумался, закрыл рукою глаза и, глядя куда-то в сторону, взъерошил левою рукою свои белокурые волнистые волосы, а правую простер перед собою и сымпровизировал нараспев:

Родная степь! Перед твоим простором
Взволнованный недвижно я стою,
Не охватить любовным жадным взором
Размах и даль безбрежную твою.
О, если б был я небом вечно ясным,—
Как обнял бы я пламенно тебя!
О, если б был я ветром полновластным,—
Из края в край носился б я, любя!

— Bravo! — тронутый этим экспромтом, воскликнул Арасланов.— Вот видишь ли, ты объяснил мои чувства гораздо лучше, чем это мог бы сделать я сам.

— Да, кажется, для экспромта, действительно, довольно удачно вышло! — вскинув на нос пенсне и оглядывая присутствующих блестящими глазами, улыбаясь, с скромною гордостью заметил Бессонов.

— Особенно последняя строфа,— подтвердила Варвара Михайловна.— Как это ты сказал: О если б был я небом... ясным... небом...— спуталась она.

Бессонов хотел прийти ей на помощь, но тоже забыл и, схватив карандаш, торопливо стал восстанавливать сказанное, но на это потребовалось гораздо более времени, чем на сочинение. Когда же он восстановил все, Арасланов попросил стихи себе на память, и это очень польстило автору.

— Ну, а у вас здесь ничего не случилось нового?— в свою очередь обратился он к ним с вопросом.

— Какие у них новости!— ответил Андрей Михайлович.— Несколько пожаров, несколько рождений, несколько похорон да одна свадьба...

— Откуда ты все это знаешь?— удивился Арасланов.

— Такие-то события да не знать! У нас здесь даже известно становится, когда и у кого цыпленок родится...

— Да, здесь мудрено что-нибудь скрыть,— многозначительно взглянув на мужа, прибавила Варвара Михайловна.

Арасланов уже готов был покраснеть, сам не зная, за что, но, взглянув на Бессонова, сообразил, что слова эти всецело относятся к тому.

Бессонов вспыхнул, движением бровей сбросил с носа пенсне и, поднимаясь со стула, взглянул на часы и обратился к Арасланову:

— Ну, брат, извини... Мне пора в управу: дел по горло.

— Я сам скоро должен отправиться по делам. Как ты думаешь, долго мою жалобу продержат в губернском по крестьянским делам присутствии?

— Ну, это довольно трудно сказать. Ты должен знать нашу чиновничью волокиту сам. Впрочем, для тебя, вероятно, сделают исключение.

— Это почему?

— Как же... столичная штучка... В особенности же, если ты знаком с кем-нибудь из членов... с Степановым, например... По твоему делу, верно, будет он командирован.

— Я не знаком с ним.

— Познакомься. Он человек порядочный.

— А как часто бывают у них заседания?

— Раз в неделю. Кажется, по субботам. А сегодня у нас как раз суббота. Придется ждать, по крайней мере, неделю.

— Жаль.

Поцеловав руку жены и кивнув головою Арасланову, Бессонов вышел.

Арасланов тоже поднялся со стула, но почему-то счел неловким уйти, не сказав хозяйке ни слова, и, подойдя к окну и нюхая вновь распустившийся цветочек, спросил Варвару Михайловну:

— Как называется этот цветок?

— Вербена,— отвечала Варвара Михайловна и тоже, чтобы не ограничиться одним этим словом, прибавила задумчиво: — я люблю этот цветок.

— Знаете вы стихотворение Сюлли-Прюдона: «Разбитая ваза»?

— Да, да, прочтите мне его, пожалуйста.

Варвара Михайловна на минуту задумалась, потом, глядя куда-то в сторону от Арасланова, начала декламировать своим мягким, симпатичным голосом и, окончив, прибавила:

— К сожалению, я знаю его только по-французски, а как бы хорошо ни знать чужой язык, все равно, это не то, что на родном,— аромата того уже нет.

— Что же вы не попросите Андрея перевести это стихотворение?

Варвара Михайловна смутилась и, перетирая чашки, зазвенела ими. И точно в ответ на этот звон в передней раздался звонок.

Из передней донесся голос Бессонова, собиравшегося уходить, и другой голос, по которому сразу можно было узнать Квитковскую.

Бессонов, растерянный, с надетым только в один рукав пальто, со шляпою в руке, вошел в комнату и, глядя на жену, точно извиняясь за кого-то, проговорил, кивнув на Арасланова:

— Это — к нему.

Арасланов, пробормотав «Простите!» и ни на кого не глядя, двинулся вперед, задев ногою за стул. Ступая так твердо, как моряки на корабле во время качки, он вышел в залу, куда, не дождавшись приглашения от опешившего Бессонова, Квитковская вошла сама.

Варвара Михайловна, точно колеблясь, как ей поступить, одну минуту неподвижно стояла на месте. Лицо ее приняло гневное и презрительное выражение. Она стиснула зубы, и у нее вырвалось восклицание:

— Какая наглость!

И с шумом сбросив крючок со стеклянной двери, ведущей в сад, она порывисто вышла из комнаты. Бессонов, с опущенной головой, уныло следовал за ней, как-то боком проходя в дверь и тщательно затворяя ее за собою.

— Какая наглость! Какая наглость! — презрительно поводя плечами, продолжала повторять Варвара Михайловна, выходя на садовую аллею.

— Не понимаю, чего ты так волнуешься? — нерешительно заметил ее муж.

— Не понимаешь? — с злою иронией протянула она, остановившись на минуту и вполоборота глядя на него как-то снизу вверх сухим и жестким взглядом. — Не понимаешь! — еще язвительнее повторила она, оборачиваясь к нему всем лицом, и губы ее искривились злою улыбкою.

Бессонов не любил в ней этого выражения и даже боялся его. Он возразил:

— Разумеется, здесь нет ничего особенного. Ведь она не к нам пришла.

— Еще бы после всего происшедшего она осмелилась к нам явиться!

Бессонов закусил нижнюю губу, отчего кисточка волос под нею смешно приподнялась.

— Если бы она явилась к нам, — на ходу продолжа-

ла Варвара Михайловна, не оборачиваясь, но зная, что муж ловит каждое ее слово.— Если бы она явилась к нам...— повторила она, еще более раздражаясь при одной этой мысли.— Я бы сумела принять ее.

Бессонов не перечил жене, но это ее не успокоило. Наоборот, в его молчании она нашла упорный протест, и с языка ее грубо сорвалось:

— Нет, какая наглость! Какая наглость! Явиться в дом своего экс-любownika.

— Варя! — побледнев, остановил ее муж.

— А что?— совсем уже не владея собою, обернулась к нему Варвара Михайловна, окидывая его с ног до головы холодным, явно враждебным взглядом.— Разве я не правду сказала, что вы отставной любовник?

Он стиснул зубы, и бледность его мгновенно перешла в краску. Стараясь побороть закипавшее в нем бешенство против этой грубости, он на мгновение закрыл глаза, потом, хрустнув пальцами, проговорил, как мог спокойно:

— Я бы попросил тебя не выражаться таким образом.

Она, не разжимая губ, презрительно рассмеялась ему в лицо и вошла в беседку.

— Да, попросил бы не выражаться!— еще настойчивее повторил он, следуя за нею. И чувствуя себя оскорбленным ее смехом, чтобы отплатить за него, в свою очередь, с ударением произнес:— Я вижу, что с приездом ваших бывших собратьев по искусству вы начинаете принимать дурной тон. Пора бы его забыть.

— А может быть, и вспомнить!— многозначительно произнесла она сквозь зубы. Но тою же минутой, скорее чувствуя, чем видя его удивленные глаза, раскаялась в этой фразе, но воротить ее было уже нельзя.

— Что это? Намек!— с усилием выговорил он, пристально всматриваясь в ее лицо, точно желая проверить искренность сказанных ею слов.

Она отвернулась и, просунув сквозь решетку свою тонкую руку, сорвала листок сирени и стала отгрызать от него крошечные кусочки.

— Если это фраза, то фраза слишком серьезная, чтобы ее можно было злоупотреблять даже в припадке злобы. Если же это намек...

Он остановился и ждал, что она прервет его возражением. Она почувствовала это и не сразу, тихо и уклон-

чиво ответила, не глядя на него и осматривая ошипанный листок прищуренными глазами:

— Зачем же было попрекать меня прошлым.

— У меня сорвалось это с языка именно потому, что я не ожидал от тебя ничего подобного твоему упреку, особенно после того, как ты сама дала мне слово все забыть.

— Забыть! — живо обернувшись к нему, воскликнула Варвара Михайловна. — Ты думаешь, это так легко забыть? Нет, такие вещи не забываются. Я верила в тебя, как в бога! — с искреннею аффектацией продолжала она, сминая пальцами остатки зеленого листка. — Так верила, что готова была презирать себя за низость, когда стала подозревать о ваших отношениях с этой дамой! А ты говоришь — забыть!

Она снова отвернулась от него с пылающим лицом, просунула руку в решетку, нервно сорвала целую горсть листков, ссадив себе ладонь, и тут же швырнула их на землю.

Обрываясь на каждом слове, он тихо заговорил, ежась точно от холода:

— Я сознаю, что глубоко виноват перед тобою. Это было безумие, опьянение, угар.

— И для кого, для кого разбита эта вера! — с презрением и горечью перебила она его бессвязное оправдание. — Для красивого развратного животного без души, без ума, с одними только грязнейшими инстинктами, с алчностью, которая...

Он видел, что злоба снова охватывает ее, и перебил почти умоляюще:

— Ну, довольно! Довольно! Ведь я первый, сам, когда разгадал ее, принес тебе свое раскаяние. Ведь я сам... сам...

— Ах, что ты мне говоришь об этом! Ты думаешь, что совершил геройский поступок, рассказать мне всю эту мерзость о себе! Да, геройский поступок! А я тебе скажу, — приближая к нему свое разгоряченное лицо, неожиданно объявила она, — а я тебе скажу, что ты во сто раз лучше бы поступил, если бы скрыл все это от меня. Неужели ты думаешь, что мне легче было перенести все мучения обманутой жены оттого, что ты в этом открылся мне сам, а не я о них узнала? Вера разбита, и ее уже не склеишь. Ты вот говоришь мне, что ушел

от нее сам, а я думаю, что она прогнала тебя, потому что на смену тебе явился Брызгалов, а ты, может быть, и рассказал-то мне все с отчаяния и злобы, что тебя отвергли, предпочли...

Бессонов был поражен этой бурно вырвавшейся речью. То, в чем он сам боялся сознаться себе, открылось ясновидению любящей и оскорбленной в своем чувстве женщине. Он растерялся, покраснел и, протягивая ей обе руки, сухими губами шептал:

— Ну, полно, полно... Ведь простила...

— Забыть... — понизив голос, возвратилась она опять к прежнему, точно это слово мучило ее как кошмар. — И рада бы забыть, да не могу! Не могу! Не могу!

Плечи ее дрогнули, голос оборвался, слезы брызнули из глаз, и, опершись правой рукой на косяк, она положила на руку голову и, вздрагивая всем телом, зарыдала в припадке истинного и безнадежного горя. Ей было жаль и его и себя, а главное — она сознавала, что прежним отношениям не вернуться. Ей вспомнилась — разбитая ваза, и она зарыдала еще сильнее.

Бессонов вообще не мог выносить женских слез и рыданий, а ее рыданий особенно. В них было до того что-то детски-беспомощное и трогательное, что он сам с трудом удерживался, чтобы не расплакаться. Он испуганно бросился к жене и, схватив ее руки, в замешательстве целовал то одну, то другую, бормоча бессвязно утешения.

— Воды, — прошептала она, не отнимая от своих глаз влажного от слез платка.

Бессонов опрометью бросился за водою.

Когда Арасланов вышел к Квитковской, по лицу его трудно было угадать переживаемое им волнение. В противоположность Бессонову, именно в самые критические моменты в нем являлась иногда какая-то упорная сила, позволяющая ему быть непроницаемым. Лицо его слегка бледнело, и эта бледность, казалось, переходила даже на его глаза: они делались холодны и светлы, как сталь, уголки резко очерченных губ опускались, и все мускулы лица настораживались. Его без того размеренная и отчетливая речь становилась еще более размеренной и от-

четливой, точно каждое его слово ковалось у него где-то в глубине души и оттуда выходило твердое и определенное.

Взглянув в его глаза, глядевшие и вместе с тем как бы не глядевшие на нее, Квитковская почти раскаялась в том, что она, явившись к нему, поступила слишком смело, но отступить было уже поздно, и с вызывающей улыбкой, перекинув зонтик из правой руки в левую, она протянула ему руку.

Все в ней, начиная с ее лица и кончая перчатками, дышало в это утро свежестью и красотой, так что даже маленькая шляпка из искусственных цветов на ее пышных волосах казалась венком живых фиалок. Живые фиалки были приколоты на ее груди, и парой свежих облитых росой фиалок казались ее влажные глаза, странно менявшие цветы по настроению.

— Здравствуйте, здравствуйте! — защебетала она ему навстречу.— Простите, что беспокою ни свет ни заря... Я к вам на одну минуту, на одну минуту!

— Пожалуйста,— пригласил ее Арасланов, придвигая стул.

— Я не задержу вас,— продолжала она, садясь на стул таким образом, точно каждую минуту готова была, как чуткая птичка, вспорхнуть с него.

— Чем могу служить?— став против нее и опираясь одною рукою на стол, спросил Арасланов таким тоном, каким он обыкновенно встречал клиентов.

— Ну, вот сейчас уж и служить. Я к вам вовсе не по делу,— чертя по полу кончиком зонтика и чувствуя непритворное смущение, возразила Квитковская и, слегка покраснев, подняла на него глаза, точно прося извинения за свою дерзость.

Арасланов молча ожидал, что скажет она дальше. Лицо его стало еще резче и взгляд — еще холоднее.

Встретив снова этот взгляд, Ариадна Владимировна опять почувствовала себя девочкой-школьницей. Ей становилось и жутко и хорошо. Настолько хорошо, что она желала продолжить и обострить это настроение.

— Я вовсе не по делу. Я сейчас узнала, что вы приехали... У нас, в провинции, ведь скоро узнается.

«Действительно, очень скоро», — подумал Арасланов и, чувствуя, что разговор должен затянуться, неохотно сел. Его смущало, что он должен принимать ее в чужом доме,

мало того, в доме, где, как ему было известно, к ней относятся враждебно.

— Узнала и так обрадовалась вашему приезду, что, может быть, сделала большую неловкость! — продолжала она, как бы осуждая себя за этот поступок. — Не надо было бы забывать, а мне особенно, что Светлорецк — провинция, и из такого простого события, как то, что бывшая ученица пришла пригласить своего учителя на прогулку, создадут, пожалуй, целый роман.

«Что это? Неужели игра?» — недоумевал Арасланов. «Для игры это слишком смело и прямолинейно, а для правды слишком...»

— Хотя, кроме ваших хозяев, мое посещение пока никому неизвестно, — заметила она, явно обращая его внимание на то, что она как бы не ручается в этом отношении за будущее, — но для сплетен есть глаза и уши даже у ветра, — закончила она по-французски.

Она желала выведать от Арасланова, не было ли что-нибудь сказано ему дурного о ней Бессоновыми, и вместе с тем предупредить его на этот счет таким образом, чтобы убить в нем всякое доверие к подобным сообщениям. Игра была очень опасная. Не следовало слишком сильно натягивать эту струну, но Квитковская, несмотря на свое высокое мнение об уме Арасланова, решилась идти отважно к цели, точно ее подымал на это и поддерживал инстинкт, позволявший вперед угадывать свою победу. Она продолжала, улыбаясь и открывая два ряда ровных белых зубов.

— Впрочем, мне пора бы уже привыкнуть к сплетням: обо мне не болтают только немые. Я мало обращаю внимания на эти сплетни, но, право, бывает очень жаль, когда чувствуешь себя без вины виноватой перед такими милыми и порядочными людьми, как m-me Бессонова. Андрей Михайлович поэт и, как поэту, ему дано увлекающееся сердце.

Лицо ее снова изменило свое выражение, и, точно вспомнив что-то очень смешное, она закрыла нижнюю часть лица платком и вместе с запахом степных фиалок до Арасланова донесся легкий, как этот аромат, серебристый смех.

Арасланов оставался непроницаем.

«Знает...», сказала себе Ариадна Владимировна, про-

должая смеяться и внимательно глядя на Арасланова сквозь пушистые стрелки ресниц.

— Но бог с ними! Я так у вас засиделась, что забыла время. Ведь вы — человек занятой! — спохватилась она и, вставая со стула, спросила его:— Ну-с, так что же вы скажете на мое приглашение?..

— Какое приглашение?— изумился Арасланов.

— Ха-ха-ха!.. В самом деле, я почти ничего не сказала! Рассеянна, как влюбленная! Ведь я пришла к вам только затем, чтобы сказать, что сегодня устраивается мною маленькая поездка на Станинский трон, или, как его еще называют, Чертово Городище, *ips qũne*, как говорят немцы, и я пришла к вам с надеждой, что вы не откажетесь доставить мне удовольствие принять участие в этой поездке.

Арасланов уже хотел отказаться, но она, умоляюще глядя в его глаза, испуганно замахала руками.

— И не думайте отказываться! Не думайте! Я для вас жертвовала общественным мнением,— полушутя, полусерьезно произнесла она, — а вы отвергнете эту жертву!.. Нет... Нет... Ведь не отвергнете?

— Право, я не знаю: у меня дела. Я приехал всего на несколько дней.

В глазах ее сверкнул беспокойный огонек. Она вскрикнула огорченно:

— На несколько дней!.. И потом вы успеете?..

— Да.

— Опять туда же?

— А разве вы знаете, куда именно?

Квитковская едва заметно смутилась и быстро ответчала:

— Ну да, в уезд, по какому-то башкирскому делу.

— Да, именно.

— Тем более значит вы должны уделить нам нынешний вечер.

— Если позволят...

— Опять дела! Во-первых, вы и то похудели за эти несколько дней отъезда. Вам пужно отдохнуть! — дружески проговорила она.— Во-вторых, какие же могут быть дела ночью? В-третьих, я готова помогать вам во всех ваших делах, чтобы отвоевать нынешний вечер. У меня знаком весь город, и если быстрота и успех вашего дела зависят от кого-нибудь из моих знакомых,

я с удовольствием готова служить вам в качестве... ну, хоть чиновника особых поручений.

— Благодарю вас. В успехе своего дела я уверен, — отклонил Арасланов полушутливое ее предложение. — А что касается быстроты, я полагаю, меня не задержат.

— Тем лучше! Значит, это дело решенное. В восемь часов вечера... Не рано? Вы поедете со мною в коляске. Погода чудесная... Будет луна... Вашу руку...

И самовольно завладев его рукой, она с кокетливой грацией, по-мужски, потрясла ее, приговаривая:— ну, вот, и отлично. Merci, revidertchi.— И, обдавая его теплом и блеском устремленных в его глаза ласкающих глаз и чуть-чуть подаваясь к нему всем своим телом, она продолжала пожимать его руку.

Но Арасланов не ответил на это продолжительное и крепкое пожатие и, проводив гостью до двери, холодно простился с нею.

Переступая порог этого дома и распуская кружевной зонтик против ударившего ей в глаза солнца, Квитковская подумала об Арасланове: «Нет, он положительно мне нравится». И, обернувшись назад, увидела его стоящим на крыльце: «Точно из бронзы вылит, и даже голос, как металл, звучит. Интересно из этого металла вызвать огонь».

И при этой мысли легкая улыбка полуоткрыла ее розовые губы и чувственные ноздри.

Ветерок тихо колебал золотистые кружева ее зонта, и узорчатые тени прыгали от него рядом с нею по земле. В этот миг она совсем забыла о своем деле и денежных интересах, забыла не потому, чтобы они утратили для нее всякое значение, а потому, что она смутно надеялась, что все должно уладиться как-то само собою. Кроме того, ей надо было поспешить разослать приглашения на предстоящую поездку и кое к кому съездить для приглашения лично.

Проводив свою гостью, Арасланов внутренне желал как можно скорее скрыться из дома, чтобы не попасться на глаза Бессоновым. Ему казалось, что после этого они должны смотреть на него с презрением. Было стыдно за ее посещение, точно он был виноват в нем, но более всего было стыдно за то, что он согласился на эту про-

гулку под влиянием ее взгляда, голоса, улыбки, даже.. запаха фиалок, который странным образом приближал ее к Арасланову, напоминая степь. Правда, в этой поездке на первый взгляд не было ничего особенного, и все же через минуту после ухода Квитковской он готов был броситься вслед за нею и крикнуть, что он не может ехать и просить оставить его в покое.

Уйти сию же минуту, чтобы не попасться Бессоновым на глаза, ему казалось детским малодушием. Остаться, чтобы чувствовать на себе подозрительные, а может быть, и насмешливые взгляды (если бы их не было, ему все равно казалось бы, что они есть), это еще хуже: придется лгать в ответ на них, если не словами, то лицом. Ложь неизбежна. С некоторых пор эта ложь, противная его натуре, как паук, поселилась в его душе и испускала из себя тонкую, часто для него самого неуловимую паутину, разорвать которую не хватало сил, которая стесняла все его действия и порою порождала в нем отвращение к самому себе.

Арасланов решил в конце концов немедленно ехать в крестьянское присутствие и, не спеша переодевшись, сошел вниз с докладной запиской и шляпой в руке в столовую с единственной целью показаться им перед уходом.

В столовой никого не было. Арасланов упрекнул себя за эту комедию и в досаде на себя подумал: «Какая пошлость. Точно мальчишка, создаю себе какие-то призраки, пугаюсь их и лгу перед ними! Ну, какое до меня дело Бессоновым, да и мне до них в настоящую минуту». Положив бумагу в шляпу, он уже повернулся, чтобы уходить, как в комнату растерянно вбежал Бессонов. Увидев Арасланова, он, удивленный, остановился и быстро спросил его:

— Разве ты один?

— Как видишь.

— Собираешься уходить?

— Да, к Степанову,— пояснил Арасланов, краснея за это ненужное пояснение.

— Теперь ты его не застанешь дома.

— Я знаю: я еду в присутствие.

— А-а... И дело в шляпе,— сострил Бессонов, кивнув на бумагу, но Арасланову показалось, что эта острога направлена в другую сторону, и он нахмурился.

Бессонов насмешливо улыбнулся, но вдруг спохватившись, что прибежал за водою, бросился к графину, вместе со стаканом схватил его со стола и опрометью побежал в сад.

«Однако это посещение, видно, и тут не обошлось без неприятности»,— подумал Арасланов, провожая его глазами и припоминая все, на что намекала Квитковская.

Когда Андрей Михайлович вернулся к жене с водою, она уже перестала плакать, но ее прекрасные черные глаза все еще отражали грусть— следы глубокой внутренней бури; эту грусть не могли смыть даже ее обильные и горячие слезы.

— Ушла?— спросила она мужа.

— Ушла.

— А он?

— Тоже.

— С нею?— вспыхнула Варвара Михайловна.

— Нет, один. Он поехал по делу, в присутствие.

— Я уже думала с нею,— кривя губы, заметила Варвара Михайловна и, отпив несколько глотков воды, возвратилась к прежнему, но на этот раз без прежней остроты и гнева.— Нет, как она могла решиться прийти сюда!

Бессонов с сосредоточенным видом молчал. Ей стало досадно, что он ей не сочувствует, и с явным намерением снова уколоть его за это она произнесла:

— Удивительно посчастливилось этому дому; одной и той же героине в нем для романа второй герой выискался.

Бессонов с досадой поморщился и только нашелся сказать:

— Будет тебе язвить-то. Ничего тут нет особенного.

— Разумеется!— с высокомерной иронией протянула Варвара Михайловна. Она чувствовала себя не совсем еще отомщенной, а мужа не достаточно униженным, и потому тем же тоном повторила:— Разумеется, что особенного в том, что замужняя женщина едет к холостому, к одинокому человеку, к человеку мало знакомому даже.

— Ну, что за провинциализм, Варя.

— Именно потому, что это происходит в провинции, я и сужу так!— строго отрезала Варвара Михайловна.— Положим, эта дама без предрассудков, но уж, конечно, она не поехала бы к нему, если бы не видела в нем нового героя.

— А по-моему, так просто она пришла выведать у него результаты по делу о покупке земли у башкир. Ведь она, кажется, пайщица Брызгалова.

— Какая там пайщица! Просто, он для нее землю покупает и таким образом сразу делает две покупки,— зло заметила Варвара Михайловна.

— Тем более...

— Именно, тем более! — перебила она.— Госпожа Квитковская соединит приятное с полезным.

Бессонову этот тон жены был ужасно неприятен, но, чтобы не подливать масла в огонь, он заметил:

— Ну, вряд ли ей удастся одурачить Арасланова.

— Ах, все вы на одну статью! — пренебрежительно заявила Варвара Михайловна, от всей души желая, однако, чтобы слова ее мужа сбылись. Она ненавидела Квитковскую как только женщина, живущая сердцем, может ненавидеть другую, ворвавшуюся в ее святая святых. При одной мысли, что Арасланов мог увлечься этой женщиной, в ней поднималось раздражение, и она способна была возненавидеть его за это.

Бессонов покачал головою и сказал миролюбиво:

— Ну, с тобою нынче не сговоришь. Мне пора в управу.

Варвара Михайловна ничего ему не ответила. Ей было заранее жаль Арасланова, хотелось предупредить его о расставленных ему сетях, вместе с тем сделать неприятность Квитковской. О том, что этот поступок может унижить ее в глазах Арасланова, она не думала, считая это своим долгом. Ее останавливало только то, что он этому не поверит и сочтет за пустую сплетню.

В дверях перед уходом Бессонов обернулся к жене и крикнул ей:

— Ты как располагаешь нынешним вечером?

Это значило, что обедать он нынче дома не думает, а вечером собирается воспользоваться, как ему заблагорассудится. Варвару Михайловну такое бесцеремонное отношение к себе оскорбило, особенно же оно было чувствительно после только что происшедшей сцены

с ним, но она не показала и вида и ответила, зная заранее, что этот ответ будет ему не по душе:

— Я буду в театре.

Он сделал недовольную гримасу и, держась левою рукою за ручку двери, в раздумье остановился. Хотел вернуться к жене, сказать ей, что из управы приедет домой к обеду, проведет вместе с нею весь день и вечер, чтобы она не ходила в театр, но, во-первых, он считал, что своим вызовом она умышленно уколола его самолюбие, во-вторых, он дал слово Разумееву обедать с ним на холостую ногу в саду Трофеева в компании со старинным приятелем обоих, ныне членом русского географического общества Самсоновым, который приехал в Светлорецкую губернию для собирания башкирских народных песен, легенд и этнографического материала. После же обеда предполагалась поездка на Чертово Городище.

Бессонов подумал, махнул рукою и вышел.

Варвара Михайловна укоризненно посмотрела в его сторону. Она никак не ожидала от мужа подобного легкомыслия.— Ушел! — прошептала она, покачав головою, с горькою улыбкою...— Ушел...— Но вдруг, переборов подступавшие ей к горлу слезы и точно досадуя на себя за слабость, гордо подняла голову и, проведя обеими руками от подбородка по лицу, потом по волосам, мрачно проговорила:— Ну, что ж. Прошлого не вернуть... Значит, и жить вместе нельзя!

Заручившись добрым словом Степанова, Арасланов выхал из присутствия облегченный. Как бы то ни было, начало было сделано. Это придало Арасланову некоторую бодрость. Он взглянул на часы. Стрелка стояла на половине второго. Можно было успеть сделать еще кое-кому визиты.

Первым долгом он решил посетить муфтия: муфтий пользуется огромным и непоколебимым авторитетом среди башкир, и, кроме того, его голос имеет непосредственный доступ к государю. Арасланов приказал извозчику-башкиру поторопиться, и через четверть часа невыносимо тряской езды на «гитаре» по ухабистым улицам он был на площади, у выкрашенного в светло-желтую краску магометанского духовного собрания, где была

отведена квартира муфтию. Рядом с собранием помещалась мечеть, и ее высокий зеленый минарет с серебряным полумесяцем рисовался на фоне серовато-синего неба.

Ход к муфтию был со двора, но Арасланов не знал этого и вошел в двери канцелярии. В передней сидели простые просители-башкиры, муллы, с неподвижными, вдумчивыми лицами — молодые и старые, в больших белых чалмах и разноцветных халатах.

Молодой татарин вежливо спросил Арасланова, что ему угодно.

Арасланов подал ему свою карточку и попросил доложить о себе муфтию.

Через минуту прислужник вернулся и с поклоном попросил Арасланова следовать за собою.

Миновав несколько просторных комнат канцелярии с желтыми стенами и казенной обстановкой, где работали чиновники-магометане в европейских и национальных костюмах, Арасланов по лестнице, устланной коврами, вошел наверх и остановился перед дверью с разноцветными узорчатыми стеклами.

Прислужник распахнул перед ним эти двери, и по всему дому поднялся невообразимый звон. Арасланов поспешил войти в переднюю; дверь затворилась за ним, и звон умолк.

В передней висело множество шуб на разнообразных мехах, халатов, шапок. Навстречу посетителю из соседней комнаты в бешмете и бархатной коричневой тубетейке, легко ступая по устланному ковром паркету, вышел муфтий.

Муфтию на вид было лет пятьдесят. Его оливкового цвета лицо, восточного типа, с редкой с проседью бородкой, светилось добротой и умом. Все движения были мягки и плавны. Голос звучал немного глухо, тихо и приветливо.

— Здравствуйте, здравствуйте! — с ласковой улыбкой, озарявшей все его лицо и как бы исходившей из его карих глаз, встретил муфтий Арасланова, пожимая ему руку и вводя за собою в гостиную.

Это была просторная комната, выходившая окнами на реку Светлую. Отсюда открывался превосходный пейзаж и глубокая даль, замыкавшаяся волнистыми холмами.

Обстановка гостиной была очень незатейлива: около стен, как в купеческих домах, стояли венские стулья: направо от стены — стол, покрытый цветной скатертью, с эмалированной, расписанной узорами, лампой. Вокруг стола — мягкая мебель, старинная. Направо, над диваном, овальное небольшое зеркало. На стенах никаких украшений, исключая большого белого листа с изречениями из корана. Этажерка с книгами и книги и газеты на другом столе.

Муфтий сел в кресло и, усадив Арасланова против себя, заговорил с ним по-русски, плавною и размеренною речью.

— Я давно уже слышал о вашем приезде и очень рад с вами познакомиться.

Арасланов извинился, что не мог ранее засвидетельствовать ему свое почтение, что уезжал на несколько дней по весьма важному делу и приехал только сегодня.

— Знаю, знаю. Вам от петербургских дел отдохнуть бы здесь следовало, кумыса попить. Вон вы какой бледный, — с отеческой заботливостью говорил он, глядя на Арасланова и грустно покачивая головой.

— Дело не терпит, да я и не привык бездействовать. Безделье утомило бы меня сильнее всякого дела.

— Так... Так... Я по слухам знаком с вашим делом... Ну и что же, с успехом вы съездили?

— Да, кажется, — ответил Арасланов и рассказал ему в коротких словах все, что успел сделать. — Через неделю я еду снова.

— Так, так... — ласково одобрял его муфтий. — Только может случиться, что через неделю, когда вы приедете туда с чиновником, вы встретите совсем другое.

— То есть как?

— Да так. Могут отказаться от своих слов, — вот и все... Да, это бывало, бывало...

— Но почему?

— А не знаю, право. Такой уж народ странный. Темный народ. Чиновников боятся. Напуганный народ. Темный народ. Да.

— Нет, этого не может быть! — горячо возразил Арасланов, испуганный словами муфтия.

— Дай бог! Дай бог! — вздохнул муфтий. — Вы ведь первый раз встретились с этим народом?

— В первый. Правду вы сказали, что это странный

и темный народ... Главное — темный. Точно во сне живет...

И с глубокой скорбью он передал муфтию все то, что перевидел и перечувствовал, надеясь тронуть его и вызвать на сочувствие.

— Да, да, знаю, знаю, — печально опустив голову, произнес муфтий. — Во сне живут, — повторил он фразу Арасланова. — И во сне умирают. Невежество твердо как камень.

— Так нужно как-нибудь разбудить их от этого сна! Ваш голос мог бы, мне кажется, сделать это.

— Мой голос? — кротко улыбнувшись, возразил муфтий в ответ на это наивное для него мнение. — Мой голос слишком слаб для этого.

— Да, но разве нельзя действовать через мулл, если не непосредственно? Народ гибнет от болезней и невежества. Грубейшие и нелепейшие предрассудки мешают ему лечиться и учиться. Необходимо рассеять эти предрассудки. Необходимо внушать народу стремление к иной жизни, к разумной и спасительной деятельности. Я знаю, что на это необходимо много времени, но ведь он ни на шаг не подвинулся вперед в продолжение целых десятилетий!

Муфтий грустно улыбнулся, точно перед ним говорил добрый и благородный ребенок, совершенно не знакомый с действительностью. Когда Арасланов кончил, он отрицательно покачал головою и мягко возразил:

— Это очень трудно, если не невозможно. О непосредственном моем влиянии здесь не может быть и речи... Вы понимаете это. Муллы же сами грубы и невежественны и только укореняют в народе некоторые предрассудки. Наконец, прежде чем обвинять народ, что он не хочет лечиться и учиться, с чем я совсем не согласен, надо дать этому народу лекарство и докторов, школы и учителей.

— Я убежден, что все появится, если в них будет ощущаться потребность! — горячо возразил Арасланов. — К чему же тогда призвано земство? Ведь башкиры за что-нибудь да платят земские повинности!

Муфтий снова снисходительно улыбнулся и ничего не ответил на последние слова. Он, очевидно, считал этот разговор оконченным и предоставлял Арасланову само-

му убедиться в своей наивности в самом недалеком будущем.

— Расскажите-ка вы мне лучше, что нового у вас в Петербурге?

Арасланов указал глазами на газеты, разбросанные по столу, и уныло ответил:

— Право, я знаю гораздо меньше, чем здесь.

После этой фразы он посидел у муфтия еще для приличия минут пять и, сопровождаемый его ласковой улыбкой и приглашением: не забывать старика, вышел от него, совершенно не удовлетворенный этим визитом.

Смутно сознавая некоторую справедливость слов муфтия и еще более огорченный этим сознанием, Арасланов поехал от него на другом извозчике к члену губернской земской управы — Цералову.

Ехать было довольно долго. Дорогой он продолжал размышлять о своем разговоре с муфтием. Мнение того относительно непостоянства башкир сильно взволновало Арасланова. Брызгалов остался там и мог испортить все дело.

«Не поехать ли сегодня же туда снова? Ведь мое присутствие здесь совсем не важно для дела. К черту все эти прогулки!»

Но этим энергичным словам не суждено было перейти в дело. Тогда он рассудил поехать завтра, так как несколько часов не могли иметь никакого значения.

И, остановившись на этом решении, он вошел в подъезд большого деревянного флигеля с окнами, закрытыми маркизами: здесь жил Шагибек Шагибекович Цералов.

Цералов только что явился из управы и, с отвращением сбросив с себя европейское платье и обувь, облекся в просторный синий татарский халат, надетый поверх исподней рубахи, с широким воротом и длинными рукавами. На ноги надел легкие сафьянные желтого цвета чичги и в ожидании обеда растянулся на лежанке, отдаваясь блаженному бездумному спокойствию после трехчасовых занятий в управе.

Казачок-башкир, ступая на цыпочках, подошел к нему и подал карточку Арасланова.

Цералов поморщился.

— Ведь сказано не принимать, — проворчал он

по-башкирски, не поднимаясь с лежанки. — Вечно перепутает...

Но, взглянув на карточку, остановил малайку:

— Проси в гостиную. — А сам лениво поднялся с лежанки, простоял некоторое время в размышлении: переодеться ему или нет, но потом решил, что Арасланов свой человек, и направился к нему, как был, слегка размятая на ходу отяжелевшие от лежания члены.

В этом невысокого роста башкире, слегка сутуловатом, с темным лицом, с черной бородой и вялыми карими глазами, трудно было признать некогда блестящего петербургского кавалериста, принятого при дворе и известного в аристократических салонах. Превосходно изучив европейские и восточные языки, он, как оригинальная новинка, пользовался большим успехом среди великосветских дам и отчасти по их протекции, отчасти по своим качествам и познаниям уже прочился занять дипломатический видный пост на Востоке, когда судьба решительно повернула его на другую дорогу, и, удивив всех, он сразу порвал связи с большим петербургским светом и уехал в свою родную Башкирию служить народу.

Его петербургские знакомые и друзья истолковали этот безумный, по мнению их, шаг, кто как умел и желал, но истинная причина никому не могла прийти в голову и, если бы в Петербурге кто-нибудь высказал ее, — над ним посмеялись бы как над глупцом.

Впрочем, помимо народа было еще нечто, способствовавшее такому неожиданному перевороту в судьбе Цералова: незадолго перед его отъездом из Петербурга один из его светлорецких знакомых башкир просил его, вероятно, не без задней мысли, навестить оканчивавшую курс в Смольном институте дочь его Джамиле. «Башкирка в институте!» — удивился Цералов и, заинтересованный этим почти небывалым явлением, отправился, как на курьез, посмотреть на Джамиле. Увидел и с первой же встречи влюбился в нее.

Цералов через несколько месяцев вместе с ней уехал в Светлорецк, вскоре женился на ней и поселился с молодой женою в своем имении, где, ревниво скрывая обожаемую Джамиле от взоров посторонних людей, скоро обашкирился и забыл Петербург со всей его суетой как далекий сон.

Башкиры скоро, на сто верст в окружности, узнали Цералова, полюбили его и шли к нему за советом и помощью с своими нуждами. Он щедрою рукою разбрасывал свои деньги, помогая направо и налево, пока богатство его не сократилось наконец до того, что он должен был поневоле образумиться и признать необходимость служить народу другим способом.

Около этого времени Джамиле, известная за свою доброту среди башкир под именем фирштя, ангел, зазилилась, ухаживая за какою-то больною, и в три дня умерла. Цералов чуть не сошел с ума от горя. Схоронив ее, он в какую-нибудь неделю до неузнаваемости изменился, опустился и постарел. Заколотив свой дом, он уехал в Светлорецк, вошел в земскую управу и продолжал там защищать интересы своих собратьев, но прежней энергии в нем не осталось и следа.

— Простите, что я уж чересчур по-домашнему принимаю вас, — вяло протягивая гостю волосатую руку, некогда свертывавшую в трубочку серебряный рубль, проговорил Цералов, встречая его как старого знакомого. Голос его был гортанный, ленивый, но симпатичный. Манеры — усталые.

— Давно изволили приехать из деревни? — спросил он, усаживая гостя на диван и сам садясь рядом с ним.

— А вы разве знаете, что я уезжал в деревню?

— Как видите. Да не только это, но и все, что касается этой поездки, — улыбаясь с какою-то, как показалось Арасланову, неуловимой иронией, отвечал Цералов. — Это хорошо, если вам удастся пощипать крылья нашим ястребам.

Он говорил медленно и монотонно, улыбаясь и точно сам не веря в эту возможность.

— Дело не столько в них, сколько в их жертвах, — задетый за живое, заметил Арасланов, краснея за некоторую приподнятость этой фразы.

— То есть как это?

— А так. Пока башкир будет невежествен и темен, на смену одного Брызгалова явится другой, и все эти господа будут обкрадывать народ до тех пор, пока не оберут до нитки и не заставят умереть от голода.

— Да, да, это верно, — равнодушно согласился Цералов с фактом, который уж набил ему оскомину. — Это правда, но ничего тут не поделаешь.

— Как ничего не поделаешь! А земство на что же? Оно должно заботиться о просвещении народа. Помилуйте... Я был в Кумыш-Камарской волости и ужаснулся тому, что увидел. Ни доктора, ни даже фельдшера нет и на сорок верст в окружности. Школы кой-где при мечетях самые жалчайшие. Чего же глядит земство? Ведь сердце болит, глядя на их дикость. Простите меня, я буду говорить откровенно и прямо: вот вы — башкир-земец, имеете вес в управе... Ведь вам должны же быть дороги интересы родного народа!

С лица Цералова сошла ироническая улыбка. Арасланов задел его самолюбие, и он серьезно ответил:

— А разве вы так уверены, что я для него ничего не делал или не пытался сделать?

Арасланов смутился за свою горячность.

— Вы, очевидно, плохо знакомы с положением нашего земства и с его силами, — продолжал Цералов, смягчая свою отповедь. — Средства, которыми мы располагаем, самые ограниченные. При этом задолженность башкирского населения земству такая, что башкирам ввек не расплатиться с ним, а между тем башкиры находятся здесь в несравненно лучших экономических условиях, чем русские крестьяне. Земли достаточно, да лени больше... Что греха таить, хоть они и свои. Это-то мне и ставят всегда на вид в земстве, когда я пытаюсь сделать что-нибудь для башкирского населения. Прежде я еще воевал, а теперь надоело уж... — устало махнул он рукою. — Что же касается просвещения, то тут дело иное. Поговорите-ка на этот счет с нашим губернатором, от которого все зависит; он словно просвещение смешивает с словом крещение. Усердие дано ему не по разуму. Даже меня упрекал в том, что я на русской службе остаюсь магометанином. Уговаривал образумиться и даже себя в крестные отцы предлагал, — переходя опять к ироническому тону и улыбке, закончил свою речь Цералов.

— Не может быть! — возразил Арасланов.

— Что тут не может быть! Я вам лучше расскажу: он на той неделе объезжал уезд и так напугал народ своими глупыми речами и нравоучениями... это его слабость, — что башкиры вообразили, будто их скоро силой будут крестить русские чиновники. До того ведь дошло, что некоторые башкиры, при посредстве муллы, вступили в переговоры с Турцией, чтобы бежать из России.

Арасланов только руками развел.

— Да, поживите, так сами еще не то узнаете. Этот губернатор какой-то ходячий анекдот. Точно он взял себе щедринские сатиры за коран... то есть, за евангелие, — поправился он, — и хочет перешеголять своими измышлениями его героев.

И Цералов не удержался, чтобы не рассказать Арасланову о губернаторе еще несколько невероятных историй. Арасланов нашел, что разговор переходит на анекдоты, и, недовольный таким оборотом, собрался уходить. От Цералова не укрылось это впечатление, и он, желая его загладить, удерживал Арасланова:

— Куда вы... Я не пушу вас. Оставайтесь обедать. Сейчас должна приехать Аиша, сестра жены, и мы сядем за стол. Она уже давно уехала к Квитковской, жене председателя. Затеваается нынче вечером какая-то поездка. *Partie de plaisir*. С минуты на минуту она должна быть.

Арасланов заторопился уходить.

— Ну, в другой раз, когда вздумается, милости прошу, — отпустил его хозяин. — Во всяком случае, если я в чем-нибудь могу вам быть полезным, пожалуйста, располагайте мною.

Было четыре с половиною часа. Пора была обедать, но он не хотел есть, а главное — не хотел возвращаться домой. Но вспомнив, что не предупредил хозяев и они могут ждать его к обеду, поехал.

Варвара Михайловна была одна. Арасланов извинился, что опоздал, и рассказал ей результаты своих хлопот, а также визиты к муфтию и Цералову. Но Варвара Михайловна слушала его как-то рассеянно, и нетрудно было убедиться, что она расстроена чем-то: глаза ее были красны, и щеки горели подозрительным румянцем. Арасланов был эгоистически доволен ее настроением: это давало ему возможность не притворствоваться и не лгать перед нею. Почти весь обед прошел у них молча и, выйдя из-за стола, оба разошлись в разные стороны.

Арасланов после обеда отправился, куда глаза глядят.

Он шел, наклонив голову, заложив левую руку за спину, правую — покручивая свою черную жесткую бородку, шел, не разбирая улиц, и, когда опомнился, увидел себя почти у дверей квартиры Квитковских.

Кровь застучала у него в висках, и он быстро повернул в противоположную сторону: все время он неотступно думал о ней, и эти мысли привели его к ее квартире. Быстро удаляясь, Арасланов через несколько минут очутился в городском парке. Парк был превосходный: густой и огромный, но мало посещаемый публикой. Арасланов прошел его из одного конца в другой и на минуту остановился перед зданием мужской гимназии, превосходно поставленным прямо против парка. Здесь воспитывался Арасланов. Здание осталось такое же невзрачное, облупленное и желтое, как пятнадцать лет тому назад, но Арасланову теперь оно показалось гораздо меньше, чем он привык себе представлять его. Он улыбнулся, когда некоторые воспоминания детства пронеслись перед ним в эту минуту, но тотчас же забыл о них, продолжал свой путь под влиянием все той же досады на несвойственные ему досель рассеянность и опасения, что его могли заметить.

Выйдя из парка и миновав собор, Арасланов очутился на высоком и гористом берегу Светлой. Берег был обрывистый и живописный, выдававшийся к реке горой и мысом. Гора была перерезана глубоким оврагом, именуемым Черкалихиным. Рассказывали, что овраг получил это название за то, что там в XVIII веке разбойничий башкирский атаман Бахтиар замучил богатого купца Черкалихина, у которого похитил дочь и спрятал тут же в пещере, названной его именем.

По скату горы, вплоть до самой реки, красиво лепились избушки Архиерейской слободки, а по другую сторону оврага, за магометанским кладбищем и бойнсей, ютилась так называемая Нижегородка, попросту, выселки. Около горы шла каменная стена, за которой виднелось здание духовной семинарии. В открытые окна доносилось пение учеников. Коршун, поднявшись от кладбища, кругами поплыл над оврагом.

Около семинарской стены сохранился курган: памятник глубокой древности, остаток язычества, так как магометане по закону не насыпают курганов над умершими. Быть может, этот курган — след пребывания здесь

Чуди белоглазой *, побежденной и вытесненной отсюда монголами. Простой народ говорил, что если разрыть чудский курган, то по свету пойдет нехороший дух, и чудь белоглазая несметным полчищем встанет на русскую землю. Однако курган этот некогда был разрыт, но под ним ничего не нашли, кроме человеческих костей, десятка серебряных скобочек, служивших, вероятно, украшением гроба, и прочей мелочи, которая ровно ничего не сказала о тех, кто все это положил сюда.

Арасланов старался развлечь себя видом на реку Светлую и противоположный берег, кудрявившийся сплошным лесом, но сквозь эти мысли, как сквозь самую тонкую кисею, пробивались совсем другие чувства и думы, и ему стоило большого труда не глядеть каждую минуту на часы.

Чем ближе подходила стрелка часов к восьми, тем слабее становилось в нем это желание, точно сердце уже устало волноваться, или желание подавлялось протестующей внутренней силой. Когда он подошел к знакомому подъезду, душа его была тяжела и спокойна, а лицо мрачно и бледно.

Общество было в сборе. Арасланов познакомился уже со всеми, исключая свояченицы Цералова, хорошенькой блондинки лет восемнадцати, с круглым, в татарском вкусе, белым лицом, с серыми глазами. Лицо и большие серые глаза ее были так светлы, что восточное выражение «лунообразная красавица» вполне подходило к Аише. В глазах светилось недоумевающе-покорное выражение, свойственное вообще женщинам Востока. Стройный нос чуть-чуть склонялся к полным, алым губам. Движения ее были плавны и закруглены, точно во время танцев. От нее, как от луны, веяло чем-то таинственным, светлым, но не греющим. Арасланову она понравилась.

Квитковская много теряла вблизи Аиши для всех, исключая его, но, не долюбливавшая вообще женщин, она рискнула пригласить Аишу как громоотвод для общественного мнения.

— Я не сомневалась, что вы будете! — торжеству-

* Это таинственное имя приписывается народам, некогда населявшим Башкирию. Быть может, имя это приписывается также и древним биарамийцам.

юще встретила Арасланова хозяйка. — Благодарю вас. Готовы лошади? — обратилась она к вошедшей горничной.

— Готовы-с.

— Так в путь! Аиша, со мною! — весело скомандовала Квитковская, подхватывая под руку девушку. — Вы также, — обратилась она к Арасланову. — Коляска трехместная.

И, не дожидаясь с его стороны ответа, она быстро надела перед зеркалом свою грациозную шляпу, которая сразу точно срослась с ее пышными волосами, и, приняв на правую руку от горничной накидку и зонтик, легко и смело направилась к коляске, сверкая веселой улыбкой.

VIII

Общество с шумом разместилось по экипажам и тронулось в путь. Впереди всех — коляска Квитковской, запряженная парю вороных; позади — Коко с Моко на простом извозчике, в облаках пыли, поднимаемой передними экипажами. Миновав живописную Троицкую гору, где некогда возвышалась маленькая крепостца-детинец, а теперь стояла простенькая церковь, и переехав мостик через крошечную и суетливую речонку — Сутолку, общество вступило в пределы Старого Светлорецка, прославившегося в 1773 г. геройской полугодовой защитой от пугачевцев, бывших под начальством Чики и Салавата Юлаева. Жизнь здесь была еще патриархальнее и тише, чем в Новом Светлорецке. Постройки крошечные, обветшалые: население — мещане и самые низшие чиновники. Но и эти хибарки остались позади. Впереди шла степь, виднелся лес, налево — кирпичные сараи. Светлорецк весь остался позади, блестя в солнечном закате золотыми крестами и куполами церквей и улыбаясь своими садами и домиками, живописно взбегавшими на холмы. Светлая огибала город, как серебряный пояс, и деревянный мост, перекинутый через нее, казался узорчатою пряжкой. Арасланов сидел как раз лицом к городу и обратил внимание своих спутниц на открывавшуюся перед ним роскошную панораму. Но Квитковская видела ее уже десятки раз и восторгалась только внешне. Лицо Аиши также не выражало особенного восторга:

только глаза светились каким-то сдержанным блеском. Она говорила мало, точно стеснялась своего мягкого голоса, и только при виде какого-то холма, возвышавшегося налево от них, возле часовенки, спросила Арасланова:

— Что это такое?

— Это остатки ногайского вала. Когда-то он шел от берега Светлой почти на версту. Видите лес, который примыкает к нему; этот лес называется Попово Жилище. Есть предание, что в этом лесу еще при Иоанне Грозном жил черный поп, родом пошехонец.

Внимательно выслушав объяснение Арасланова, она поблагодарила его кивком головы и не проронила ни одного слова вплоть до самого Чертова Городища. Раза два во время пути Арасланов чувствовал, как нога Квитковской касалась его ноги, и эти прикосновения острой дрожью пробежали у него по телу. Одновременно с этим он видел, как глаза Квитковской трепетали от затаенного смеха, и, когда он извинялся, она с напускною холодностью отодвигала свои ноги и шелестела шелковыми юбками. Всю дорогу она весело смеялась, и в этом веселье чувствовалось что-то напряженное и опьяняющее.

Компания прибыла на место засветло. Прислуга осталась хлопотать с самоваром и закуской. Выходя из экипажа, Аиша оступилась, и Арасланов предложил ей руку. Квитковская вдруг присмирела, лицо ее сделалось задумчивым, и, чертя зонтиком по земле, она шла, опустив голову, и изредка бросала на рядом идущую пару ревнивые взгляды.

Впереди, шагах в двадцати от них, возвышался обрыв. Кто-то из компании не выдержал и бросился туда бегом. За ним с шумом побежали другие, и скоро все были на обрыве.

Жадно глядя вперед, Аиша сильнее оперлась на руку Арасланова, очарованная восхитительным зрелищем, сияющая полудетским восторгом, забывшая о спутнике, к которому она прижалась своим телом.

Чертово Городище возвышалось над обрывом в виде полукруглой горы, выступавшей к городу мысом. Гора была покрыта вековым лесом, и этот лес в величественном беспорядке сбегал вниз, на огромную глубину, по уступам, скалам и обрывам, вися над пропастями, к широкой и быстрой речке Пьяла-Су, которая брала свое

начало в Уральских горах и впадала в Светлую. Среди леса разрастался молодой кустарник: дуб, вяз, липа, клен. На побагровевшем фоне неба листва их здесь и там вырезалась узорным кружевом. Точно обозревая это беспорядочно рассеянное полчище великанов, кое-где на обрывах возвышались старинные деревья и, казалось, готовы были вдруг двинуться туда, через реку, на другую сторону, где, точно враждебная рать, плотно сомкнулся на широкой равнине так называемый Аблаевский лес: там шла древняя сибирская дорога. В 1574 году там происходило побоище горожан с сибирскими татарами, которыми предводительствовали царевичи Аблай и Тевкель. Татары были разбиты в 15 верстах отсюда. Царевичи дней десять отсиживались в лесу и, наконец, сдались в плен и были отвезены в Москву, за что победители были награждены «золотыми маковками», а имена их были вписаны в золотую книгу.

— Почему это место называют Чертовым Городищем? — задала Арасланову вопрос Аиша, не покидая его руки, но слегка отстраняясь от него.

— Право, трудно сказать, — ответил он. — Русский народ вообще склонен называть всякое покинутое место чертовым именем.

— А разве здесь кто-нибудь жил? — заинтересовалась, как ребенок, Аиша.

— Да. Видите вон ту долину? — указал он ей глазами направо. — Долина эта называется Терегулов луг, или Терегулова лука. Предание говорит, что тут некогда паслись табуны ногайского хана, который жил тут, на городище. Терегулов был старшина над пастухами, и пастухи за его тиранство зарезали его на этом месте. Подданные хана жили в горах, вон там, — указал он ей по направлению к городу. — И гора эта звалась Тура-тау, то есть городская гора.

— Это очень интересно! — воскликнула Аиша.

— А мы здесь живем и ничего этого не знаем! — проговорил кто-то из присутствующих.

— Не перебивайте, — насмешливо-строго произнесла Квитковская и, обратясь к Арасланову, сказала: — продолжайте, а то ваша слушательница измучилась ожиданием.

Аиша не поняла иронии, но Арасланов покраснел.

— Первый хан нагаев назывался Алказар, — про-

должал он, думая совсем о другом. — Он страшно притеснял башкир, отбирал у них земли, имущество, скот, жен и детей и облагал их непомерными податями, так что за право переплыть Светлую ему платили по лисице, бобру и кунице, пока, наконец, башкиры не прибегли к покровительству русских.

— Вот видите, — перебил его Кегульский. — А башкиры еще жалуются теперь на притеснения со стороны русских.

Арасланов презрительно усмехнулся и, не глядя на него, ответил:

— Во-первых, я не провожу параллели между русскими хищниками и ногаями, а во-вторых, за ногаями есть то преимущество, что они не отнимали у башкир землю, считая, что земля божья.

— Тоже хорош принцип.

— Все же лучше иных нынешних.

Аиша сочувственно улыбнулась Арасланову и инстинктивно прижалась к нему, тотчас же опомнилась и, вспыхнув, быстро отстранилась. От Квитковской не ускользнуло это, и взгляд ее блеснул ревнивою досадою. Она резко оборвала этот спор:

— Однако не одним словом жив человек. Признаться, я проголодалась и с удовольствием что-нибудь съем и выпью чаю.

И бросив вскользь Арасланову: «Простите!», она повернулась назад, и за нею двинулась вся компания туда, где их уже ожидал самовар, кумыс, сливки и разные закуски, привезенные из города. Ночь наступала быстро. Луна всходила поздно. Около стола, на котором стояла жестяная лампа, развели костер, отчасти для света, а больше, чтобы отогнать комаров. Хворост затрещал, разгораясь, ярко вспыхнуло пламя, озаряя близстоящие деревья, и разговор под треск костра весело зазвучал за столом.

— Господа, скоро луна взойдет! — вдруг раздался голос Квитковской, и Арасланов снова поймал на себе ее вызывающий взгляд, от которого ему стало как-то жутко и радостно. — Кто желает поймать счастливый момент, — за мною!

И, слегка поддерживая правую рукою платье, она, как девочка, бросилась вперед и исчезла во мраке.

Все также побежали за нею. Аиша, точно обиженная

этим всеобщим бегством, взглянула на Арасланова, как бы ища в нем поддержки, и лицо ее на миг изменило свое загадочное выражение и напомнило Арасланову лицо Лейли-Зямал. Вся с ног до головы освещенная пламенем костра, она казалась странным видением, но Арасланов не заметил этой красоты: его влекло туда, за нею, в его ушах звенели ее последние слова, тянул за собою ее вызывающий взгляд, и вдруг, точно подхваченный какою-то волною, он протянул Аише руку, и они быстро побежали за толпой и скоро нагнали ее у вала.

— Что же, ваша нога прошла? — ядовито спросила Аишу Квитковская.

— Прошла, — с разгоревшимся от бега лицом простодушно ответила Аиша, освобождая свою руку и жадно озирая своими газельими глазами изменившуюся картину пейзажа.

Луна выплывала слева, точно кровавое око, выделяя из мрака кусочек реки, засверкавшей бриллиантами, великаны-деревья — на выступах и обрывах и вершины ближайшего к ней леса. Но вокруг еще все оставалось в тени: и скалы, и утесы, и лес, и река, и другой берег, слитый тьмою с небом.

Арасланов стоял у самого обрыва, от которого шла крутая извилистая дорожка вниз.

— Я иду туда! — раздался снова голос Квитковской. — Кто со мною?..

Эта затея вызвала всеобщий ропот.

— Помилуйте, Ариадна Владимировна! Да там, того и гляди, расшибешься насмерть.

— Она, конечно, шутит.

— Тьма такая, что и себя не найдешь!

Она взглянула на Арасланова, и он, ни слова не говоря, точно заколдованный ее взглядом, подал ей руку и сразу почувствовал, что она как бы приросла к нему. Аиша, побледнев, сделала шаг вперед, точно боясь за Арасланова, но Квитковская быстро потянула его к знакомой дорожке, прыгнула вниз, и через мгновение только по крутящемуся песку да срывающимся вниз камням можно было догадаться о том, что они спускаются вниз.

— Вот безумные-то, — прошептал чей-то голос.

— Н-да... — многозначительно промычал Кегульский и, комически хлопнув себя по лысине, рассмешил всех этим жестом.

Луна поднималась все выше и выше и еще шире раздвигала теплые волны влажного и ароматного мрака. Где-то внизу соловей встретил ее сияние полнозвучною и громкою трелью. Первые минуты беглецы двигались вниз, не говоря ни слова, каким-то чудом удерживаясь на почти отвесной крутизне. Камни и песок вырывались у них из-под ног и с шумом летели вниз. Арасланов чувствовал, как на опасных местах она всем телом прижималась к нему, и пламя, почти лишавшее его рассудка, охватывало все его существо. Он останавливался, чтобы перевести стеснявшееся в груди дыхание, но она снова тянула его, и он снова шел.

— Скорее! Скорее! — слушал он ее шепот и ускорял шаг.

Как будто краем огненного глаза луна взглянула на них из-за скалы, осветила дорожку и поляну, и в этот миг сверху послышался оклик: — Ариадна Владимировна... Ау!..

— Не откликайтесь! — шепнула она Арасланову, еще сильнее прижавшись к нему и на минуту останавливаясь на месте. Он чувствовал, как под его локтем высоко вздымалась ее грудь, и не шевелился.

Крик повторился снова. Но ответа не последовало.

— Ого! Мы уже у пещеры, — по-прежнему шепотом проговорила она и взглянула наверх.

Там скала вставала на скалу, дерево громоздилось на дерево. Они были далеко внизу, и их сверху ни в каком случае не могли видеть.

Соловей разливался где-то близко от них и заражал ядом своих песен.

Квитковская тихонько высвободила свою руку из руки Арасланова и сделала два шага направо.

— Куда вы? — остановил ее Арасланов. — Там пропасть.

Она не отстранила его руки.

— Не бойтесь. Я знаю здесь каждый кустик. Ребенком я гостила здесь у тети на даче. Я люблю это место и часто здесь бываю.

Они замолкли.

Луна вышла из-за скалы и ясно озарила их прибежище — зеленую полянку с отвесной стеной, оставляя в тени весь верх, бриллиантовою зыбью засверкала по реке и прогнала мрак с противоположной равнины, голу-

бым сиянием обливая густой Аблаевский лес и Терегулов луг.

Соловей, раздраженный этим светом, запел еще сильнее и напомнил Арасланову другую ночь, когда жажда своего счастья впервые представилась ему неодолимой. Это счастье теперь было близко от него, и он сердцем чувствовал эту близость, чувствовал, что ему стоит сделать одно только движение, и она будет в его объятиях. Соловей как будто негодовал на него за его медлительность и целой бурей звуков толкал его к ней. Эта буря стихла на мгновение и затем звучала молитвой: звуки пели и плакали, звали его, а он не смел даже поднять глаз, и песня снова превращалась в бурю.

Он чувствовал, как остановленная им за локоть рука ее дрожала в его руке и тянула его к себе.

Ее начинала раздражать его нерешительность. Она потянула руку, но он иначе истолковал себе это движение и, чувствуя, что земля как бы уходит у него из-под ног, сам не помня себя, опустил перед нею на колени, обнял ее ноги и стал покрывать их поцелуями...

— Милый... Милый...— ответила она, наклоняясь к нему.

— Ау! — слабо донеслось сверху, но они уже не слышали этого оклика.

«Что это такое? Что это такое?» спрашивал себя Арасланов с искаженным от неостывшей еще страсти лицом, как в лихорадке стуча зубами. Ему казалось, что он, изнемогавший от жажды, выпил что-то горькое и ядовитое, отчего во всем его существе остался нечистый осадок.

Он теперь ненавидел эту женщину, но эта ненависть была сильнее и притягательнее самой любви. Заодно с этим она, за минуту перед тем совсем ему чужая, стала чем-то близким, чем-то чувственно родным. Он боялся взглянуть на нее, боялся вздохнуть полною грудью, чтобы не обратить на себя ее взгляд, и вместе с тем страстно желал, чтобы она взглянула на него, чтобы по одному ее взгляду, по звуку ее голоса определить ее отношение к себе, и Арасланов думал: «Если так страдаю я, как должна страдать и ненавидеть меня она!..»

С этой мыслью он обратил свой взгляд на нее. Она

стояла к нему вполоборота, закрыв лицо руками, и ее белокурые выбившиеся волосы, освещенные лунным светом, падали с висков и лба между пальцев, точно серебряные струйки воды. Но странно, даже сквозь эти руки Арасланов увидел, или, вернее, угадал ее улыбку, и это открытие поразило его.

Чувствуя на себе его взгляд, она чуть-чуть повернула голову в его сторону, раздвинула кончики пальцев, и, опустив голову, сквозь пальцы, исподлобья, вкось посмотрела на него. Тогда он, как лунатик, сам не чувствуя своих движений, приблизился к ней и протянул ей руки.

Она отвела пальцы от глаз, краснея, взглянула в его лицо, бледное и растерянное от пытки ожидания, и почувствовала к нему сострадательную нежность. Точно поняв то, что он хотел, но не мог выговорить, она сказала:

— Ты не виноват.

— Я люблю тебя! — вырвалось у него из сердца, но ему казалось, что голос, произнесший эти слова, не его голос.

Она протянула ему руки и, обливая его ласковым светом своих глаз, сказала:

— И я люблю тебя. Милый.

— Ау-у-у-у!.. — донеслось сверху.

Он вздрогнул, точно разбуженный звуком другого мира, но она быстро схватила его голову обеими руками, привлекла ее к себе и поцеловала в глаза и губы.

— Мы скажем, что были внизу, у реки, — быстро отшатнувшись от него, вслед за тем проговорила она и совершенно неожиданно громко ответила на оклик сверху: — Ау!

Схватив его руку, она, как коза, стала подниматься кверху, по временам хватаясь за ветки попутных растений и обращая к Арасланову лукавое лицо с смеющимися глазами.

«Как может она лгать в такую минуту и зачем эта ложь?» — пораженный ее выходкой, спрашивал себя Арасланов, но тут его ум, как молния, осветила другая мысль: «А как же может быть иначе! Ведь она чужая жена.. Чужая жена», повторил он и похолодел с головы до ног.

Соловьиная песня провожала их торопливыми и сбивчивыми трелями, а голоса и смех над ними становились все отчетливее.

— Завтра ночью, в десять часов в парке, у собора,— успела шепнуть ему Квитковская, прежде чем они очутились в толпе.

Ее слова бросили ему в душу какую-то смутную надежду на то, что это завтра разрешит путаницу мучительных осложнений, внезапно выросших перед ним вместе с этим сближением.

Такое успокоение помогло ему овладеть собою при появлении перед шумной компанией, нетерпеливо ожидавшей их наверху.

— Представьте себе, мы были у самой реки, и вы, господа, много потеряли, что не пошли с нами. Вид там чудесный! — услышал он фразу Квитковской, задорно брошенную в ответ на двусмысленные взгляды и восклицания знакомых.

Чей-то громкий, натянутый и злой смех оборвал эту ложь. Квитковская, всплыв, быстро обернулась, за нею — все остальные. Арасланова точно кто толкнул; он лицом к лицу встретился с Бессоновым, который, в компании с Разумеевым и незнакомым ему широкоплечим черным господином, проходил мимо.

Бессонов был сильно выпивши; его приятели — тоже навеселе.

— Ба, Ариадна Владимировна! Знакомые все лица! — как будто только что узнав ее, продекламировал Бессонов.

Разумеев также отделился на минуту, и они поздоровались с внезапно умолкнувшей компанией.

Когда Бессонову пришла очередь протянуть руку Арасланову, он поглядел на него не то с сожалением, не то с насмешкой. Арасланов нахмурил брови.

Но Бессонов прошел, и его место заступил Разумеев, который, пожав руку Арасланова своею широкою рукою и засматривая в его глаза сузившимися глазками, проговорил, запинаясь на последнем слове:

— А, и вы, батенька, здесь... Развлекаетесь на груди... природы.

Арасланов не успел ничего ответить на эту пошлую двусмысленность; когда краска с его лица сошла, те были уже далеко, и Бессонов пел несколько хриплым, но симпатичным тенором:

До гроба вы клялись любить поэта...

Тонкий смех Разумеева прервал его, и все трое рассмеялись.

Квитковская возобновила рассказ о каком-то небывалом приключении у них на пути. Арасланов почувствовал себя вынужденным поддерживать эту ложь и с неестественной улыбкой поддакивал ей и даже прибавлял свои подробности.

И все притворились, что верят им, хотя смех Бессонова не выходил ни у кого из головы.

Как всегда бывает после веселых прогулок, возвращение домой было скучное и вялое. Арасланов опять сидел в экипаже Квитковской и молчал, подавленный происшедшим, готовый считать его за галлюцинацию. Он взглядывал порою на нее, сидевшую против него, но лицо ее чаще всего было в тени или улыбалось ему в ответ на его вопросительные взгляды неопределенною улыбкою.

Аиша, безотчетно отдалившись от Квитковской и сама не понимая, почему ей неприятно каждое прикосновение не только к ее телу, а даже к платью ее, следила рассеянно за волшебною игрою облаков в небе, сиявшем звездами и озаренном высоко поднявшеюся луною. Облака сталкивались и клубились в хаотическом беспорядке и вели с луною непонятную игру; они то прятали ее за собою, то выпускали наружу и до бесконечности меняли свои капризные и таинственные очертания. Вот от этого хаоса отделилось пушистое облачко, и глаза ясно начинают различать в нем очертания ангела. Развеваются, как дым, его прозрачные одежды, два крыла вырастают у него за плечами, но луна, как бледный дух, вышла из-за полчищ облаков, точно из черной бездны, и, оставив их в тени, поплыла навстречу ангелу. Крылья его беспомощно упали, и он растаял, как видение. Полчища облаков заволновались и ринулись к луне, ринулись и стали превращаться в верблюдов, центавров, коней, сфинксов и небывалых чудовищ. Пониже вставали белые горы и давили их и создавали другие образы, неуловимые и таинственные, и, казалось, невидимая рука гениального, но безумного скульптора пыталась из целых гор мягкой, прозрачной глины вылепить гигантские и до ужаса странные и прекрасные образы разбушевавшейся творческой фантазии.

Аиша глубоко вздохнула, и вздох ее вывел Квитковскую из молчания.

— О чем это вы так чувствительно вздыхаете? — спросила она Аишу.

Та покраснела и не сразу ответила:

— Так... Ни о чем...

И опять наступило молчание.

На востоке уже занималась заря, и звезды побледнели, когда экипаж Квитковской подкатил к подъезду квартиры Цералова. Аиша поблагодарила Квитковскую и, простившись со своими спутниками, исчезла в дверях, оставив их вдвоем.

— Не правда ли, какая милая девушка? — нарушила молчание Квитковская, когда они отъехали значительное расстояние.

— Да, — ответил машинально Арасланов.

— Но, несмотря на ее возраст, совершенный ребенок.

Он ничего не ответил. Этот разговор казался ему странным, и молчание опять протянулось между ними.

Арасланов ощущал необходимость сказать и нужно было сказать многое, но как и с чего начать, — он не знал, и был очень доволен, когда лошади наконец остановились у ее квартиры, и она повторила ему почему-то по-французски:

— Итак, до завтра.

— До завтра, — ответил он.

— Мои лошади довезут вас до дома.

— Нет, я дойду, — отказался Арасланов и направился домой пешком.

Утро вставало над землею задумчивое и бледное. Те самые облака, которые так волшебным образом изменялись час тому назад, растянулись теперь унылой пеленой по всему небу и только на востоке слегка золотились от разгоравшейся утренней зари. Улицы были пустынно и тихо, и в воздухе висела та же задумчивая и унылая тишина. Где-то, в тон этой тихой задумчивости, пел соловей, но Арасланов не слушал его и медленно подвигался вперед. На соборной колокольне пробило два часа, и колокольные удары, протяжные и грустные, прокатились над городом и вызвали ответные удары с колоколен других церквей.

Уже подходя к калитке своей квартиры, Арасланов услышал позади себя стук экипажа, оглянувшись, неприят-

но нахмурил брови и поморщился: это Бессонов возвращался с своей прогулки. Поспешить уйти от него, скрыться, — Арасланову показалось детским малодушием, и он продолжал свой путь тем же шагом, уже более не оборачиваясь, но невольно прислушиваясь к тому, что делается позади него. Подходя к воротам, он услышал, как экипаж остановился и Бессонов крикнул извозчику:

— Завтра получишь.

Арасланов понял, что Бессонов торопится к нему, и прежде чем успел взяться за кольцо железной щеколды, почувствовал на своем плече руку Бессонова.

Арасланов обернулся.

Бессонов стоял перед ним с сдвинутой на затылок шляпой, из-под которой выбивались на высокий лоб его русые волосы. Глаза его были тусклы, лицо бледное, только на скулах пробивались красные пятна: очевидно, он был сильно выпивши, но по обыкновению твердо владел ногами.

— Я очень рад, что именно сейчас встретился с тобою, — обратился он к Арасланову, глядя на него в упор неподвижным взглядом.

— Почему же именно — сейчас?

— Почему сейчас?.. Гм... — промычал Бессонов, щуря глаза и как бы сомневаясь в естественности этого вопроса. — Потому что *in vino veritas*... Я, как видишь, выпил и хочу поговорить с тобою откровенно.

Бессонов желал казаться развязным, но сквозь эту развязность у него пробивалось смущение. Казалось, он нарочно многословил, чтобы этими словами ободрить себя.

— Судя по предисловию, ты или хочешь читать мне нравоучение или давать благоразумные советы, — кривя губы и глядя на него как-то вкось холодным и отталкивающим взглядом, резко возразил Арасланов.

— Нет, — искренне отвечал Бессонов. — Я просто хотел поговорить с тобою по душе, и ты напрасно так враждебно встречаешь это намерение. Сядем, — прибавил он, опускаясь на низенькую, стоявшую у ворот скамейку.

Арасланов неохотно присел поодаль.

Бессонов снял шляпу, провел рукою по волосам, как бы собираясь с мыслями, и, вытянув ноги и поглаживая их, устремил на Арасланова внимательный взгляд.

Арасланов нетерпеливо пожал плечами.

— Вот видишь ли, друг, — заговорил он тем мягким, задушевым тоном, который проникал в душу, — я очень тебя люблю и уважаю, и потому... боюсь за тебя.

Арасланов до сих пор всегда признавал себя сильнее Бессонова, чувствовал свое нравственное превосходство над ним, но на этот раз вместо того, чтобы дать Бессонову резкий отпор за его непрошенное вмешательство, он только и нашелся нерешительно сказать, опуская голову:

— Я не ребенок, чтобы опекать меня.

— Хуже: ты влюбленный!

— Пожалуйста, не применяй ко мне этого пошлого слова.

— Тем хуже, если любишь, а не влюблен. Надеюсь все-таки, что любовь эта не особенно глубоко вонзила в тебя свои когти и, пока есть время, ты должен бежать от нее, иначе она тебя погубит. Погубит! Клянусь тебе! — горячо повторил Бессонов. — Я тебя знаю. Ты — не я. Ты не привык относиться легко к таким чувствам, и потому мне вдвойне жаль тебя.

Арасланов окинул его холодным, насмешливым взглядом и отвернулся.

Бессонов поймал этот взгляд и, точно догадавшись о подозрениях Арасланова, покраснел и сказал:

— Не думаешь ли ты, что мною руководит здесь какое-нибудь, ну, хоть... мстительное или ревнивое, что ли, чувство? Молчишь?.. Значит — да! Ха-ха-ха... — разразился он вдруг натянутым смехом и, поднявшись со скамейки, сделал несколько шагов в сторону, но, остановившись перед Араслановым, заговорил с раздражением. — Ты так думаешь? Ну, я вот что тебе скажу на это... Я бы, пожалуй, этого не сказал, если бы ты меня не вызвал своими подозрениями... Я... понимаешь ли ты это... я близок был с этой женщиной и сам отказался от нее!

Арасланов вздрогнул и, негодующим взглядом окинув его с ног до головы, поднялся со скамейки.

— Стой! — повелительно остановил его Бессонов, силой сажая на скамейку и садясь сам. — Ты можешь, если тебе угодно, презирать меня за мою откровенность, но, во-первых, эта связь известна всему городу, не исключая ее мужа, рано или поздно ты сам услышишь об

этом; во-вторых, эта женщина от моей откровенности ничего не может потерять.

— Ну, и ты ничего не выиграешь! — злобно заметил Арасланов.

— Да нет же! Нет! Ты не хочешь понять меня! — в искреннем отчаянии воскликнул Бессонов, хватая его руку. — Клянусь тебе, что у меня нет здесь никаких низких побуждений... Повторяю тебе, что мне жаль тебя! Тебя! Ты себе представить не можешь, какая это дрянная женщина!

— Клевещешь ты! — не выдержал Арасланов и вырвал свою руку. — Клевещешь! Я не назову тебя подлецом, потому что отвергнутая любовь может превратить человека в дьявола, но я не верю ни одному твоему слову о ней! Не верю! Не даром она предупреждала меня о тебе и о сплетнях на ее счет... Теперь я все понимаю.

— Отвергнутая любовь! Предупреждала обо мне! — пораженный, бормотал Бессонов. — Ха-ха-ха... Ловко все предугадала... тонкая особа... Ха-ха-ха! Ну, хочешь веришь, хочешь ист... Доказательств моей связи с нею у меня не имеется.

Арасланов с торжествующим презрением усмехнулся.

— Да, не имеется. Она не из тех особ, что посылают своим любовникам страстные записочки или оставляют в их руках какие-нибудь вещественные доказательства. Ах, да все это не то! Не то! Все это вздор! Если бы еще у нее было что-нибудь похожее на истинное чувство любви — я бы ни звука не сказал тебе... Черт возьми, платись за любовь хоть жизнью, если это стоит того, но в данном случае о любви не может быть и речи. Для меня эта игра слишком ясна, и я не могу равнодушно видеть, как она опутывает тебя сетями, чтобы одурачить и потом отбросить как ветошь.

— Какими сетями? — процедил сквозь зубы Арасланов. — Какая игра? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Извини, но я предпочитаю об этом поговорить с тобой завтра или не говорить совсем, что еще лучше.

Однако он не ушел и после этой фразы. Его удерживало на месте болезненное желание услышать еще что-нибудь о ней и, как это ни странно, но слова Бессонова, возмущая его до глубины души, вместе с тем были непонятно близки ему.

— Напрасно! — возразил Бессонов. — Завтра ты от

меня не услышишь уже ничего подобного. Да я и по глазам твоим вижу, что ты не уйдешь, пока не выслушаешь все до конца. Так слушай же: я тебе открою глаза, и ты, может быть, образумишься и поймешь меня. Ты спрашиваешь: какая игра? А вот какая: ты думаешь, настоящий покупатель Кумыш-Камарской дачи Брызгалов. Как бы не так! Он только подставное лицо, ее агент. Земля покупается Ариадной Владимировной Квитковской за... Ну, — словом, моя жена хорошо выразилась, что он сразу делает две покупки.

— Молчи!

— Нет. Слушай. Помнишь, я тебе в первый же день нашей встречи упомянул о том, что она превосходно изучила правило процентов. Я тогда и намекал на эту именно покупку. Она из тебя хочет сделать Иуду, предателя своего народа, а потом вышвырнет за борт. Понимаешь, какая игра? Понимаешь? — с злорадным торжеством спрашивал его Бессонов, вставая со скамьи и наклоня к его глазам свои глаза.

Вдруг он отшатнулся назад от Арасланова и остановил на нем испуганный неподвижный взгляд.

Лицо Арасланова было искажено невыразимым страданием. Глаза сразу ушли глубоко в орбиты и светились отчаянием... Губы нервно вздрагивали и перекашивались. Он замер на месте, точно ошеломленный ударом, затем стиснул обеими руками голову, закрыл на мгновение глаза и просидел в таком положении минуты две.

Бессонов попал в его больное место, и он готов был растерзать его за это открытие. То, что светилось для него только смутным подозрением, Бессонов заявил как факт.

Нет, этого не может быть!

Арасланов медленно поднялся с места и, вонзившись горячими глазами в Бессонова, хрипя и пропуская каждое слово сквозь зубы, заговорил:

— Я люблю эту женщину. Люблю! И если ты солгал — я задушю тебя.

И, точно употребляя страшные усилия, чтобы тут же не броситься на него, он медленно свел кольцом руки, так сжал пальцы, что они хрустнули, и, в изнеможении закинув назад голову, как в бреду пошел от него прочь. Последние следы хмеля разом вылетели у Бессонова из головы. Он онемел от неожиданности и долго стоял на

месте, не шевелясь и глядя вслед удалявшейся разбитой походкой фигуре товарища. Когда же Арасланов исчез за углом улицы, он хотел броситься ему вслед, но только крикнул от досады. Ему стало жаль Арасланова, и он жестоко раскаивался в своей опрометчивой и непрошенной откровенности. Напрасно он пытался успокоить себя тем, что только исполнил свой долг, это успокоение мало помогало и, переступая порог своего дома, он беспощадно выругал себя и с досадой закончил:

— А все коньяк проклятый. Сколько раз ведь давал себе слово не пить. Этакое свинство!

Арасланов медленно подвигался по сонной улице, чувствуя, что в груди его налетевшая буря произвела страшный переполох и переплела мысли и чувства в такой узел, который ему нечего было и думать распутать в его настоящем положении. Казалось, целый легион каких-то живых существ поселился в его сердце и в мозгу, и между ними происходит нескончаемая смертельная схватка. Напрасно Арасланов хотел уцепиться за какую-нибудь нить, чтобы распутать этот узел — ему все попадали какие-то концы, которые обрывались, лишь только он за них хватался. Одним из таких обрывков — была брошенная Бессоновым фраза: «Она из тебя хочет сделать Иуду». «Лжет он!» хотелось крикнуть Арасланову, но он не смел этого сделать, потому что у него нехватало уверенности, и это так мучило его, что он страстно желал лишиться сознания, заболеть, чтобы хоть на время освободиться из-под гнета этих безвыходных противоречий, отдохнуть и тогда выяснить все беспристрастно.

Арасланов разговаривал сам с собою и порою оживленно жестикулировал, то хватаясь за голову, то в отчаянии ломая руки.

Но улицы были все еще сонны и пусты. Из открытого окна телеграфной конторы выглянуло заспанное лицо угреватого длинноносого телеграфиста, да на вышке полицейской каланчи, как автомат, мерно кружился пожарный. Только на площади, около мечети, было некоторое движение. Стройный зеленый минарет ее легко и грациозно вырезался на покрасневшем фоне неба, и голос муэдзина нараспев повторил:

— Эсселяту хайрун минен нев.

Несколько седых мусульман в белых чалмах и разноцветных халатах, с посохами в руках торжественно, важно и медленно шли по направлению к мечети. Арасланов при виде их очнулся от своего напряженного настроения и удивленный глядел на эту картину.

Он уже забыл, когда был в мечети. Вращаясь в столице среди чужих ему по религии и совсем неверующих людей, он сам стал совершенно равнодушно относиться к ней, но вера в нем не умерла еще, она жила где-то в глубине души, и налетевшая буря вынесла ее теперь на поверхность. Арасланов последовал в мечеть за другими правоверными, из которых только двое, помоложе, обратили внимание на его европейский костюм, и, сняв обувь в преддверии мечети, вошел в огромную совсем пустую комнату с высокими окнами, в которые падал бледный утренний свет и бросал на каменные плиты пола длинные переплеты рам.

Голос седого ахуна мягко раздавался под сводами... Благоговейная тишина обняла Арасланова, и он вместе с муллой повторял про себя священный стих корана:

«Веруйте в бога и его апостола и в свет, который бог послал вам. Бог ведает о всех ваших действиях. Никакая беда не коснется человека без соизволения божия, бог направит сердце того, кто уверует в него. Бог видит все».

Долго ли простоял Арасланов на молитве, — он не знал, но он молился с глубоким, внезапно проснувшимся в нем благоговением и вышел из мечети значительно успокоенный этою молитвою, готовый верить в то, что судьба его — во власти неба.

Он явился домой совсем утром. Обстоятельства благоприятствовали ему: все спали в доме, и, пройдя к себе в мезонин, измученный пережитым, он бросился в постель и проспал до самого вечера.

Вспомнив ночную сцену, Андрей Михайлович, тоже проснувшись довольно поздно, ужаснулся и не выдержал, чтобы не покаяться в этом перед Варварой Михайловной, но, к удивлению, она довольно холодно встретила его покаяние. Бессонов объяснил себе эту холодность тем, что она сердится на него за вчерашнюю отлучку, но был убежден, что это, по обыкновению, забудется, как забывались тысячи подобных мелочей, и взглянул на ее холодность очень легко. Его гораздо более беспокоила

предстоящая встреча с Араслановым. Не показываться ему на глаза было бы еще хуже... Самое лучшее притвориться, как будто бы на самом деле ничего не было.

Это был самый естественный выход из затруднительного положения, но ожидание этой встречи все же очень его беспокоило.

Настало время обеда, а Арасланов все еще спал. Хозяева пообедали без него. Когда же и к вечернему чаю Арасланов не сошел вниз, Андрей Михайлович стал не на шутку беспокоиться за него, и самые нелепые мысли полезли ему в голову. Он не выдержал и отправился к Арасланову наверх.

Арасланов только что очнулся и, заложив руки за голову, неподвижно лежа на спине, повел глазами к Бессонову, который на цыпочках входил в дверь. При виде его он сразу вспомнил все происшедшее накануне, но оно показалось ему таким неправдоподобным и далеким, что в первое мгновение он готов был сомневаться в его реальности.

Это помогло ему без особенного притворства встретить Бессонова, согласно тайному желанию того. Бессонов сразу понял это, и между ними установилось немое соглашение до поры до времени считать ночную сцену несуществовавшей.

— Сколько времени? — спросил Арасланов приятеля.

— А как ты думаешь? — притворно лукаво задал тот ему, в свою очередь, вопрос и, не дождавшись ответа, объявил. — Восемь часов, да не утра, а вечера. Ты спал не больше, не меньше как двенадцать часов. Ха-ха-ха... — рассмеялся он коротким принужденным смехом.

— Восемь часов... Спал двенадцать часов! — ужаснулся Арасланов и, быстро вскочив с постели, стал одеваться.

— Чего же так испугался? — задал ему Андрей Михайлович опрометчивый вопрос, но тотчас же сконфузился и постарался замаять его, бормоча что-то относительно обеда и чая.

Арасланов тоже покраснел, и обоим начало комедии притворства показалось донельзя нелепым и противным.

Бессонов первый поспешил прекратить ее, оставив Арасланова одеваться, а сам сбежал вниз, чтобы распорядиться для него обедом.

Через четверть часа Арасланов тоже сошел вниз и по

глазам Варвары Михайловны, которые боялись встречаться с его глазами, сразу понял, что она также все знает. Мало того, ему казалось, что они даже догадываются, куда он пойдет через час, но он говорил о самых незначительных вещах и выслушивал самые незначительные вещи. Между прочим Варвара Михайловна сообщила, что на той неделе участвует в спектакле и, когда Бессонов, пораженный этим, заметил: — Не худо было бы спросить меня на этот счет, — она совершенно равнодушно возразила: «Ты уже давно не спрашиваешь меня ни о чем».

Он с притворною небрежностью улыбнулся и заявил: — Как знаешь, это твое дело.

Взаимная ложь и притворство были для всех троих чересчур ясны и натянуты, и однако они продолжали притворствовать и лгать.

С бьющимся сердцем, но с сурово сосредоточенным лицом вступил Арасланов в темные аллеи пустынного парка, невольно замедляя шаги по мере приближения к месту условного свидания. Он совершенно ясно наметил себе неизбежные вопросы, на которые она должна будет дать прямой ответ, если действительно любит его: первый вопрос, вопрос самой огромной важности: как она смотрит на завязавшиеся между ними отношения? Слово «люблю», сказанное ею вчера, не выходило у Арасланова из головы, и это слово казалось ему надежным залогом его будущего счастья. Ни разница религии, ни отсутствие свободы, ничто, как бы все это ни было значительно, громадно, — ничто не могло устоять в его воображении в борьбе с этим всепобеждающим словом. Разве мало людей, живущих вне брака и счастливых своим чувством. Если ее чувство так же сильно и глубоко, как его, она должна оттолкнуть эти препятствия и протянуть ему руку на вольный и вечный союз. Его обет не стеснять своей свободы браком или, что все едино для него, подобною связью представлялся ему теперь совершенно неестественным, так как он ясно сознавал в эти минуты, что близость любимого существа удесятерит его силы и поможет сдвинуть целые горы. Понятно, что при осуществлении этой надежды все остальные сомнения и подозрительные мысли, жившие в нем прежде и вну-

шенные Бессоновым, разрушались сами собою. А как же может быть иначе?

Но чем ближе Арасланов подвигался к ней, тем несуществимее казались ему эти надежды, тем страшнее вырастали препятствия и наконец приняли такие чудовищные размеры, что мечты его показались ему ребяческим бредом, и он с ужасом останавливался на каждом шагу, готовый без оглядки бежать, бежать, как советовал ему Бессонов. Но бежать было уже поздно и, кусая от волнения губы, он шел туда, где сквозь темную зелень деревьев белели стены старого собора.

Квитковская пришла на место свидания первая. В глубине темного запущенного парка ей становилось жутко одной, как в давно прошедшие годы, когда она бегала сюда на свидание с гимназистами. Она с нетерпением поглядывала на обе стороны аллеи, прячась от лунного света, который, прорезая кое-где вершины деревьев, бросал на дорожку узорчатые тени. На соборной колокольне пробило десять ударов, а его все еще не было. Она начинала испытывать беспокойство, как вдруг увидела в глубине аллеи фигуру, то выступавшую в полосу лунного света, то скрывавшуюся в темноте. Она сразу узнала его и смело двинулась к нему навстречу.

— Наконец-то! — страстным шепотом встретила она Арасланова. — Я давно тебя жду.

Эта встреча, это «ты» показались ему так отрадны, что он испуганно ответил:

— А разве я опоздал?

— Он еще спрашивает. Разумеется!

Но он не мог себе представить, что шел парком почти час, погруженный в свои размышления, подолгу останавливаясь на одном и том же месте.

— Дело не в том, — продолжала она, овладевая его рукою. — Я очень рада, что ты пришел.

— Да разве я мог не прийти! — ответил он скорее самому себе, чем ей, чувствуя, как с ее прикосновением, с ее близостью его снова охватывает неукротимое, страстное чувство.

— Милый! — прошептала она, повернув к нему голову и прижимаясь грудью к его руке.

У Арасланова подкашивались ноги. Он хотел опуститься на ближайшую скамейку, до половины освещенную луною, но она остановила его:

— Нет, не здесь. Здесь светло, да и скамейка только что выкрашена, — прибавила она, потрогав пальцем зеленую свежую краску, блестящую при луне.

И повела его к другой скамье, совершенно затерянной в темноте.

Ее замечания о краске и о свете несколько отрезвили его. Он вспомнил, с каким намерением шел сюда, и, торопясь высказаться, прежде чем позволить снова овладеть собою этому враждебному стихийному чувству, опустил ся возле нее на скамью и твердо проговорил:

— Я хотел объясниться с тобой серьезно,

Это вступление ее несколько встревожило. Мелькнуло подозрение, что Бессонов открыл ему об ее участии в покупке земли. Другой догадки ей не могло прийти в голову: она считала Арасланова за человека настолько благоразумного, что не могла допустить ничего подобного тому, что замышлял он. Поэтому на его внушительные слова она ответила с деланной беспечностью:

— А разве между нами есть что-нибудь неясное? Мне, по крайней мере, все ясно: я люблю тебя, ты — меня. Ведь любишь? — не давая ему опомниться, произнесла она, заглядывая в его глаза и приближая свое лицо к его лицу.

Он различал во мраке почти у своих губ ее губы, ждавшие поцелуя. Ее «люблю», отлетевшее из этих губ, легко, как аромат от цветка, хлынуло ему в голову. Он еще хотел бороться с собою и только что вознамерился потребовать от нее решительного ответа на свой вопрос, как почувствовал ее губы на своих губах и услышал из них вместо всяких объяснений только одно слово:

— Милый!

Больше он ничего уже не желал, кроме того, чтобы эти губы не отрывались никогда от его губ.

Донн... гулко сорвался удар с соборной колокольни, и в этом звоне было что-то грустное и похоронное. Колокол ныл и плакал, и его одиннадцать ударов показались обоим бесконечными.

Квитковская, пересчитав их, быстро поднялась со скамьи, и еще звон последнего удара плавал в вышине, постепенно стихая, как она испуганно заторопилась:

— Боже мой! Одиннадцать часов. Скорее проводи меня до извозчика. Сегодня муж дома, и я обещала уйти

всего на несколько минут к Свинцовым. Завтра увидимся вечером... у меня...

Эта быстрая речь, это упоминание о муже и опять-таки ложь, неизбежная ложь были так далеки от его настоящих ощущений, что он, представив себе все это, нахмурил брови на ее последнюю фразу, ответил:

— Нет, завтра мы не увидимся. Я уеду.

— Куда? — изумилась она.

— По делу, в деревню.

— Ну вот и уезжаешь. Неужели нельзя для меня остаться на несколько дней.

Он вспомнил вчерашние разоблачения Бессонова и, желая испытать ее, ответил:

— Вот видишь ли, хотя я и считаю это дело выигранным, но не могу быть спокоен, пока успех не подтвердится законом. Это будет очень скоро. На той неделе член крестьянского присутствия прибудет туда, и тогда подложность приговора подтвердится на сходе. Брызгалов — это его рук дело! — сообразил, что может его проиграть и повел опять свою грязную игру. Я боюсь, что он воспользуется моим отсутствием и может опять наделать мерзостей. Ах, если бы ты знала, какое это грязное дело! Целую тысячу людей хотят пустить по миру, для этого не брезгают никакими средствами. Никакими низостями! О, я им покажу! Я им покажу! — со стиснутыми кулаками угрожал он своим врагам, в то же время наблюдая за впечатлением, какое производят на нее его слова.

Но эта трогательная и грозная филиппика несколько не взволновала и не растрогала Квитковскую; хотя она внутренне и восхищалась его благородством, но вынесла из всего этого только одно убеждение, что ей во что бы то ни стало следует удержать его здесь эти несколько дней, чтобы Брызгалов успел сделать там свое дело.

— Но ведь ты утром мне говорил, что уверен в успехе? — наивно возразила она.

— Да, уверен, но...

— Без всяких «но»... Значит, ты просто хочешь уехать от меня!

— Как ты можешь думать это!

— Разумеется... Значит, это дело тебе дороже меня.

Он испытующе посмотрел в ее лицо, но не сказал ни слова.

— Ну, что же, поезжай, — опуская на лицо вуаль, говорила она. — Поезжай. А я надеялась, что ты завтра проведешь вечер со мною. Муж уезжает на охоту, и я буду одна.

Арасланов вспомнил, что сегодня ничего не было сказано и что завтра он мог бы воспользоваться этим вечером, чтобы объяснить. Соблазн был так велик, что он закрыл глаза и недолго боролся.

— Хорошо. На завтра я останусь. Один день не может иметь никакого значения, но послезавтра уеду непременно, — вырвалось у него.

— О, милый мой! Я не хочу, чтобы ты мучился. Лучше поезжай. А то после ты будешь обвинять меня, если...

— Нет... нет... — принимая эти слова ее за чистую монету, остановил ее Арасланов. — Это пустяки. Так нужно.

— Ну... мерсі. Так до завтра. А пока — adieu. Милый! — опять шепнула она свое любимое слово, стискивая руку Арасланова. — Нет, не провожай меня. Тут близко извозчики. Я дойду одна, а то могут заметить.

Она слегка оттолкнула его руку, быстро отделилась от него и легкою походкою направилась в сторону.

Арасланов с минуту стоял неподвижно. Но вот он закрыл лицо руками и простонал;

— Ах, все это не то! Не то!

Деловой, последовательный и рассудительный до сего времени человек чувствовал себя ребенком, которого из знакомой комнаты темною ночью вывели в лес и оставили там на произвол судьбы.

IX

Через два дня после отъезда Арасланова в Кумыш-Камаре был объявлен сабантуй *. Трое выбранных башкир с огромными шестами переходили из двора во двор за подарками, и шесты украшались шитыми полотенцами, разноцветными тряпочками, платками и пестрыми материями на кульмяки. Старшина подарил яркий халат, а писарь — целковый денег. Весть о сабантуе раз-

* Два слова: сабан — соха; туй — пир. В прежнее время сабантуй справлялся перед выходом на кочевку и началом полевых работ.

неслась далеко кругом. Дошла она и до Брызгалова, и он обещал непременно быть с мировым посредником Рогаткиным. Это известие взволновало деревню. Мулла, Сулейман и другие враги Брызгалова неодобрительно покачивали головами; но отказать гостю в приеме не позволял обычай.

В день сабантуя в Кумыш-Камаре был базар. Уж судя по тому, что некоторые телеги приезжали накануне, можно было предсказать большой съезд и, действительно, с зарею по всем дорогам в Кумыш-Камар потянулись телеги, пустые и нагруженные, пестревшие яркими уборам сидевших в них гостей и серебром женских головных украшений. Всадники медленно ехали на конях, приберегая их для предстоящей скачки. У парома теснились десятки телег, ожидая своей очереди, и стоял непрерывный гам и шум.

Перед началом сабантуя старики молились в мечети, а выборные с шестами, украшенными подарками, обходили базар и собирали дань с гостей. Базар был огромный: съехалось около пятисот телег, и в воздухе стоял напряженный и радостный гул.

Каждая деревня явилась со своими батырами и конями. Их победы составляли гордость деревень, и башкиры дорожили ими. Батыров досыта кормили бараниной и поили кумысом, а коням давали вволю овса.

Погода выдалась ясная. Небо, казалось, блестело от солнца. Из трубы каждой, даже бедной, избы вился дымок; в каждом дворе были гости.

После полудня на холм водрузили шесты с развевающимися по ветру тканями, и народ, точно живая река, с базара стал передвигаться туда. Женщины по обычаю располагались отдельную группую направо и затевали свои бедные, скучные игры; им только издали можно было любоваться скачками, борьбу они не могли видеть, потому что батыры были скрыты от них сплошной стеною народа, расположившегося огромным кругом. В переднем ряду этого круга сидели судьи с подарками в руках, на шее и вокруг пояса, а также почетные гости. К числу последних принадлежали старшина Басимов, или попросту Басимка, как звали его башкиры, черномазый скуластый башкир в синем бумазейном халате и больших кожаных калошах, и волостной писарь, важно развалившийся на траве с мешочком крашенных в

фуксине пряников и орехов. Это был маленького роста рыжий человек с потным веснушчатым лицом, такими же руками и с гнилыми зубами. Он говорил бойко по-башкирски гнусавым голосом и то и дело вертел головой в огромной соломенной шляпе, очевидно, кого-то ожидая.

Борьбу начали лет семи мальчуганы. Писарь властно рукою важно бросил им пригоршню пряников и насторожился, как лисица; вдали послышался перезвон бубенцов. Старшина тоже поднял голову.

— Василь Парфеныч едут, — сообщил писарь, поднимаясь на ноги, — и с Аркадь Дмитричем.

Старшина утвердительно кивнул головой и тоже встал.

Брызгалов с мировым посредником Рогаткиным, на тройке с наборной сбруей, с толстым широкобородым кучером подкатил к холму и выпрыгнул из коляски. За ним вышел Рогаткин.

В высоких лаковых сапогах, в поддевке и с расшитой шелком красной шелковой рубахе, подпоясанной крученым с кистями поясом, Брызгалов был много интереснее, чем в немецком костюме. Эта одежда изменяла не только его наружность, но и манеры, которые приобрели большую непринужденность и размашистость; он выглядел красивым русским купцом, и мировой посредник, в фуражке с кокардой, с брюзгливым землистого цвета лицом, на выдающейся нижней челюсти которого торчала реденькая бородка, совершенно уничтожался перед ним.

Народ с поклонами расступался перед начальством.

— Арума! Арума! — приветливо здоровался Брызгалов с башкирами, пожимая знакомым руки и непринужденно перебрасываясь с ними башкирскою речью. — Что, уж начался сабантуй?

— Малайки борются, — отвечали ему, пропуская важных гостей вперед.

— А скачек еще не было?

— Нет.

— Много лошадей будут скакать?

— Лошадей двадцать. Вон малайки заезжают, — указали ему на целую кавалькаду крошечных ребятшек верхом на неоседланных конях, медленно удавлявшихся с холма.

— Сколько верст будет скачка?

— Верст десять. От казенного леса.

— Это, вон, кажется, лошадь Шейх-Аль-Ислама? — указал он на гнедую стройную кобылу, легко переставлявшую тонкие ноги.

— Она.

— В прошлом году она приз взяла. Кто на ней?

— Ахмет-Гота. Только нынче другая лошадь возьмет. Вон серый молодой жеребец Шангирея. На ней Мухамедзян скачет.

— Держу за Ахмета пять целковых! — вызывающе обратился Брызгалов к Рогаткину.

— Ну, а я за... как его, Мухабезьяна, что ли...

— Мухабезьяна. Ладно! — ударил по рукам Брызгалов.

— Сюда, сюда пожалуйста, — прогнусавил писарь, почтительно снимая перед гостями шляпу и обнажая свою лысую голову. Старшина также подобострастно изогнулся и разостлал им на траве узорчатую кошму.

Брызгалов окинул взглядом толпу, и по лицам многих догадался, что его встречают недоброжелательно.

На широкой арене вместо мальчишек теперь боролись уже подростки, перекинув за спины кушаки и стараясь перебросить через себя противника.

— А, Сулейман, здравствуй! — дружелюбно обратился Брызгалов к Сулейману, сидевшему впереди, среди стариков-судей. — Как поживаешь?

— Живем, — сдержанно ответил Сулейман.

— Здравствуй, Шейх-и! — поздоровался он и с другим стариком с выбритой вдумчивой физиономией.

— Мое почтение, — протягивая Брызгалову руку, довольно чисто выговорил по-русски, выдвигаясь с боку, широкомордый черный, с плутовскими глазами низенький башкир, похожий на обезьяну. Это был карак-вор, известный всем конокрад Якупка.

— Здравствуй, — сухо ответил Брызгалов, как бы не замечая поданной ему руки и опять обращаясь к старикам:

— Ну что, в исправности получили свою скотину?

— Спасибо... В исправности.

— Это мои дураки насвоевольничали, — продолжал Брызгалов. — Ну, да им за это и влетело же.

Ему ничего не ответили.

«Гм... плохо дело...», подумал Брызгалов, бросая мно-

гозначительный взгляд на посредника, который никак не мог усесться на кошме. И вдруг, точно спохватившись, Брызгалов осудил себя громко:

— Ах, да! Что же это я, приехал на праздник и без угощения. Эй, кто распорядитель?

Распорядитель вышел к нему.

Брызгалов размашистым жестом достал и развернул бумажник и, вынув оттуда две красненьких, небрежно передал ему.

В толпе пробежал шепот. Многие недовольно нахмурились, но большинство приняло этот огромный подарок с восторгом. На борцов, катавшихся по земле, никто не обращал внимания.

— Какая нелепая борьба! — брюзгливо заметил посредник. — У них победитель тот, кто внизу, а не тот, кто наверху.

— Да ведь они стараются перебросить через себя, — возразил Брызгалов, обращая внимание на арену.

На ней стоял победитель: черный худощавый малый лет семнадцати, в чулках, в старом бешмете и бараньей шапке. Он ожидал противника. Выступивший противник казался гораздо старше и здоровее на вид. Они поздоровались друг с другом, серьезно перебросив за спины кушаки, и плечом к плечу, головой к голове схватились бороться.

Брызгалов любил физические упражнения, и это зрелище отвлекало его от посторонних соображений. Он стал внимательно следить за борцами.

Борцы ходили по арене, широко расставляя ноги, выгибая здоровые спины, перетянутые кушаками. Победитель слегка приподнял противника, тот, в свою очередь, приподнял его, и они запрыгали по траве. Толпа заволновалась, и деньги Брызгалова были забыты. Два-три усилия с той и с другой стороны, — худощавый ударился оземь, и в тот же самый миг противник покатился через него в сторону.

— Ярар! Ярар! — зашумела толпа. — Нурей — батыр, Нурей...

— Иок! Кирек тагы! Надо снова.

— Ярар! Ярар! — кричало большинство, махая руками.

Побежденный подобрал скатившуюся во время борьбы тюбетейку и удалился в круг. Распорядитель подал

победившему платок. Он с молитвой утерся им и бросил платок своему товарищу, у которого уже хранились две тряпочки, — трофеи предыдущих побед.

На смену побежденному вышел другой борец, еще старше и еще здоровее на вид. Он победил и получил полотенце, но, в свою очередь, сразу был побежден новым противником. Но это было только вступление к настоящей борьбе. Самые сильные батыры еще только готовились бороться.

С каждой новой схваткой оживление толпы росло все больше и больше. Крики становились громче. Споры — напряженнее. Брызгалов, увлеченный этим стихийным настроением, следил жадно за каждой борьбой и также кричал и бросал серебряные монеты. Даже посредник забыл о неудобствах сидения и сквозь очки внимательно наблюдал зрелище. Но вот дело дошло до батыров. На арене теперь стоял победитель огромного роста здоровый рябой и кривоглазый башкир — Гассан из Дюртюлей. Бросив своим второе полотенце, он покручивал в руках кушак и дожидался противника.

— Казбек-Шейх-и: Казбек-Шейх-и — раздалось настойчиво в толпе, и на вызов вышел, переминаясь с ноги на ногу и застенчиво поглядывая на Гассана, Казбек, сын Шейх-Аль-Ислама. Это был точно вылитый из чугуна, невысокого роста, лет двадцати двух парень, с круглым безбородым загорелым лицом и широкою грудью. Борцы схватились. Самые славные борцы на двадцать верст в окружности.

Толпа жадно впиалась в них глазами, следя за каждым их движением, за каждым усилием. Противники долго ходили по арене, тяжело ступая с ноги на ногу, пыхтя и обливаясь потом. Три раза они оба вместе падали на траву, три раза в толпе поднимался взрыв криков, но силы противников были почти равны. Одни были уверены в Гассане, другие — в Казбеке.

Нетерпение в толпе возрастало. Оно передалось борцам, и они начали живее поворачивать друг друга. Толпа повторяла каждое их движение и, как они, стискивала зубы.

— Смелее, Казбек, смелее! — вырывалось у одних.

— Понатужься, Гассан! Понатужься! — умоляли другие.

Казбек подставил противнику ногу, слегка приподнял его, тряхнул раза два, ударился оземь, и рябой великан покатился через него в сторону.

Взрыв радостного смеха, криков и восторга приветствовал батыра.

— Кульяк ему! Кульяк! — кричала сотня голосов, но судьи и без этих криков с одобрительными приветствиями подали ему пестрый кульяк. Батыр поблагодарил их, утер красное вспотевшее лицо и бросил кульяк своим.

Брызгалов разгорячился: глаза его блестели. Он то вскакивал, то садился. Бросив батыру несколько серебряных монет, он с досадою увидел, что противника ему не выискивалось. Если бы не боязнь уронить свое достоинство, — он бы сам выступил против него.

— Что же, все боятся схватиться с Казбеком? — крикнул он и, окинув взглядом гудевшую толпу, увидел сзади своего кучера. Глаза его блеснули.

— Матвей! — крикнул он. — Гайда! Покажи-ка русскую силу! Пять целковых победителю! — в азарте вывралось у него.

— Урсак не сумеет по-нашему! — раздались протестующие голоса.

— Не велика хитрость! — улыбаясь в бороду, заявил урсак.

— Пусть идет! — согласился Казбек.

Матвей вышел на арену. Широкоплечий и широкогрудый, он был головой выше противника. Подчиняясь правилу, он снял с себя длинные смазанные сапоги и схватился с башкиром. Его широкая русая борода ложилась Казбеку на спину и неприятно щекотала его. Шум замолк. Все недовольно следили за борющимися. Вот Матвей слегка приподнял за кушак борца, но тот, как тумба, тотчас же встал на ноги и привычным движением потянул на себя кучера. Тот сообразил его уловку, отпустил слегка кушак, но лишь только противник его хлопнулся о землю, он сделал огромное усилие и перебросил его через себя.

— Молодец, Матвей! — в восторге крикнул Брызгалов. — Лови!

И пятирублевая бумажка полетела кучеру.

Толпа опять зашумела. Требовали повторения, но Казбек чересчур устал и отказался. На лицах башкир

показалось уныние. Матвей хвастливо вызывал противников, но никто после батыра идти не решился.

— Столько же, кто победит Матвея! — разошелся Брызгалов. — Ага! Видно, с русскими неумоготу тягаться! — засмеялся он, торжествуя победу.

Но тут из задних рядов силою выперли седого старика. Он был высок ростом, но сутуловат, сух и костляв, так что старый, кое-где протершийся бешмет висел на нем, как на вешалке. Его длинные, как у обезьяны, жилистые руки нескладно мотались почти до колен. Подслеповатые, с красными веками глаза растерянно мигали. Старик упирался, но Сулейман вскочил на ноги и чуть не со слезами стал умолять его принять вызов. К Сулейману присоединились и другие.

— Я стар стал. Силы уже мало, — отговаривался старик.

— Иди, иди, Шагибудтин. Не дай посрамить нас рукаву! — умоляли старика со всех сторон.

Тогда Шагибудтин добродушно улыбнулся, взял поданный ему пояс, попробовал его крепость и вышел на борьбу, не глядя на противника.

Но Матвей смерил его насмешливым взглядом и победоносно-хвастливо кивнул Брызгалову. Тот одобрительно подмигнул ему в ответ.

Пояса перекинули. Противники схватились, и началась борьба. Матвей сразу почувствовал, что руки старика, точно железное кольцо, врезались ему в тело. Он напряг усилие... кушак затрещал, и старик как будто подался... Матвей давил его изо всех сил... Уже впереди мелькнула ему другая пятирублевка, старик упал на одно колено... Толпа дрогнула, но в этот миг произошло что-то необычайное.

— Саклан! Берегись! — крикнул старик.

Костлявые руки его выпрямились, точно стальные пружины, и тело Матвея завертелось над головами сидящих и, просвистав в воздухе, грохнулось за кругом.

Точно буря налетела на лес. — Га-га-га-га!.. — вырвался торжествующий рев толпы. Все заволновалось, зашумело и смешалось. Круг был разрушен. Все бросились к старику. Брызгалов швырнул ему деньги и, побледнев, кинулся к Матвею. Тот лежал, раскинув руки, и на губах у него алела кровь.

— Убили! — взвизгнул мировой посредник.

— Нисяво. Отойдет, — насмешливо заметил кто-то.

На Матвея брызнули водой. Он, тяжело дыша, с трудом поднялся с земли и, выплюнув полный рот крови, успокоил Брызгалова, одобрительно проворчав:

— Ну и здоров же, собака!

Победитель сидел на траве среди толпы и, с гордостью приняв полученный кульмяк, вытащил из кармана целую грудку тряпочек, платков и вышивок, показывал их окружающим, рассказывая о былых победах, оживших в его старческой памяти.

Солнце весело освещало живописные группы народа, шумевшего и двигавшегося по степи.

Вдруг толпа еще сильнее заволновалась, как вода, в которую упал большой камень. Заволновалась и хлынула в сторону, толкаясь и перегоняя друг друга, туда, где распорядитель махал шестом с привязанными тканями.

— Это еще что такое? — недовольно воскликнул посредник.

— Лошади скачут! — торопливо сообщил Брызгалов и бросился со всех ног за толпой.

Мимо посредника пробежало несколько человек. Он завертелся на месте и, не выдержав, также бросился вперед.

Вдали, точно черные птицы, выделяясь на синем фоне неба, увеличиваясь с каждым мгновением, скакали несколько лошадей. Толпа жадно впиалась глазами в эти черные точки и, не глядя друг на друга, размахивая руками, горячо и страстно спорила.

«Ну, что они могут видеть там? — задыхаясь от непривычного бега и напрягая сквозь очки золотушные глаза, с досадою думал посредник. — Какое-то темное пятно и больше ничего!»

Однако пятно в его глазах дрожало, росло и делилось на несколько черных пятен.

— Ахмет-Гота!

— Мухамедзян!

Вывались громкие восклицания. Теперь посреднику лошади представлялись величиною с зайцев. Эти зайцы прыгали вразброд, но, как он ни силился, не мог разобрать: кто впереди, кто позади.

Волны народа шумели вокруг него и перебегали с места на место, чтобы лучше видеть, с возбужденными и

красными лицами. Всадники на мгновение скрылись за холмом и опять появились совсем уже на виду. Две лошади скакали рядом прямо к шесту. Одна была гнедая, другая — серая. Толпа буквально неистовствовала, но посредник уже ничего не слышал и кричал что-то. Несколько всадников с гиканьем вырвались из толпы и помчались им навстречу, чтобы подгонять лошадей, которым они сочувствовали. Уж лошади не более как в полутора версте от цели. Впереди Ахмет-Гота и Мухамедзян с головами, повязанными платками, чтобы ветер не надул в уши во время бешеной скачки.

— Го-го-го-го, — ревет толпа. — Гота! Гота! — вырвались крики.

Гнедая на целый корпус ушла вперед.

— Ахмет-Гота! — прокатились голоса издали до стоящих позади, и не успели еще те услышать их, как гнедая лошадь, вытянувшись в струну, с бешено визжавшим и колотившим ее руками и ногами семилетним всадником, как вихрь, пролетела мимо обезумевшей от восторга толпы, которая всхлипывала от прилива дикой страсти и так же неистово, как сам наездник, гикала на лошадь, топала ногами и размахивала руками, пуская в нее шапки, тюбетейки и калоши.

Ахмет-Гота первый подскакал к шесту, на всем скаку сорвал с шеста предназначенный первой лошади халат и стал сдерживать без удержу разгоряченного коня.

За ним, сопровождаемый такими же точно криками и гиканьем, проскакал Мухамедзян и схватил второй приз — золотенце. Остальные далеко отстали позади. Забыв свою солидность и положение, посредник также шумел и размахивал руками.

— Проиграли! Проиграли, Василь Парфеныч! — громко и весело крикнул около самого его уха Брызгалов.

Посредник опомнился и сконфуженный, что его застали в таком состоянии, покраснел, как рак.

— Что проиграл? Как проиграл? — растерянно забормотал он, поправляя съехавшие с носа очки и вытирая вспотевшее и разгоряченное лицо платком.

— Да ведь Ахмет-Гота взял приз!

— А-а! — вспомнил посредник.

Запоздавшие лошади, сопровождаемые свистками,

шikanьем и смехом, прокатили мимо, и толпа бросилась за ними, едва не сбив с ног русских гостей.

Рогаткину гораздо больше, чем борьба, понравились скачки. Физическую силу он почти презирал, но искусство ценил по достоинству.

— Что же будет еще интересного? — спросил он у Брызгалова.

— Бега. Скоро ли будут бегуны? — спросил Брызгалов по-башкирски малайку, созерцавшего с разинутым ртом кучу брелоков на цепочке, извивавшейся по левому борту его поддевки.

— Нет, еще не скоро, только пошли.

— Ну, так чтобы не тратить драгоценного времени, пойдемте к дамам, — насмешливо предложил Брызгалов, указывая глазами на группу женщин, которые, пестря уборами и сверкая на солнце серебром своих калябашей, двигались точно живой цветник.

— Да ведь среди них, кажется, совсем нет хорошеньких, — оскалил Рогаткин свои гнилые зеленые зубы.

— Ну, не скажите! — повел бровями Брызгалов. — Дочка местного муллы, например, положительно красавица. Я видел ее в прошлом году, и имя такое поэтическое — Лейли-Зямал. Дичок только, да они все дикие.

Они отправились к женщинам, запасшись по дороге пряниками и орехами для угощения башкирских красавиц.

Собравшись в круг, женщины также вели свою игру: нечто вроде русской кошки и мышки. При появлении гостей они стали жеманиться и конфузливо закрываться рукавами своих праздничных бешметов. Среди них были и хорошенькие, но Лейли-Зямал не было.

— Где же Лейли? — спросил Брызгалов. — Или замуж выдали?

— Нет. Больна Лейли.

— Жаль.

Посредник раздавал девушкам гостинцы. Вдруг Брызгалов увидел, как посредник, спотыкаясь, отлетел в сторону, сопровождаемый громким женским смехом.

— Что с вами? — поняв, в чем дело, и с трудом удерживая смех, спросил Брызгалов, подбирая рассыпавшиеся гостинцы.

— Черт знает, дикарки какие-то... и ущипнуть нельзя! — жаловался тот.

— Да... они на этот счет строги, — улыбнулся Брызгалов, беря его под руку и направляясь к вновь образовавшейся группе башкир, собравшихся в кружок, откуда раздавались заунывные звуки: то были звуки курая. Брызгалов очень любил их.

Слепой курайщик-башкир с выразительным грустным лицом сидел среди круга с своим нехитрым инструментом, слегка склонив на бок голову и искусно перебирая длинными пальцами по дудке. Его подвижное лицо быстро менялось соответственно мотиву, а нижняя вытянутая губа трепетала под дудкой. Заунывная и тоскливая мелодия лилась, и, казалось, молодой женский голос плакал и жаловался на свою судьбу и вымаливал у кого-то прощение, а в ответ ему звучал другой голос на низких нотах, укоряющий и жалобный, точно голос матери, потерявшей свою единственную любимую дочь. Кончил курайщик эту песню, и слушатели одобрили его трогательными замечаниями и вздохами. Но вот курайщик снова приложил свою дудку к губам и, аккомпанируя ей гортанными переливами горла, с высокой ноты, сильно взятой, затянул дикую, за сердце рвущую песню. Замерло все кругом, внимая этой песне. Она говорила о прежнем приволье, о неисчислимых табунах коней, о блаженстве мирных кочевков. И когда курайщик оборвал ее, уставив незрячие глаза в небо, долго никто не смел и не мог молвить ни слова, а на глазах у стариков блеснули слезы.

— Очень хорошо! — похвалил музыканта мировой посредник, бросив ему мелочь.

Толпа, точно разбуженная, сразу оглянулась на чужих гостей, и они не могли не уловить несколько сверкнувших затаенною злобою и ненавистью взглядов. Обоим стало неловко, и они поспешили удалиться.

— А дикий, знаете, народ, — как-то вскользь заметил по их адресу посредник.

— Да, видно, как волка ни корми, а он все в лес смотрит! — поддержал его Брызгалов. — Долго еще никакая культура из него этой дикости не выбьет.

Но разговор на эту тему почему-то сразу оборвался между собеседниками, и они опять почувствовали себя неловко. К их обоюдному удовольствию в это время приближались бегуны, и народ снова хлынул к дороге.

Впереди всех бежал маленького роста широкогрудый

малай, прижав локти к телу и выставив кулаки вперед. Он тяжело дышал. Громкие крики одобряли бегуна, и он, очевидно, собирая последние силы, ускорял бег. Вот он подбежал к подаркам, схватил протянутое ему полотенце и, перекувыркнувшись на траве, при громком смехе толпы, заливаясь радостным смехом, покатился по земле.

— Го-го-го-го — гоготала толпа. Смех усилился и перешел в рев, когда малай быстро подкатился под ноги бежавшего за ним соперника и тот с разбега полетел через него, кувыркаясь поневоле. Это последнее состязание рассмешило Брызгалова и Рогаткина и несколько сгладило следы полученного перед тем неприятного впечатления. Программа сабантуя вся исчерпывалась этими развлечениями, если еще не считать чебызги и звукоподражателей, забавлявших народ искусными подражаниями соловьям, лягушкам, вою волков, крикам петухов и прочими тонкостями. Затем развлечения повторялись по нескольку раз. Лошади скакали раз восемь, столько же раз возобновляли борьбу и бега взапуски. Брызгалов был искренно охвачен этим весельем, но, однако, не забыл цели своей поездки и, вручив кому нужно еще четвертную, приказал сготовить народу угощение.

По его приказанию зарезали несколько баранов и привезли пять бочонков кислушки. Мясо свалили в огромные котлы, и костры весело запылали в степи, собирая вокруг себя оживленные группы народа.

Брызгалов переходил от одной группы к другой, но к досаде своей не видел среди собравшихся нужных ему людей. Те, каждый раз при приближении к ним русского гостя, отворачивались или отходили в сторону, составляя мало-помалу отдельный кружок с Сулейманом во главе.

— Иди, Сулейман, баранину кушать, — вкрадчиво обратился к нему по-башкирски Брызгалов.

— Спасибо, — ответил тот нахмурился.

— Почему же ты отказываешься?

— Не хочу.

— А вы? — пробовал он обратиться к окружающим его.

— И мы не хотим, — угрюмо отвечали те.

Брызгалов переглянулся с мировым посредником. Тот вспыхнул и крикнул раздраженно:

— Это что за новость! Идите, коли вас зовут!

— Идите! — повторили очутившиеся тут же старшина и писарь.

— От вражьего махана брюхо болит! — ответил Сулейман башкирской пословицей.

— Вражеским куском подавишься! — поддержал другой.

Брызгалов побледнел от негодования и передал этот ответ посреднику.

Тот вскипятился и вскочил к ним.

— Что? Что ты сказал? — визгливо набросился он на Сулеймана. — Как ты смеешь дерзости говорить! Да я тебя! Да ты у меня!.. — путался он, топая на него ногами.

Сулейман попятился, и толпа попятилась за ним.

— Успокойтесь, успокойтесь, — останавливал расходившееся начальство Брызгалов.

— Бунтовщик! Я не позволю!

— Успокойтесь!

— Бунтовщик!

Но Брызгалов отвел посредника в сторону и сам обратился к толпе с увещательными речами:

— И не стыдно вам так обижать меня. А все ты, Сулейман. И ты, Миннигарей. Да и ты, Шагибек, тоже. Не ожидал я от вас такой неблагодарности.

Старшина понял политику Брызгалова и тоже вступил в разговор, усовещевая упрямцев:

— Разве можно обижать гостя? Обычай наш велит чтить гостя, а не обижать его. Бояр наш гость.

— Кому гость, а кому волк! — проворчал Сулейман.

— Ну ты, поговори у меня, так попадешь в холодную! — зашипел на него писарь, пугливо оглядываясь в сторону «бояра».

Но тот замечание Сулеймана как бы пропустил мимо ушей и жаловался на Сулеймана собравшимся на шум от котлов сторонникам своим.

— Не боюсь я твоей холодной! — громко вспылил Сулейман. — За нас теперь есть кому заступиться!

— Да как ты смеешь! — вне себя набросился опять на Сулеймана посредник, замахнувшись даже на него палкой.

Сулейман злобно стиснул зубы, как старый волк, на

которого набежала собака. Посредник опустил палку и визгливо обратился к старшине и писарю:

— А вы чего смотрите! Какое же вы начальство! В холодную бунтовщиков.

— Успокойтесь, успокойтесь, — снова оттаскивал его в сторону Брызгалов.

— Вот начальство даст тебе бунтовать! — злобно грозил старшина Сулейману. — А вы что! — крикнул он на остальных. — Идите к котлам, пока не поздно. Недоимок не платите, а бунтовать бунтуете. Вот я как нагрюну завтра с понятами. Шкуру последнюю сдеру!

— Поколотить их мало-мало надо! — усердствовали сторонники Брызгалова, хватившие кислушки. Особенно горячился Якупка. — Морды надо им, дуракам, колотить! — совершенно пьяный кричал он.

— Молчи, карак! Вор!

— Идите, — брызгая слюнями, шипел писарь, — а те будете каяться, и защитник ваш не поможет. Много их таких было, да с носом и ушли.

Эта угроза, вероятно, подействовала на толпу гораздо сильнее, чем угрозы своих же башкир. Они смущенно переглянулись между собою и со слезами на глазах, со стесненным сердцем, краснея за свое отступничество, один за другим стали переходить на сторону Брызгалова.

— Давно бы так! — дружелюбно похлопывая их по плечу, встречал каждого Брызгалов. — Чего вы слушаете его, да и защитника-то своего. Чай, я вам не враг, в самом деле. Они только мутят вас попусту и больше ничего, а я всегда хорошему человеку готов помочь чем надо.

От толпы протестантов остались скоро только трое: Сулейман, Шейх-Аль-Ислам да Шагибек. Они злобными взглядами проводили изменивших и уныло поплелись домой. Их провожали пьяные крики, свистки и горлање нескольких торжествующих голосов.

Арасланов не только не уехал на другой день после назначенного ему Квитковской свиданья, но остался и на следующий день, и на третий, и на четвертый. В городе уже громко говорили об этой новой связи, но Арасланов ничего этого не слышал и не замечал.

Точно в горячечном бреде день за днем пролетала для него неделя. Он все откладывал объяснение с Квитковской: то мешали ему обстоятельства, то она ловко отклоняла их и заставляла о них забывать. А между тем он совсем чувствовал себя в положении человека, накинувшего себе на шею петлю; чем энергичнее он пытался освободиться из этой петли, тем сильнее затягивал ее и тем труднее становилось ему дышать.

Наступал день отъезда. Степанов как-то при встрече с Араслановым объявил ему, что через земскую почту в волостное правление сделано уже им распоряжение о созыве схода по данному делу, и Арасланов чувствовал, что, не будь этих побудительных обстоятельств, он все откладывал и откладывал бы день отъезда. За эту слабость он втайне глубоко презирал себя, но победить ее не мог. Квитковская встретила весть о его отъезде довольно равнодушно, хотя наружно и старалась выразить свое сожаление; она получила от Брызгалова известие, что пусть теперь едут хоть тысячи Араслановых и Степановых — они наткнутся на рожон. Что же касается ее чувств к Арасланову, они уже чуть-чуть охладели под влиянием доходивших до нее слухов и сплетен, несмотря на то, что Арасланов завладел ею сильнее, чем кто-либо. А виною этих сплетен был все он же, потому что не умел скрывать своих чувств при посторонних и даже при муже, который, несмотря на свою слепоту, начал уже прозревать истину. Это, как она называла, отсутствие самого обыденного такта в Арасланове раздражало Квитковскую. Кроме всего этого, Арасланов уже начал утомлять ее своею несдержанною дикою любовью, своими жадными взглядами и ревнивою подозрительностью, вспыхивавшей в нем даже тогда, когда она кокетничала с кем-нибудь, чтобы хоть для вида отвлечь от себя подозрения. Он следил за каждым ее шагом, требовал отчета в каждом взгляде и в конце концов все то, что прежде казалось ей привлекательным, стало пугать ее теперь. Арасланов уехал из Светлорецка накануне отъезда Степанова, чтобы приготовиться к его приезду, но всю дорогу его мучило беспокойство за положение дела.

Приехав в Кумыш-Камар, он прямо направился к мулле, захватив по дороге Сулеймана. Сулейман был страшно угнетен, и, пока они ехали к избе муллы, он,

размахивая руками, говорил, мешая башкирскую речь с русскою:

— Ну, слав бог, слав бог, что ты приехал. А то совсем абдраган был. Совсем абдраган.

— Что такое? — встревожился Арасланов.

— Брызгай на сабантуй посредник ташил, народ арака и куслушкам поил. Страшал народ. Меня палкам грозил. Всякий дурной людя Брызгай барашком кормил.

Но тут он вспомнил, что напрасно старается изъясняться по-русски, и заговорил на родном языке.

По его словам, Брызгалов при помощи посредника и сельских властей смутил почти весь народ. Пировали всю ночь после сабантуя. Брызгалов бросал деньги направо и налево, а где не помогали деньги, там старшина страшал тюрьмой тех, кто будет на сходе давать показания не в его пользу, и даже ударил Сулеймана палкой. Арасланов был до глубины души возмущен этим, и вместе с тем ему было совестно за свое непростительное отсутствие.

— Где теперь Брызгалов? — спросил он Сулеймана по-башкирски.

— У посредника.

Посредник жил верстах в двадцати от Кумыш-Камара, в своем имении, недавно приобретенном им.

— Ладно. А кто среди ваших особенно бунтовал? Все Якуп да Мухаметсалим.

— Они окаянные! — с ненавистью отвечал Сулейман. — Да и Басимка тоже. Меня палками колотил, бунтовщик называл, — жалобно снова прибавил он по-русски.

— И при свидетелях это было?

— Как же, при свидетелях. Шейх-и был, Меннигарей был.

— Ладно! — перебил его Арасланов, и в его взгляде сверкнула угроза. «Рискованную вы игру затеяли», мысленно проговорил он по адресу Брызгалова и его сподвижников, и жажда борьбы вспыхнула в нем.

Мулла подтвердил ему все рассказанное Сулейманом. Он был по-прежнему приветлив с Араслановым, но сквозь эту приветливость светилась грустная озабоченность.

— Что с тобой? — спросил его участливо Арасла-

нов, сидя на нарах за чаем. — Ты чем-то как будто огорчен?

Мулла горестно вздохнул.

— У него дочка очень больна, — сообщил Сулейман.

— Что с ней?

— Бог знает, — отвечал мулла.

— Верно, дурной человек сглазил, — важно пояснил Сулейман, как человек бывалый. — Лейли красавица, ну кто-нибудь ее и сглазил; никакой боли у девушки нет, а тает, как снег.

— Что же, ты лечишь ее чем-нибудь? — обратился Арасланов к мулле.

— Да, лечу. Вчера мулла был из Аклаева: он галим, в Мекку ходил. Он лечил Лейли: молился над ней, в рукава дул: изгонял шайтана.

— Ну, а лекарства какого-нибудь давал?

— Давал.

— Нельзя ли мне посмотреть?

Мулла достал из шкафа тщательно завернутые в тряпочку кристаллики. Арасланов недоверчиво попробовал один из них: кристаллик оказался солью. Он подал его мулле. Тот лизнул и, покачав головой, сказал:

— Это соль.

— Покажи-ка мне свою дочку? — обратился Арасланов к мулле. — Она не спит?

— Нет, не спит, — неохотно ответил мулла.

— Бояр доктор, — шепнул ему Сулейман.

— А разве он и эту науку знает?

— Он все науки знает, — с наивною уверенностью отвечал Сулейман.

Мулла поднялся с места и направился в другую половину избы, которая отличалась от гостиной только тем, что была грязнее да не имела тех предметов роскоши, что были в первой избе.

При появлении муллы и гостя две женские фигуры быстро поднялись с нар и юркнули в угол, а оттуда, украдкой, закрывая лица руками и пробираясь возле стены, в дверь. Закон запрещал молодым женщинам показываться муллам на глаза. На нарах у окна, на куче перин и всякого хлама лежала Лейли, и возле нее сидела мать. Увидев Арасланова, Лейли вздрогнула, и к ее побледневшим и впалым щекам прилил слабый румянец.

Она сделала некоторое усилие и приподнялась, чтобы сесть.

— Не надо, не надо! — протестовал Арасланов и протянул руку, чтобы пощупать ее пульс, но мать, вспыхнув, вскочила на ноги, как клушка, защищающая от ястреба цыпленка, быстро загородила ее и, злобно взглянув на Арасланова, забормотала сердито:

— Что ты хочешь делать? Нельзя прикасаться к девушке!

— Уйди! — повелительно сказал ей мулла. — Хазрет свой человек. Хазрет доктор.

Мать, недовольно бормоча что-то, отошла в угол и ревниво следила оттуда за каждым движением Арасланова, готовая, казалось, всякую минуту броситься на него.

Арасланов взял девушку за тонкую, гибкую, как молодая веточка, кисть руки. Лейли покраснела еще более и стала слабо освобождать руку, не понимая его намерений. Ее глубоко впавшие и еще более прекрасные, чем прежде, глаза умоляюще глядели на него, а слабый голос испуганно бормотал:

— Кирякмай, хазрет: Кирякмай. Подсялста. Не нада!

Пульс был слабый и неровный. Он выпустил руку Лейли. И ничего не стал спрашивать относительно болезни Лейли ни ее самое, ни отца; когда же они переступили порог этой горницы, мулла, глядя в сосредоточенное лицо Арасланова, грустно произнес уже слышанную тем татарскую поговорку:

— Что? Видно, от смерти нет лекарства.

Арасланов ничего не ответил на это, сделав вид, что не слышал, а мулла с печально-покорным и точно окаменелым лицом зашептал слова молитвы.

На другой день утром около избы волостного правления собралась огромная толпа народа. Толпа оживленно шумела, ссорилась и кричала в ожидании властей. При самом даже поверхностном наблюдении можно было заметить, что эта толпа делилась на несколько враждебных одна другой групп. Одну группу составляли старики. Они сидели неподвижно, как мумии, с понуренными головами, с полузакрытыми глазами и изредка сдержанно переговаривались между собою. Другую группу

составляли сторонники Брызгалова с Якупкой и Мухаметсалимом во главе. Они волновались и горлачили сильнее всех. Третью группу составлял небольшой кружок с Сулейманом и Шейх-Аль-Исламом. Они сдержанно переговаривались между собою на своем звучном гортанном языке и порою переругивались со своими врагами. В числе этих были двое принесенных на носилках больных, желавших постоять за мирское дело. По мере ожидания властей волнение все увеличивалось, напряжение росло, но оно уже выражалось не в криках, а в тех нахмуренных взглядах и резких гримасах, которыми враждебно обменивались между собою противники.

Но вот вдали показался Степанов, среднего роста, коренастый, бородатый мужчина, в белой чесучовой паре, с сонливым лицом и ленивыми манерами. По правую руку его шел Арасланов, по левую — старшина и писарь. Двое понятых, длинных, как жерди, из которых один был удивительно похож на козла, шли за ними в почтительном отдалении и отгоняли неистово лаявших на них собак.

Утро было ясное и жаркое. Со степи едва дышал ветерок. В небе беспомощно стояли облачка, точно не знали, куда им скрыться от жарких ласк солнца. По улице лениво бродили куры с цыплятами, и в наступившей тишине слышалось то ржание коня, то капризное блеянье козленка.

В избе волостного правления было очень жарко, да и не хватило бы места всем присутствующим, потому заседание устроили под открытым небом.

В тени, отбрасываемой избою, поставили стол. За ним в середине поместился Степанов, несколько в стороне Арасланов, против него — старшина и писарь. Понятые, как статуи, стояли в отдалении.

Степанов отер платком широкое потное лицо, снял фуражку, развернул книгу приговоров кумыш-камарского волостного схода и, уставясь в нее маленькими волчьими глазками, пыхтя и отдуваясь, стал искать нужное место.

Старшина тотчас же с льстивой улыбкой поспешил ему на помощь. Страница была найдена. Губернский член перекинулся с Араслановым несколькими словами о погоде, затем спросил старшину, все ли в сборе, и, получив утвердительный ответ, откашлялся, сплюнул и, с тоскою взглянув на толпу, точно ему смерть как не хоте-

лось заниматься делом, хриплым и низким баском, слегка картавя на шипящих буквах, принялся за чтение приговора.

Приговор этот был известен всем присутствующим от буквы до буквы, однако все слушали его, затаив дыхание, с напряженными лицами, а старшина так даже, чтобы лучше слышать, поддерживал свои без того уже оттопыренные уши.

— По реке Кумыш-Камар вниз до лесного оврага и лесом, — перечислял апатично губернский член границы проданной дачи, и, запнувшись на этом месте, согнал со своего толстого носа муху и продолжал: — до Чугреевской межи — двести десятин.

— Больше! Сетыреста будет! — отозвался чей-то несдержанный голос.

— Врешь! — остановили его другие голоса.

— Кто мерил?

— Сам знам.

Начались пререкания. Спорщиков остановили, но они еще долго перешептывались между собою.

— От Чугреевской межи до лесного ручья Эчкечь, — продолжал читать Степанов, снова сгоняя с гримасой надоевшую муху и следя за ее полетом из-под сросшихся нахмуренных бровей, — до лесного ручья Эчкечь, — повторил он, возвышая голос, — семьдесят пять десятин.

— Полтораста будет! — снова отозвался тот же голос.

Козлоподобный великан-понятой погрозил через головы тояпы виновнику, и чтение приговора продолжалось.

К концу чтения губернский член поймал-таки назойливую муху и, давнув ее своими толстыми пальцами, бросил погибшую под стол, где ее подхватил бродивший там цыпленок и со своей жертвой побежал в сторону.

Затем, когда приговор был прочитан старшиной татарски, губернский член спросил:

— Так ли?

— Так. Так. Шулай, — раздалось несколько голосов.

— Нет, не так! Не так. Земли не пятьдесят тысяч десятин, а сто будет, стало быть, не по шестнадцати копеек, а только по восьми за десятину куплена земля, — крикнули несколько голосов по-башкирски.

— Что это они говорят? — спросил губернский член.

Старшина недовольно перевел.

— Ну, это после. Чего же раньше плохо мерили! — возразил Степанов, сгоняя новую муху со лба и снова приступая к чтению: «Оный приговор читали и выразили свое полное согласие»...

Тут он сделал маленькую передышку и, с трудом выговаривая имена подписавшихся и перевирая их, стал читать одно за другим.

Его не перебивали, но, когда он кончил чтение и, облегченно вздохнув, спросил, так ли и все ли согласны с приговором, — поднялся неописуемый гам.

— Соглас! Соглас! — кричали одни.

— Йок соглас! Нет соглас! — отвечали другие. — Опманщики! Мухаметсалим улыган. Еникеев улыган.

— Вришь.

— Улыган. Бумага есть, — горячился Сулейман. — А Якупка тогда турьма гулял. Якупка не был.

— Был! — кричал Якупка, и его слова повторили десятки других голосов.

— Покажи бумагам.

— Стой! Тише! Порядкам надо! — унимали разгорячившихся спорщиков попятые.

Арасланов обратился с какими-то словами к Степанову, но тот только руками замахал, давая этим понять, что он ничего не слышит.

— Знамо, порядкам надо, — согласился, приходя в себя, Сулейман.

Порядок мало-помалу был восстановлен.

— Ибрагим Харитдин! — вызвал Степанов.

Из толпы выдвинулся маленького роста башкир кривоногий, с выдающимися, как у белки, передними зубами.

— Соглас! — торжественно выпалил он и даже победоносно взглянул на Арасланова.

Арасланов знал, что он и прежде был в числе согласных, и поэтому не возразил ни слова.

Также и первые пять-шесть человек не вызвали с его стороны никаких подозрений.

— Бир Кулумбаев! — вызвал Степанов следующего за ними.

— Соглас! — отозвался голос издали.

Среди несогласных поднялось волнение.

— Врит он! Врит! Его тогда Оленбург гулял! — кричали они.

Арасланов заглянул в книгу. Уж губернский член хотел вызвать другого, но адвокат тихо остановил его каким-то вопросом.

Тот утвердительно кивнул головой.

— Бир Кулумбаев! — повторил ту же фамилию Арасланов.

— Иди! Иди! — настойчиво подталкивал Сулейман кривого, бедно одетого башкира.

Тот вышел.

— Ты что, подпись давал или тамгу? — обратился к нему Арасланов.

Кулумбаев смутился.

— Ведь ты тавро давал? — поспешил задать ему вопрос вдруг вспыхнувший писарь.

— Я бы попросил господина губернского члена запретить должностным лицам без согласия обращаться к башкирам, да еще на родном их языке.

— А что он сказал?

Арасланов перевел слова писаря по-русски.

Степанов вместо ответа строго посмотрел на писаря. Тот покраснел и заерзал на стуле.

— Тавро, тавро, — бормотал между тем Кулумбаев, мигая зрячим глазом.

— Какое же твое тавро? — насмешливо глядя на него, спросил Арасланов.

Тот в замешательстве молчал и глядел вопросительно то на старшину, то на писаря.

— Вот тебе карандаш, напиши свое тавро! — предложил ему Арасланов.

— Бель-мем! — замотал тот головой.

Старшина злобно перевел тоже по-башкирски.

Кулумбаев взял корявыми пальцами карандаш, помуслил его и, нагнув к столу голову, старательно вывел на бумаге треугольник.

Губернский член сличил это тавро с значившимся в книге и покачал головой. В книге стоял кружок с крючком посередине.

— Врет он! Путаает, — забормотал писарь. — Вот твое тавро!

— Так, так. Путил. Путил, — смешался Кулумбаев.

Степанов снова строго взглянул на писаря и, махнув

рукою Кулумбаеву, чтобы тот замолчал, обратился к переводчику:

— Спросите стариков, какое тавро у Кулумбаева? Те признали треугольник.

— Зачем же ты врал, что подписывал?— укоризненно спросил его Арасланов.

Кулумбаев в страшном замешательстве забормотал что-то и поспешил в толпу своих, провожаемый торжествующими насмешками несогласных:

— Попался!

— Вот тебе и дареный кульмяк!

— Захлебнуться бы тебе боярским чаем с сахаром.

Его единомышленники также были недовольны его промахом и с презрением отвернулись от него.

Кулумбаев был убит.

Губернский член сделал против его фамилии отметку.

Следующие затем голосов десять дали вполне согласное показание со своими подписями, между тем как у Арасланова из них были на счету в числе несогласных четверо. Он пробовал их уличить, но попытки его оказались безуспешны. Однако у него были еще в запасе мертвые, и он не унывал.

— Ахмет Еникеев!— устало вызвал член.

— Ульган!— раздалось несколько голосов.

— Давно ли умер?— спросил Арасланов.

Тут возник спор. Одни кричали, что до приговора, другие — после. Волостное начальство было на стороне последних.

— Этот вопрос легко выяснить,— заявил Арасланов,— в мечети хранятся бумаги, где обозначены год и число рождения каждого мусульманина. Ведь Еникеев здешний?

— Здешний.

— Ну, так пошлите,— обратился он к Степанову,— пошлите к старшему мулле, и он доставит выписки.

Степанов сделал распоряжение. Арасланов заметил, как при его словах старшина и писарь насмешливо переглянулись, он не понял причины их иронии, но она скоро объяснилась: пока продолжался опрос следующих выборных, посланный вернулся и объявил, что бумаги из мечети пропали.

Арасланов побледнел. Толпа страшно заволновалась и загалдела.

— Верно, их не было совсем, или мыши съели,— заметил старшина.

— Я их видел не далее, как неделю тому назад! — резко возразил ему Арасланов.— И утверждаю, что бумаги выкрадены. Они хранились в мечети, и мулла приносил их мне показывать. К сожалению, мулла не имеет права присутствовать на сходах, а то он подтвердил бы мое показание.

— Я сам видел бумаги! — крикнул Сулейман.— Я впдел, и присяга в этом дам. На коран присягну!

— Мне кажется,— обратился Арасланов к губернскому члену,— что этот факт, эта кража сильнее всяких доказательств говорит, что Еникеев умер раньше.

Степанов был, очевидно, внутренне согласен, но для беспристрастного решения этого было мало. Потребовалось свидетельство стариков; старики единогласно сказали — раньше, но родственники, очевидно, уже подкупленные, утверждали, что через два дня после. Таким образом Еникеева пришлось оставить под сомнением.

С утратою этих документов для Арасланова погибла половина шансов на выигрыш дела, так как большинство умерших, значившихся в приговоре, приходилось на Кумыш-Камар.

«Если дело пойдет таким образом дальше,— с досадою подумал Арасланов,— можно все потерять, так как число подписей в приговоре было больше двух третей, и нужно было иметь десятка два ложных, по крайней мере, чтобы приговор считался недействительным».

— Якуп Шарыпов, — вызвал Степанов.

Якупка смело вышел вперед и, нагло уставившись на начальство, заявил громогласно:

— Согласен.

— Его не был. Якупка тюрьма гулял. Лошадкам карапчил и тюрьма гулял,— вопили взволнованные голоса протестующих.

Сулейман, красный, как рак, горячился больше всех. После нескольких человек, упущенных им, он схватился за Якупку, как утопающий.

— Якупка тюрьма гулял, ваша высокоблагородие! — почти умоляюще кричал он Степанову.

— Врешь! Я много после тюрьма гулял! — нагло огрызнулся на него Якупка.

— Тише! — крикнул Степанов.

— У, собака! — бросив негодующий взгляд на Якупку, проворчал Сулейман, стискивая кулаки.

Старики подтвердили отсутствие Якупки при составлении приговора: он сидел в тюрьме.

— Врут они! — упорствовал Якупка.

— Ну, об этом нетрудно справиться у тюремного начальства, — недовольно промычал Степанов.

— Что же, справляйтесь, — с презрительным равнодушием процедил сквозь зубы Якупка и, нагло улыбаясь, ушел восвояси.

Это поведение, очевидно, рассердило губернского члена, и Арасланов с тайною радостью заметил, что симпатия Степанова склоняется на его сторону. Настроенные Арасланова передалось его доверителям и несколько обескуражило противников.

— Мухамед-Салим!

— Ульган, — раздалось в ответ.

Опять подложная подпись, но доказать этот подлог не представляло особой трудности. Мухамед-Салим утонул, переправляясь весной на пароме через Кумыш-Камар, а приговор был дан осенью, когда через реку был уже наведен мост. Только сын Мухамед-Салима Ахмедзян, молодой парень, живший у мирового посредника конюхом, утверждал противное.

Когда его ложь была обнаружена, Степанов сказал строго:

— Ты что же это врешь?

— А мне что? — ответил тот, глупо улыбаясь. — Запомнил я, вот и все.

Старики презрительно отвернулись от него и плюнули. Ахмедзян был на их взгляд совершенно пропащий человек: пил арака, курил табак, ходили слухи даже, что он собирается креститься.

Еще несколько человек мертвых значилось в книге, и подложность их подписей была утверждена довольно легко. Это обескуражило многих подкупленных башкир: иные окончательно оробели. Когда же были обнаружены еще две подложные подписи: подписи Зарифа Ибрагимова, бывшего в действительности в отсутствии, маленького башкира с испуганным лицом, и Сейфуллы, расписавшегося за своего отца, среди них произошло замешательство и пререкание.

— Как же ты говорил, что ты подписывал?— стыдил Зарифа Степанов.

— Ведь не заставляли же тебя силой подписывать?— осторожно задал ему вопрос Арасланов.

— Как же не подписать!— чуть не со слезами вырвалось восклицание у Зарифа. — У меня два братюк, бабай да девка, а он,— Зариф указал на старшину,— тюрьма меня страшал и один танька, целковый, давал,— в отчаянии dokonчил он, вынимая из-за пазухи скомканную рублевку, завязанную в тряпочку, и бросая ее на пол.

Поднялся нестройный взволнованный говор. Старшина, побагровев, встал и объявил, путаясь и мешая башкирские слова с русскими, что это клевета. Писарь же разгорячился. Вдруг из толпы вышел высокий башкир и дрожащими руками сорвал с головы шитую серебром тюбетейку, также швырнул ее к ногам старшины, проговорив прерывающимся голосом:

— Вот и меня тюрьма страшал. Тюбетейкам Брызгай дарил. Полтинка дарил!— мотая в такт словам бритую обнаженную головою, кричал башкир.

— Меня палкой бил, каянный! — неистово кричал Сулейман, приближаясь к столу и хлопая по голове.— Вот свидетелем был Шейх-и, Меннигарей!

— Да, да, был свидетелем. Был! — подтверждали те.

Несмотря на крики:— Тише! Тише!— волнение долго не могло улечься. Наконец Степанов поднялся с места и с досадой махнул рукою. Все смолкло. Ссора продолжалась уже глазами и гримасами подвижных лиц.

— Я прошу господина губернского члена особенно обратить внимание на последние показания,— заявил Арасланов.

— Да, да,— отвечал тот.— Знаю.

Старшина стал совсем вне себя. Тюбетейка съехала у него на затылок, и на вспотевшем лбу выступили пятна.

— Это все... клевета! — заикаясь, начал он, но, не будучи в состоянии от волнения совладать с русской речью, забормотал что-то писарю по-башкирски, указывая глазами на Арасланова.

— Что он там еще лопочет? — недовольно спросил Арасланова Степанов.

— А он просит писаря передать вам, что это, должно

быть, я подговорил башкир оклеветать его,— презрительно улыбаясь, громко передал Арасланов.— Так ведь?— спросил он писаря.

— Так. А что же? Зачем бы иначе господину поверенному ездить по башкирам?— с ненавистью ответил писарь.

— Ах, вот кстати вы напомнили мне,— подхватил Арасланов.— Я попросил бы также господина губернского члена обратить внимание на то еще обстоятельство, что подписи для приговора отбирались не на сходе, а по домам, а приговор был прочтен на сходе после и с извращениями.

— Так! Так!— раздался целый взрыв голосов.— Брызгай и старшина по домам гулял.

Шум, гиканье и свистки были ответом им с другой стороны. Губернский член зажал уши. Старшина, предчувствуя гибель, тоже кричал изо всех сил. Наконец опрос свидетелей был кончен. В число согласных для законных двух третей не доставало всего четырех-пяти голосов. От члена зависело дать то или иное заключение, и Арасланов по лицу его и по двум-трем дружелюбно обращенным к нему фразам заключил, что исход будет в пользу его доверителей.

— Ну-ну,— многозначительно покачав головою, заметил Степанов, когда сход был распущен, и, искоса посмотрев на хмуро о чем-то беседовавших у стола старшину и писаря, добавил, пожимая Арасланову руку на прощанье:— А тех придется под суд. Да, да. Дело ясное.

Победа Арасланова была полная. Многочисленная толпа народа, впереди которой были старики, победоносно окружила своего поверенного. Несколько покаявшихся также примкнули к ним, но виноватые держались сами по себе, не смея принять участия в всеобщем радостном волнении. Но шумный говор, проникнутый радостным и торжествующим напряжением, не так радовал сердце Арасланова, как он вправе был ожидать. Он то и дело пожимал протягивавшиеся к нему грубые, грязные и заскорузлые руки, видел, как с умилением заглядывали ему прямо в глаза и, улыбаясь беззубыми ртами, похлопывали его по плечу и говорили:

— Наш. Наш. Рахмет, спасибо. Вот какой наш башкурт. Свой человек. Не то, что наемник. Он не продаст свой народ.

— Что наемник! От наемника, как от луны, нет тепла, а свой человек — солнце! — восторженно прибавляли другие.

Сулейман, казалось, вырос от радости еще более. Он переходил от одного старика к другому и, гордо посмеиваясь, плутовато и добродушно щурил правый глаз, от которого веером шли по виску морщинки, и в каждой морщинке светилась радость. Он кивал головой на Арасланова и сдержанным шепотом, почти с благоговением, повторял почему-то по-русски:

— Своя людя. Знамо. Деньга не хочет брать за труд. Вот какой людя. А усен — страсть!.. Все знат. До самого царя может дойти! — увлеченный своим поклонением, прибавлял он. — А ведь не князь, не мирза, а башкурт! Простой башкурт!

И, как бы пораженный небывалым чудом превращения простого башкурта в столь, по его мнению, важную птицу, Сулейман смеялся от восторга.

— Шулай. Шулай, — одобрительно покачивая головами и прищелкивая языками, повторяли слушатели и шли выразить Арасланову свою благодарность и наперебой приглашали к себе в гости.

Его до глубины души трогало это наивно-добродушное поклонение. Как бы счастлив он был, если бы мог обнять их всех и с самою искреннею клятвою воскликнуть: «Да, я ваш! Ваша плоть от плоти, кровь от крови! За вас я отдам всю мою жизнь! Всю мою душу!»

Но он считал себя не вправе пользоваться этою любовью и почетом, и слова: «Наш. Не продаст родной народ. Не выдаст нас», — больно терзали его сердце, точно он обманом завладел этим расположением, точно вместо настоящего Арасланова, каким представлял он себя в этом положении так еще недавно, здесь стоял другой Арасланов, его двойник, ничем не заслуживший этого почета.

Х

В день спектакля, вечером, Варвара Михайловна с замиранием сердца вступила за кулисы. Горничная нес-

ла за ней узел с костюмами, зеркалами и гримировкой. Петр Саввич Поблажкин — антрепренер, до последней минуты побаивавшийся, что Варвара Михайловна может не явиться на спектакль, потирая руки от удовольствия, встретил ее у самого входа и с блаженной улыбочкой, склонив лысую круглую голову на бок, сладко залепетал:

— Мамочка, ангел-спаситель. Наконец-то! Давно поджидаю вас встретить.

— А разве я запоздала? — тревожно спросила Варвара Михайловна.

— Нет, нет, что вы! Раньше, чем через час, не начнется. Вот она, погодка-то какая! Благодать! Да и светло еще совсем, а провинциальная публика любит, знает, для хорошего тона поопоздать. Однако, что же это я, мамочка! — спохватился Петр Саввич с таким испугом, точно совершил невесть какое преступление. — Держу да держу вас в дверях! Ручку пожалуйста! Я вас в уборную проведу. Самую лучшую приказал освободить и разукрасил ее собственными, можно сказать, руками: коврик постлал, чтобы ножкам тепло было, да зеленцой разукрасил.

— А трюмо, я просила? — перебила его болтовню Варвара Михайловна.

— Достал-с! И трюмо достал, — с восторгом воскликнул он, прибавив в виде пояснения: — Никак нельзя-с. Дорогая гостья, так сказать. Надо ценить.

— Благодарю вас.

— За счастье считаю! — отрапортовал он, приближаясь к уборной.

Распахнув перед Варварой Михайловной дверь, он сам отступил несколько в сторону, чтобы вполне насладиться впечатлением артистки-гостьи. И точно, крошечная уборная, похожая на колодезь, была украшена гирляндами зелени с инициалами В. М. Б. Трюмо и коврик были также на своем месте.

Над столом красовалась афиша: «Боккачо», фамилия Варвары Михайловны была напечатана огромными буквами.

Варвара Михайловна улыбнулась.

— Каково! — заметив ее улыбку, похвалился антрепренер. — Сам в типографию ходил. Они было мне вот какой шрифт подсунули. Да я, — прищурился заплывшие

глазки на кончик мизинца, лукавым шепотом продолжал он, мигнув на соседнюю уборную,— я сейчас же раскусил, чьи это штуки-то! Типографщик-то ее знакомый. Нет, говорю, душечка, давайте, что ни на есть, самый жирный, а этот оставьте для кого-нибудь другого. Хе-хе-хе-хе,— торжествуя, залился он, по-прежнему мигая на уборную.— Чует, видно, что не жить ей нынче. Я на репетиции видел, что убьете вы Знойнику. И трико не поможет. Ха-ха-ха-ха!

— Петр Саввич!— раздался вдруг повелительный и резкий голос Знойновой.

Антрепренер с испуганным лицом сначала замер, как заяц, над головой которого грянул выстрел, потом со всех ног бросился на зов.

— Что это за новости вы выдумали?— прикрикнула на него Знойнова. — Ее в красную строку ставите, а меня чуть не петитом.

— Тс... тише, мамочка. Ти-ш-ше!— умоляюще залепетал Петр Саввич с самой жалкой гримасой, хватая руку Знойновой и прикладываясь к ладони, светившейся в прорезе перчатки.— Здесь ведь она, рядом. Услышит. Ей богу, услышит.

— А мне какое дело! — в тот же тон злобно продолжала Знойнова, высоко подняв голову. — Пусть слышит. Мне нечего бояться, а вот она только что успела ступить за кулисы, уже интриги. Да я тоже не позволю себе на хвост наступать!

— Мамочка,— хватаясь за голову, в изнеможении бормотал антрепренер,— не губите! Ведь услышит, откажется, а сегодня сбор полный. Вы же первая с него получите. Не губите.

— И вы тоже хороши! Я вас кормлю, а вы мне за это фарфорки подводите. Свинство! — не унималась Знойнова.

Антрепренер в отчаянии схватил расхидившуюся артистку под руку и увлек ее за дальнюю кулису.

— Мамочка, ангел небесный. Не гневайтесь,— бормотал он там, отирая вспотевшую лысину. — Ну и пусть ее потешится жирным шрифтом: ведь вас от этого не убудет. Публика вас боготворит, можно сказать, а вы такими пустяками смущаетесь. Да вы ее одним выходом убьете! — мигнул он в сторону Бессоновой и тоном глубокой важности спросил: — В красном трико играете?

— В красном.

— Убьете!— убежденно заявил он, потряхнув головой и руками.— Как пить дать — убьете. То есть пронзительнее представить себе нельзя. Я, на что старик и видал виды, увижу эти ноги, так, верьте совести, точно меня живой водой сбрызнут! — в неопишемом восхищении, тараща глазки и подняв вылезшие брови, воскликнул Петр Саввич и аппетитно прищелкнул языком.

— Я это сама знаю. В Земногорске полицмейстер сто целковых обещал, чтобы я только согласилась обедать с ним в этом трико, — с достоинством проговорила Знойнова.— И тем более, я не могу позволить печатать ее крупнее, чем меня. Знаю я ее, играла с ней и всегда больше успеха имела. Разве это артистка!.. Любительница, вот и все. Голос у нее есть, зато игры никакой нет. Небось, как бы настоящая была артистка, не ушла бы со сцены.

— Э-эх, мамочка! Ну, какая у нее может быть игра! Все знают, что она любительница; я только как любительницу и позволил ее так отпечатать. Притом же денег она за спектакль не берет. Хе-хе-хе,— заискивающе хихикнул он.

— А вам все только бы деньги! Родного отца готовы за деньги продать, а искусство — ни в грош.

— Эх, мамочка,— сокрушенно произнес Петр Саввич, слезливо щуря глаза,— хорошо вам разговаривать, когда у вас одних бриллиантов дареных тысяч на двадцать есть.

— Пожалуй, и на все сорок наберется,— самодовольно улыбаясь, перебила Знойнова.

— То-то и есть. Да кому же и иметь их, как не вам, розан! А у меня в одном кармане клоп на аркане, а в другом — блоха на цепи.

— Что за выражение! — с гримасой заметила Знойнова.

— Простите, мамочка. До выражений ли тут, когда кредиторы, как псы, терзают, прости, господи. От скорби! — вздохнул он и опять приложился к ее ручке.

— Будет казанской сиротой-то притворяться! — хлопнув его веером по наклоненной лысине, перебила Знойнова.— А вот вы лучше в искупление вины извольте-ка мне букет преподнести с атласной лентой.

Петр Саввич ужаснулся.

— Мамочка! Какой же теперь букет,— забормотал он.— Первый звонок нужно давать.

— Мне какое дело? Прежде не могли догадаться. Мне чтобы был букет; я слышала, что ей — Знойнова не называла по имени соперницу — собираются букет поднести. У нее ведь весь город знаком, да и муж.

— Да ведь у вас, мамочка, тоже здесь поклонники есть,— отозвался антрепренер.— Чай, сообразят поднести-то.

— Все равно. Чем больше, тем лучше. В саду цветов много. Ко второму акту успеют связать. Чтобы был. Чтобы был, и слышать ничего не хочу!— замахала она руками, направляясь в свою уборную.

— Мамочка... Пощадите. Ведь мне самому сейчас гримироваться надо. Ведь Ламбертуцио играю.

— Прикажете кассиру. Это на полчаса времени.

— Ах ты, силы небесные! Ну хорошо, букет. Ленту-то, ленту-то где же я достану? Ведь магазины все заперты, — в отчаянии возопил Петр Саввич.

— Так и быть, ленту я свою дам. Я захватила на всякий случай голубую, ту, что мне профессор в Казани с пеньюаром поднес. Первый букет будет на красной ленте, а этот пусть будет на голубой.

— Ну, ладно,— вздохнул Петр Саввич.— Побегу. Приготовьте ленточку-то,— на ходу крикнул он, устремляясь к своему управляющему, и, снимая свою соломенную шляпу с головы, присовокупил огорченно:— Да, тяжела ты, шапка Мономаха! — и в бессчетный раз отер свою лысину.

Варвара Михайловна не могла не слышать пререканий Знойновой с Поблажкиным и ее язвительных замечаний по своему адресу, но она слишком хорошо знала нравы кулис, чтобы оскорбляться или огорчаться такими мелочами. Она даже улыбнулась, встретив, как нечто хорошо ей знакомое, эту обычную зависть, но, вспомнив, что с ней была девушка, которая болтовню Знойновой могла принять за чистую монету, Варвара Михайловна приказала ей захлопнуть дверь и, зажегши свечи, опустила оконную занавеску и приказала раскладывать вещи.

Накинув вместо лифа *matinée*, чтобы удобнее было гримироваться, Варвара Михайловна села перед зеркалом и приказала подать себе чудом уцелевший от прош-

лого блондин-парик, тщательно расчесанный и приготовленный заранее.

С трудом скрыв под париком свои густые и пышные черные волосы, она взглянула на себя в зеркало и улыбнулась.

Девушка-горничная всплеснула руками и воскликнула:

— Ах, барыня, вы сразу точно помолодели!

— А разве я старуха?— живо обернулась к ней Варвара Михайловна.

— Нет, что вы! Даже совершенно напротив. А только теперь вы точно барышни. Только... больно лицом смугло выглядите.

— Сейчас побелею,— улыбнулась Варвара Михайловна и, смазав лицо кольдь-кремом, задумалась на минуту, потом вздохнула, положила на него легкий слой белил, отчего лицо стало мертвенно-бледно, и опять задумалась, опустив на колени тонкие руки и глядя в зеркало своими большими черными глазами. Ей вдруг что-то стеснило сердце и взгрустнулось до того, что на хрусталике глаз показалась слеза, но это продолжалось только минуту. Раздался первый звонок. Варвара Михайловна очнулась и, снова почувствовав себя артисткой, заячьей лапкой коснулась румян и покрасневшим пухом ее слегка подрумянила щеки, надбровные дуги и подбородок.

Лицо мгновенно ожило. Чудные черные глаза не нуждались в карандаше и при этом пепельном парике выигрывали еще больше и светились глубоким, притягивающим блеском.

Груня разинула рот от удивления и восторга.

— Ах, какие вы хорошенькие, барыня! Какие бленькие да молоденькие! Как будто вы и не вы. Только глаза ваши да вот рот, да вот нос.

— А как я тебе больше нравлюсь: так, или как всегда?

Груня на минуту задумалась. Она колебалась. Потом закрыла глаза, стараясь представить прежнюю Варвару Михайловну, и после этого решительно объявила:

— Так как будто красивше, а для меня лучше как прежде.

— Очень рада,— улыбнулась этому искреннему ответу Варвара Михайловна.— Ну, а теперь давай одеваться.

Груня быстро расправила белое, с черными бархатными рукавами платье и ловкими, привычными руками стала одевать перед трюмо свою барыню. За сценой, тонкой, как бумага, слышался резкий голос Знойновой; она кричала на горничную:

— Дура, сильнее затягивай! Парикмахер! Черти! Дьяволы! Где вы? Да позовите же мне парикмахера!

— Сейчас придет, мамочка, — услышался издали голос антрепренера.

— Парикмахер! — крикнул он на весь театр. — Иди к Знойновой.

— Не разорваться же мне пополам! — резонно отвечал парикмахер из уборной тенора, который требовал скорее окончить завивку.

— Парикмахер! — взвизгнула Знойнова.

— Ну, черт с ней, иди, — согласился тенор.

Парикмахер, юркий еврейчик, с жиденькими подвижными усиками и потертым лицом, побежал к Знойновой со щипцам и машинкой и постучал в ее дверь.

— Нельзя. Я почти голая. Кто там?

— Парикмахер.

— Ну, парикмахер — можно.

На сцене была толкотня. Помощник режиссера, тонкий, худой, как спичка, длинноносый субъект, хриплым, усталым голосом кричал на переставлявших декорации рабочих:

— Церковь! Сюда церковь! Там цирюльня. Да приступочек к церкви-то, приступочек поставьте. Не прыгать же туда с разбега. Фиаметте-то! Ну народ, — горячился он и, вдруг опрометью бросившись за кулисы, крикнул: — Реквизитор! Реквизитор! Нет, это не реквизитор, а инквизитор. Рекви-зи-тор!

Явился реквизитор с ошалелым лицом и всклокоченными волосами.

— Достал собаку для нищего? — свирепо обратился к нему помощник режиссера.

— Достал, да...

— Где же она?

— У... убежала.

— Вот тебе — убежала! Вот тебе — убежала! Чтобы сейчас была собака. Хоть у губернатора укради, а чтобы была сию минуту! — наскоро дав реквизитору два тумака в шею, внушал он.

Но мы вскоре
Забудем горе... —

пел в верхних уборных чей-то фальшивый голос.

— Второй звонок! — крикнула Знойнова.

— Второй звонок! — как эхо, повторил антрепренер.

Помощник режиссера опять метнулся на сцену.

— Батюшки мои! На небе-то дыра! — вдруг **взвизгнул** он, глядя на декорацию, изображающую улицу в перспективе под открытым небом. — **Закреть ее** скорее падугой!

— Падуга не достанет, — раздался голос сверху.

— Ну, так облако спустить. Спускай облако! — **приставив** в виде рупора руки ко рту, кричал он кому-то **вверх**.

Над прорванной декорацией что-то зашевелилось.

Помощник всплеснул руками и закричал опять **вверх** отчаянно:

— Да что ты спускаешь-то? Ведь ты ангела **спускаешь** вместо облака! Ну народ! В гроб вгонят!

О, мой ангел, мой друг, с тоб-б-б-б-о-ою —

фальшивил голос...

Песнь моя, фюрлюрли, фюрлюрли-и-и...
Знаю я, фюрлюрли, фюрлюрли-и-и... —

подхватил другой голос, но дребезжащий звонок сразу покрыл их.

— Вы готовы, мамочка? — постучался у двери уборной Варвары Михайловны антрепренер, одетый в дурацкий костюм Ламбертучио, с накрашенным толстым носом и багровыми пятнами на висках.

— Зачем это вы лысый парик-то, Петр Саввич, надели на голову? Ведь у вас, батюшка, и без того голова-то, как коленка, лысая? — ядовито задала ему вопрос комическая старуха.

— Для искусства-с, — отрезал он с сердитым лицом.

Из уборной Варвары Михайловны послышался утвердительный ответ.

Антрепренер попросил позволения войти и с приятной улыбкой перешагнул порог ее уборной.

При виде его Груня от неожиданности приснула смехом и, забившись в угол, долго не могла успокоиться.

Петр Саввич в восторге оглядел артистку и, восхищенный, заговорил, однако настолько тихо, чтобы его не могли слышать в соседней уборной:

— Ангел. Одно слово — ангел небес. Гурия.

— Петр Саввич! — раздался крик Знойновой.

Он плутовато подмигнул Варваре Михайловне на соседнюю уборную и затем быстро направился туда.

Едва он вышел, Груня, красная, как пион, вышла из угла и через силу произнесла сквозь смех:

— Ой, батюшки! Даже в животе закололо. Чистый чиганашка леший, прости, господи,— и опять залилась смехом.

В соседней уборной зазвучал разговор, но в эту минуту заиграл оркестр, и Варвара Михайловна не слышала, по счастью, новых выговоров Знойновой антрепренеру.

При первых звуках оркестра привычное волнение артистки, давно не появлявшейся перед публикой, охватило Варвару Михайловну. Едва сдерживая лихорадочное возбуждение, она осматривала себя в зеркало и то и дело спрашивала Груню:

— Не видно ли юбок? Не морщит ли сзади? Не выбились ли из-под парика волосы?

Как холить надо почку...—

раздался из-за стены самоуверенный голос Знойновой.

«Не сел бы от волнения голос у меня!» — испуганно подумала Варвара Михайловна и взяла две-три ноты. Голос звучал свежо. Осторожный стук в дверь прервал эту пробу, и мужской голос спросил:

— Можно войти?

— Это ты, Андрюша,— узнав по голосу мужа, сказала Варвара Михайловна и, не дожидаясь ответа, разрешила.— Можно.

Андрей Михайлович вошел и, остановившись в дверях, быстрым взглядом оглядел жену.

— Ну что?— как-то застенчиво спросила Варвара Михайловна.

— Хорошо,— сдержанно похвалил он и, сняв шляпу, освободил себе местечко на скамье, и молча присел.

— Много публики?— спросила Варвара Михайловна, чтобы что-нибудь спросить.

— Да, много. Разумеевы уже здесь. Волнуются за

тебя ужасно. Они в ложе направо... крайняя... Старковы здесь... Цераловы...— хотел сказать он, но, вспомнив, что жена на днях приревновала его к Аише, удержался и спросил Варвару Михайловну:— Можно им к тебе?

— Нет, лучше после, в антракте,— отклонила Варвара Михайловна.

— Что, небось, волнуешься?— кривя губы в улыбку, спросил Бессонов.

— Да-да, волнуюсь, не особенно, впрочем, а все-таки волнуюсь,— отвечала она, глядя в зеркало и поправляя завитки волос на лбу.

Оба чувствовали в этот момент какое-то взаимное отчуждение, и , чтобы прекратить его, Бессонов проговорил, вставая:

— Ну сейчас третий звонок будет. Я пойду.

Она его не удерживала, но, выходя вместе с ним из уборной, чтобы осмотреть сцену, остановилась на пороге и тихо окликнула мужа:

— Андрюша!

Тот обернулся и снова затворил уже полуоткрытую им дверь.

Она быстро положила ему руки на плечи и посмотрела на него долгим виноватым взглядом.

Он не понял призыва жены и хотел поцеловать ее в губы.

— Нет, нет, я намазана,— отстранилась Варвара Михайловна.— А на голове парик. Поцелуй глаза. Ты ведь когда-то любил их,— dokonчила она дрогнувшим голосом.

— Когда-то! — пожал плечами Бессонов.— Точно я не люблю их теперь!— И, взяв ее голову обеими руками, он поцеловал ее в оба глаза и, почувствовав, что глаза эти были влажны, встревоженно спросил:— Варя, что с тобой?

— Ничего... Так... Нервы расстроились,— торопливо отворачиваясь от него, произнесла она и вышла за кулисы.

Он посмотрел ей вслед.

Первое появление Варвары Михайловны на сцене вызвало громкие аплодисменты. При рампе красота ее положительно бросалась в глаза. Пока она проходила

через сцену по направлению к церкви, аплодисменты не смолкали, но Варвара Михайловна даже не обернулась на них. Она шла, скромно потупив голову и на последней ступеньке остановилась. Щеки ее горели, глаза блестели еще сильнее. Вся публика слилась для нее в одно таинственное огромное существо с одним глазом и одним слухом, темневшее где-то вдаль за дирижером. С трудом подавляя это обычное артистическое волнение, она приняла знакомое вступление. Публика вдруг смолкла, и в напряженной тишине раздалась первые звуки голоса артистки: «Как холить надо почку». Варвара Михайловна прислушалась к ним и осталась ими довольна: голос звучал легко, свежо и полно, но слегка дрожал. С каждой нотой он креп, становился все гибче, и последние звуки широко и свободно пронесли по театру.

— Bravo! Бис! Бис! — дружно зашумела публика. — Бис! — не унималась она даже тогда, когда Знойнова, вспыхнув при этих аплодисментах, как при личном оскорблении, попробовала запеть. Артистка не хотела бисировать, но из-за кулис антрепренер умолял ее.

— Ангел. Уважьте! Уважьте! Ведь эта публика-то никогда ничего подобного не слыхала. Ведь это не голос, а, можно сказать, мандолина. Уважьте, ангел.

Варвара Михайловна должна была уважить и, повинуясь дирижерскому знаку, снова запела.

— Постой же. Я тебя уважу! — закусив губы, сказала себе Знойнова, и, лишь только Фиаметта запела, она приблизилась к собаке, разысканной наконец режиссером для нищего, и украдкой всадила ей булавку в тело.

Собака взвизгнула и огрызнулась на Знойнову, но как раз в эту минуту в оркестре зазвучало forte, и эта штука осталась замеченной немногими. Продолжать ту же игру с собакой не представлялось более возможным, да и Фиаметта уже кончила арию. Чтобы уничтожить успех соперницы, надо было придумать что-нибудь другое.

Опять треск аплодисментов проводил певицу. Опять Знойнова поспешила на авансцену, чтобы прервать их, и дала дирижеру знак, чтобы он продолжал. Дирижер принужден был махнуть палочкой, и она запела. На этот раз перебивать ее публике было уже неудобно.

Со своими полными, красивыми ногами в красном

трико, поднятым насколько было возможно высоко, с круглыми бедрами и стройным станом, затянутым в бархатный черный колет, она была очень эффектна. Черная шапочка с белым страусовым пером красиво лежала на ее выющихся волосах и оттеняла искусственную бледность кожи. Ее природные усики, слегка подчеркнутые, оттеняли алый чувственный рот, а густо подведенные глаза метали в публику стрелы.

Она изо всех сил напрягала голос, чтобы он звучал полнее и сильнее, помогая ему грациозными движениями рук и головы, но после пения Бессоновой публика сразу охладела к ее пению. Знойнова почувствовала это, ревнивое чувство, как порох, вспыхнуло в ней и, желая во что бы то ни стало превзойти соперницу и сорвать аплодисменты, она взяла финальную ноту октавой выше, чем Бессонова. Голос визгливо зазвенел и оборвался, как лопнувшая струна.

— Шш... — раздались шиканье публики.

Но поклонники Знойновой зааплодировали, и не успели аплодисменты затихнуть, как через дирижера к Знойновой протянулся букет по знаку сидевшего в правой ложе губастого господина в цилиндре.

— Дурак! — покраснев, прошипела Знойнова по адресу губастого джентельмена. — И преподнести-то вовремя не сумел.

Но, пытаясь в то же самое время казаться растроганной и прижимая к сердцу букет, она расшаркалась в ответ на жиденькие аплодисменты публики, большинство которой недоумевающе переглядывалось и переговаривалось между собою.

Знойнова была вне себя. По окончании своей сцены, вылетев, как бомба, за кулисы, она визгливо набросилась на случайно подвернувшегося антрепренера:

— Это черт знает что такое. Безобразие! Я играть не стану.

— Что такое? Что с вами, мамочка? — как бы не понимая причины ее волнения, залепетал антрепренер, мигая лукавыми глазками.

— Мне шикальщикова посадили, а ей клакеров. Вот что! Я не потерплю этого, слышите ли, не потерплю! — наступала она на него, топая ногой.

— Что вы, мамочка, образумьтесь! Какие шикальщики? Вам букет поднесли, а вы говорите: шикальщики.

— Букет. Букет. Вот ваш букет! — взвизгнула Знойнова, швырнув к его ногам букет и опрометью бросаюсь в свою уборную.

Стоявшие за кулисами хористы проводили ее насмешливыми взглядами.

— Ну, уж нет, это слишком. Слуга покорный! — возмутился Петр Саввич. — Что это я, в самом деле, чуть не лакея изображаю. Довольно! У меня контракт есть против всяких капризов да турдефорсов.

И он гордо повернулся в сторону.

Успех Бессоновой был полный. После первого же акта в уборную к ней явились с поздравлениями все ее знакомые. В маленькой комнате не хватало места, так что Бессонов сидел уже на ступеньках. Варвара Михайловна, как во сне, принимала все эти поздравления, растерянно улыбаясь и протягивая руку то одному, то другому. Антрепренер забежал к ней на минутку, хотел сказать что-то восторженное, но вместо этого только приложился к ее руке и пробормотал:

— Этакий голос! Этакий талант, да без пользы пропадает. Ведь у вас тут, — он указал на свое горло с огромным кадыком, — клад бриллиантовый. Ах, если бы мне да такую артистку, я бы в два сезона каменный дом на Невском нажил. Ей богу!

Варвара Михайловна слушала все это, слов почти не понимая, ловила только музыку их, и знакомая отрава разливалась по жилам.

Двое новоприехавших на постройку московско-светлорецкой железной дороги инженеров через кого-то из ее знакомых попросили быть ей представленными. Варвара Михайловна согласилась. Те явились красивые, упитанные и в свою очередь рассыпались в комплиментах. Бессонова совсем как бы не замечали, и это оскорбляло и раздражало его, но уйти он все-таки почему-то не мог. Порою Варвара Михайловна взглядывала на него опьяневшим взглядом, точно хотела сказать: «Право, я не виновата, что это так случилось». Но он с напускным пренебрежением встречал этот взгляд, и она, точно боясь дать разгореться в своем сердце жгучим искрам, быстро отводила от него глаза и снова погружалась в свое легкое и сладкое опьянение давно знакомым хмелем дешевого поклонения и лести.

— Какая пошлость! — не выдержав наконец и по-

краснев, процедил сквозь стиснутые зубы Андрей Михайлович и, не сказав никому ни слова, вышел из уборной и взволнованный направился в буфет, где, одна за другою, хватил рюмок шесть коньяку, закусывая его лимоном, посыпанным сахаром.

Несмотря на упрашивание почти всей деревни погостить у них, несмотря на болезнь Лейли, загадочную и опасную, Арасланов не мог и лишних суток остаться в Кумыш-Камаре: его неодолимо влекло опять в город, точно он оставил там часть самого себя, и необходимо было или вернуть эту часть обратно или слить себя с существом, которое им овладело.

Деловые тревоги на несколько часов отвлекли его от этого неотвязного чувства, но зато потом оно заговорило в нем с еще большею силою, и Арасланов с стесненным сердцем прощался со своими друзьями, обещая приехать в скором времени и сам почему-то не веря в это обещание.

На Лейли отъезд Арасланова упал, как сорвавшийся с горы камень. Надежда, засветившаяся было в ее глазах с его приездом, перешла теперь в зловещий огонек, от которого ей суждено было в скором времени растаять, но Арасланов и не подозревал ничего подобного, всецело поглощенный своими собственными чувствами и мыслями, и, садясь в повозку, не видел пары глубоких, темных и страдальческих глаз, устремленных на него из-за окна в безнадежном отчаянии.

В первый день приезда Арасланов не пошел к Квитковской: мучительная, почти болезненная нерешительность удерживала его, но на другой день, под вечер, он отправился к ней с твердым намерением на этот раз объясниться до конца.

Маша объявила ему, что барыня варит в саду варенье,— а барин,— насмешливо щуря глаза в сторону кабинета, шепнула она,— занимаются важными делами и просили их не беспокоить.

— Так доложите барыне,— попросил Арасланов, стараясь не глядеть в глаза прислуги, чтобы не выдать невыразимого беспокойства, которое охватило его, и того неизменного смущения, с которым он каждый раз перешагивал порог этого дома.

Маша, поджав губы, быстро скользнула на террасу и через минуту вернулась с просьбой пожаловать к бабыне.

Арасланов, замедляя шаги от волнения, прошел на террасу и тут при заходящих лучах солнца увидел Квитковскую.

Среди распутившейся зелени деревьев, в белом домашнем капоте с откидными рукавами, несколько растрепанная, с лицом, разгоревшимся от близости огня, она предстала ему совсем как бы в новом свете. Впрочем, это впечатление новизны он испытывал каждый раз при встрече с нею. Каждый раз не только лицо ее, но как бы все ее существо казались ему совсем чуждыми, и надо было встретить ее взгляд, услышать ее голос, в каждом звуке которого, казалось, слышался намек на их близость, чтобы это неприятное впечатление несколько сгладилось.

— А, наконец-то! — приветствовала его Квитковская, опуская на тарелку ложку, которой она снимала пенки с варенья, и делая навстречу гостю несколько шагов. — Простите, что принимаю вас так... по-домашнему, — указала она рукой на треножник с тазом, полным кипящего варенья, от которого шел мягкий и сладкий аромат полевой клубники.

Арасланов ничего не ответил на эту фразу.

— Садитесь вот сюда, — указала ему она место на скамейке против треножника. — Да тише! Ай, медведь какой! Чуть не опрокинул варенье, — улыбаясь, прибавила она, за рукав отводя его от треножника и подводя к скамейке. — Я сейчас буду опять снимать пенки с варенья. Вон оно как раскипелось, — продолжала она, приближаясь к треножнику и тщательно снимая с кипящего сиропа розовые пенки. — Вы любите пенки? — неожиданно обратилась она к Арасланову.

— Нет, — машинально ответил он, холодея от этого шутиwego незначительного тона, чувствуя, что она почему-то им недовольна, и поднимая на нее вопросительный взгляд.

Она поняла, что причинила ему некоторую боль. Это состояние его доставило ей почти физическое удовольствие, и она с наслаждением бы продолжала его, но не хотелось, чтобы он догадался об истинной причине ее

мучительного для него тона, и она поспешила проговорить в виде объяснения:

— Кажется, вы уж не первый день в городе?

Арасланов принял этот намек за истинную причину ее неудовольствия и, краснея за мелькнувшее было у него подозрение, облегченно ответил:

— Да, я приехал вчера.

— А-а,— протянула она, снова снимая пенки, и, высунув, как жало, тонкий кончик языка, лезнула осторожно горячую ложку, оставив следы варенья на слегка приподнятой верхней губе.

— Значит, вы знали о моем приезде?— спросил Арасланов.

— Да. Мне Брызгалов говорил,— с деланным равнодушием ответила она, опять продолжая слизывать с ложки пенки.

— Брызгалов? — вспыхнул Арасланов.

— Ну да,— спокойно ответила она, облизывая губы и вытирая их платком, взятым из-за широкой лиловой ленты пояса.

— И вы принимаете его у себя после того, что я вам говорил о его мошеннических проделках с башкирами?

— Ах, боже мой, что же тут такого!— пожалва плечами, возразила она с полупрезрительной, полунасмешливой гримаской.— Во-первых, мне нет никакого дела до закулисной деятельности господина Брызгалова, а внешне — он совершенно приличный человек, занимает известное общественное положение и для нас, провинциалов, достаточно воспитан.

Его взгляд задел ее за живое, и она, слегка раздраженная, заметила:

— Что касается до употребленного вами грубого выражения, оно извиняется и объясняется только тем, что Брызгалов ваш противник.

— Что? Противник! — покраснел Арасланов, готовый придать ее выражению двойной смысл, и неестественно рассмеялся.— Противник! У меня нет противников, которым место на скамье подсудимых. С таким же правом можно, пожалуй, назвать моим противником собаку, у которой я вырвал украденный у нищего кусок хлеба.

— Вы хоть бы пощадили нас. Ведь он все-таки у нас принят,— ядовито заметила Квитковская.

— Ради бога, простите! — с трудом переборов заки-

певшее в нем негодование, проговорил Арасланов, стискивая в коленях руки.— Но если бы вы только знали, какие возмутительные вещи проделывал этот господин, чтобы обездолить целые сотни людей, вы бы не осудили за мой невоздержанный тон.

— Вы, наверное, преувеличиваете. Он мне сам совершенно искренне рассказал, в чем дело, — холодно перебила его Квитковская.

— Рассказывал, в чем дело?— каким-то высоким тоном воскликнул Арасланов.— Он вам все это рассказывал? И о подлоге, и о воровстве, и о целой массе возмутительных вещей!

У нее изменилось лицо; сверкнул не то злой, не то испуганный огонек, и, отвернувшись от гостя, она строго заметила:

— Поостерегитесь в выражениях. Брызгалов не способен на подобные вещи.

— Хуже. Если бы он сам выкрал из мечети бумаги, сам сделал явный подлог в приговоре, за то он сам бы и отвечал. Господин же Брызгалов подкупает на эти подлости каких-то несчастных и обрекает их вместо себя в тюрьму! — почти в бешенстве вырвалось у Арасланова.

Он тотчас же раскаялся в своей несдержанности, боясь, что вызовет новый взрыв неудовольствия со стороны хозяйки, но, к его удивлению, она довольно сдержанно, хотя и внушительно, проговорила:

— Повторяю вам, вы увлекаетесь.

— Вам докажет это суд, а самым лучшим доказательством может служить то, что дело скоро пойдет в Сенат, и нет никакого сомнения, что Сенат, во-первых, разрушит договор, во-вторых, покарает виновных.

— Ну, вот видите. Значит, еще до этого далеко. Вы передаете мне положение дела так, а Брызгалов передавал мне его совершенно иначе, и уж одно то, что он безусловно надеется на утверждение Сенатом купчей крепости, доказывает, что дело обстоит совсем не так ужасно, как передаете вы. Pardon,— остановила она Арасланова, решительно подняв руку с ложкой, с которой скатилась ей на рукав золотая капелька варенья.

Арасланов, оскорбленный тем, что его словам дают меньше веры, чем словам Брызгалова, мрачно сдвинул брови, и прежнее подозрение опять зашевелилось в нем.

— Я ничего не понимаю в делах, и этот разговор совсем меня не интересует,— закончила Квитковская и стала размешивать варенье.

Арасланов провел рукою по лицу, точно желая снять с него тяжелую маску, и опять присел на скамью, опустив на поставленные локтями в колени руки свою черную коротко остриженную голову.

Она почувствовала необходимость загладить хоть несколько этот неприятный разговор и, внимательным взглядом убедившись, что они одни, быстро наклонилась к нему и поцеловала его в голову.

Арасланов поднял мгновенно озарившееся радостью лицо.

— Не стойте этого,— капризно надув губки, встретила она его взгляд, заплывший страстью.

— Если бы ты знала,— совершенно обновленный, начал он, невольно переходя даже на «ты», но она с притворной досадой остановила его:

— Ах, я не о том! Повторяю, что дело мне не интересно и конец. Меня возмущает, что вы начинаете забывать меня.

— Я? Забывать! — возвышая тон, горячо и искренне воскликнул Арасланов.— Да я скорее забуду ходить с открытыми глазами. И если я не пришел к тебе вчера, то потому, что хотел видеть тебя после разлуки не здесь, только не здесь!— повторил он, бросив страдальческий взгляд по направлению дома.

— Это не оправдание.

— Но пойми ты меня. Мне стыдно встречаться с твоим мужем. Я боюсь в глаза ему взглянуть: мне кажется, что он все знает и обо всем читает у нас на лицах. Я убежден, что и тебе это тяжело. Иначе быть не может,— краснея при воспоминании слов Бессонова, продолжал он, с отвращением закрывая глаза и переживая всю горечь знакомых и ненавистных ощущений.

— Вот вздор.

— То есть, как вздор?— пораженный, вскинул на нее глаза Арасланов.— Ведь то, что мы делаем, это воровство. Ведь мы обкрадываем его самым бессовестным образом.

Она покраснела и, тряхнув головой, пожала плечами и ответила уклончиво:

— Я хочу сказать, что люблю тебя, а любовь все освящает и оправдывает.

Эта фраза, случайно где-то вычитанная, была произнесена скороговоркой, но он возразил на нее совершенно серьезно:

— То есть, с одной стороны, до некоторой степени, пожалуй, оправдывает, но, с другой стороны, ведь это положение ужасно. Ложь. Ложь. И ложь! — повторил он с содроганием ненавистное слово. — Она отравляет все мое счастье! Она самые поцелуи заражает ядом.

Ей хотелось улыбнуться в ответ на этот приподнятый тон, но она воздержалась и, старательно мешая варенье, проговорила притворным грустно-покорным голосом:

— Но что же поделаешь. Счастье почти всегда оплачивается страданием.

Она произнесла эту банальную фразу, совершенно не веря в нее, но Арасланову все, выходящее теперь из ее губ, казалось глубоко значительным и важным. Он горячо возразил:

— Это правда, но страдание страданию рознь. Я с наслаждением готов принять какое угодно страдание за твою любовь, но ложь... ложь... отвратительна мне. Она оскорбляет мое чувство к тебе.

— Что же делать? Ведь это неизбежно! — переставая мешать варенье, отвечала она.

Он почувствовал, что настал момент высказать ей давно задуманное, и, поднявшись со скамьи, ломая руки, умоляюще произнес:

— Не говори так. От тебя вполне зависит избежать этой лжи.

Лицо ее выразило непритворное изумление.

— Я знаю, что хочу почти невозможного, — продолжал он. — Но я люблю тебя. Люблю в первый и последний раз в моей жизни, и если ты согласишься принести жертву, без которой для меня немислимо истинное счастье, я все силы употреблю, чтобы ты никогда не почувствовала раскаяния.

Ее испугал этот как бы из сердца вырвавшийся голос, этот широко открытый воспаленный взгляд, и она, в надежде, что ошиблась, растерянно ответила:

— Право, я не понимаю, что вы хотите?

— Любви. Одной только любви! — повторил он.

— Но ведь я люблю вас. Иначе я бы не решилась на такой шаг.

— Да, да, я понимаю. Именно потому, что этот шаг уже сделан, что возврата нет для нас обоих, я убежден, что лучше поступить так, как я умоляю тебя.

Она глядела на него во все глаза, забыв о варенье и касаясь ложкой полы капота.

— Жертва, которую я прошу, громадна. Я знаю, что вам тяжело будет разорвать связь с мужем, с обществом, лишиться известного положения и вверить мне свою судьбу, но если любовь твоя составляет хоть сотую часть моей любви к тебе, ты поймешь, что другого исхода нет.

— Это безумие,— быстро закачав головою, отвечала она.— Во-первых, муж не даст развода: он не захочет скандала и уж, конечно, не возьмет вины на себя.

— Знаю, знаю! — в отчаянии перебил он ее, чувствуя, что все рушится. — Знаю. Вы должны будете оставить все. Пускай общество отвернется от вас. Мы уедем в деревню и там, рука с рукою, будем помогать тем, кто лишен не только этого счастья, а даже воздуха и света.

Но она не дала договорить ему и рассмеялась злым смехом.

Он, пораженный, побледнел, как бумага, и устремил на нее неподвижный горящий взгляд.

— Да вы с ума сошли,— низким шепотом, отделяя слова, выговаривала она, обрывая смех.— Вы зовете меня открыто-стать вашей любовницей и взамен этого положения в награду предлагаете мне жизнь в деревне и утиранье носов сопливым ребятишкам.

— Не говорите так!

— Нет-с, извините-с. На такую любовь,— с насмешливым ударением выговорила она,— на такую любовь я не способна.

— А на ложь способна! — полный негодования, вспомнив опять слова Бессонова, выкрикнул он.

Она, оскорбленная, бросив на него негодующий взгляд, повернулась, чтобы уйти.

— Прости! Умоляю тебя, прости меня! — стоном вырвалось у него, и, схватив ее за кисть руки своими сильными пальцами, он повторял, путаясь и заикаясь:— Прости, я сам не помнил себя... У меня все мутится в

голове... Прости! — Она остановилась и все еще оскорбленная, не глядя на него, заговорила, как бы про себя:

— Ему мало той любви, которую я даю. Другой был бы бесконечно счастлив на его месте, а он заявляет какие-то дикие претензии. Это слишком скучно!

Ее пренебрежительный тон и слово «другой» взорвало Арасланова опять и, выпустив ее руку, тяжело глотнув воздуха, уже не владея собой и чувствуя, что все губит одним ударом, он со сверкающими глазами спросил:

— Кто же этот — другой? Уж не Брызгалов ли?

— А хоть бы и Брызгалов! — гордо подняв голову, встретила она его дерзость.

— Так значит все правда!.. Правда! — в исступлении бормотал он, едва шевеля запекшимися губами.— Правда, что он землю для тебя купил... Тебя купил.

— Правда! — вызывающе ответила она, глядя на него в упор остановившимися и беспощадными глазами.

— Лжешь! Говори, что ты лжешь!

— Не лгу. Правда! — с искаженным лицом повторила она.

— Лжешь! Лжешь! Лжешь! — хрипел он, изнемогая от бешенства и умоляя в то же время. — Лжешь!

Он рванулся к ней и стиснул ей руки так, что ногти его вонзились ей в кожу. Она как-то сжалась от боли и скрипнула зубами, пытаясь вырваться, судорожно уходя головою в плечи и дрожа не от страха, а от злобы.

— Лжешь! Лжешь! — как в бреду, все еще повторял он.

На его помертвевшем лице глаза страшно горели, и из-за искаженных губ, как у волка, сверкали до боли стиснутые зубы.

— Лжешь! — все еще шептал он, задыхаясь, и шепот этот вылетал сквозь зубы, как шипенье.

— Правда, правда,— шипела так же она, как в беспомощности, все еще продолжая инстинктивно судорожно извиваться в его железных руках.

— Лжешь!

Ей показалось, что рука ее сейчас переломится... Она изогнулась и, как-то взвизгнув:— Правда!— вцепилась ему зубами в руку.

Кровь брызнула из его руки ей на подбородок и губы.

Он опустил руки.

— Правда! — торжествуя и дрожа от торжества, снова выкрикнула она, вытянув перед ним голову и вся подавшись вперед.

Точно буря ударила Арасланова и ворвалась в него.

Мысли его сорвались и смешались, как подхваченные ураганом желтые листья. Все завертелось и запылало перед его глазами. Его точно с силой толкнуло что-то вперед.

— Собака! — кто-то воплем крикнул из него. Он стиснул дрожащее и вьющееся тело. Швырнул его оземь и в бешенстве хотел растоптать, как гадину, но что-то опять схватило его, как лист, и понесло прочь по аллее к оврагу, заставляя в то же время рыдать и рвать на себе волосы.

Все так же не помня себя, он перескочил через грязный заросший кустарником овраг и, бог весть как, очутился за городом, в степи. Небо закрылось тучами, точно бредило. Ему казалось, что эти тучи ползут на него и грозят раздавить. Он не знал — утро или вечер. Слепое бешенство все еще крутилось и бушевало в нем. Ему хотелось броситься на землю, кататься по ней, извиваться и грызть ее до крови зубами, топтать и царапать ногтями. Страсть, непреоборимая, животная страсть разорвала и сбросила с него, как ветошь, годами завоеванную культурную оболочку, и дикий, иступленный башкир вырвался из нее на свет. Ему хотелось бы вскочить на такую же, как он, дикую степную лошадь и гнать ее, бить и терзать, чтобы она сильнее вихря летела вперед и вперед, и потом с разбега ринулась вместе со своим всадником в пропасть и, не долетев до дна, оставила на острых уступах и камнях куски разорванного тела.

Арасланов не явился домой ни на этот ни на другой день. Бессонов не знал, что и думать об этом внезапном исчезновении. Уезжать Арасланов никуда не собирался, да, наконец, если бы он куда-нибудь уехал, — он захватил бы с собою какие-нибудь вещи, уведомил бы хозяев. Однако другого объяснения подыскать было нельзя, волей-неволей приходилось остановиться на его неожиданном отъезде и ждать от него каких-нибудь известий.

Но, принимая во внимание некоторые обстоятельства

и настроение Арасланова в последние дни, Бессонов решил, если не получит об Арасланове никаких известий в последующие три дня, послать телеграмму в Кумыш-Камар и вообще употребить все меры, чтобы узнать, где он и что с ним.

К удивлению его, Варвара Михайловна как-то холодно отнеслась к этому событию: она казалась чем-то подавленной, и Бессонов объяснил себе ее настроение происшедшей между ними после спектакля крупной размолвкой, когда с той и с другой стороны было немало наговорено грубых справедливых и несправедливых упреков. С той поры они почти не разговаривали между собою, и Андрей Михайлович, чувствуя себя более виновным, отлично знал, что гордость не позволит Варваре Михайловне первой протянуть ему руку, а сделать это сам он упрямылся.

Накануне дня, назначенного для справок об Арасланове, проходя вечером через комнату жены, он застал ее сидящей перед своим портретом. Во всей ее позе, в лице, в глазах, было столько глубокой, задумчивой грусти, она так была охвачена этой грустью, что не заметила появления мужа. Она не плакала, но слезы капались из ее глаз в то время, как лицо ее казалось окаменевшим. Ему стало жаль жену, и, сразу забыв о своем упрямстве, он подошел к ней и опустил на колени у ее кресла.

Варвара Михайловна обернулась к нему с таким лицом, точно он застал ее за преступным делом.

— Прости... прости меня, Варя! — опустив к ней на колени голову, искренне проговорил он и в ответ услышал громкое рыдание.

Варвара Михайловна плакала, как-то по-детски всхлипывая, вздрагивая всем телом и повторяя сквозь слезы:

— Нет... ты... ты прости меня... Милый. Любимый.

На другой день, вернувшись домой из управы, Бессонов прежде всего справился у прислуги: не приехал ли Арасланов.

— Нет.

— И барыня еще не приехала?

— Нет, и их нет.

Варвара Михайловна вчера уехала на дачу к Старковым, но к обеду он просил ее вернуться. Она обещала. Ее неаккуратность удивила Андрея Михайловича.

— Письма есть?

— Есть. В кабинете.

Он прошел к себе в кабинет, надеясь найти письмо от Арасланова, и здесь на ворохе газет увидел синий конверт с городским штемпелем. Взглянув на адрес, написанный знакомым почерком, он побледнел: письмо было от Варвары Михайловны. Дрожащими руками разорвал он конверт, надорвав самое письмо, и, прыгая глазами от одной строчки к другой, в один миг прочел письмо, вернее, схватил его содержание и, беспомощно зарывав, упал в кресло, повторяя: «Сам виноват... Сам...»

«Я уезжаю, — писала Варвара Михайловна. — Дальше наша совместная жизнь представляется мне невозможной. Я бросила сцену, надеясь, что твоя любовь и семейная жизнь заставят меня забыть о ней, но твоя любовь ко мне охладела, а детей — детей, которых я так люблю, которые заменили бы мне все в мире — мне не дал бог. Прости меня, мой милый... Мой милый... Мой любимый... Не пытайся разыскивать меня... Так лучше... Будь счастлив. Этого я желаю для тебя больше всего на свете».

Это сбивчивое письмо было написано беспорядочным, нервным почерком. Внизу следовал адрес, куда она просила выслать отдельный вид на жительство и некоторые вещи, но Андрей Михайлович увидел его гораздо позже.

Через неделю после этого события Арасланов объявился верст за двадцать от Светлорецка, в какой-то башкирской деревушке, где он выдавал себя за пророка, вторично посланного в мир. Старков взял его под свое покровительство и деятельно принялся за его лечение. Арасланов выздоровел, но это выздоровление мало принесло ему отрады: он забыл все, что приобрел тяжким трудом: все научные знания, все понятия, связанные с образованием, даже русский язык. Он вышел из больницы тем диким башкиром, которым двадцать лет тому назад был привезен в Светлорецк, с опытом и рассудком восьмилетнего ребенка, и эти двадцать лет оставили в его голове след, похожий на фантастический, туманный сон,

виденный когда-то давно-давно. Старков нашел в этом необычайном явлении новое и самое разительное подтверждение наследственности и даже написал по этому поводу весьма остроумную статью. В интересах науки ему было чрезвычайно любопытно проследить, может ли Арасланов со временем вспомнить все приобретенное, но Арасланов исчез из Светлорецка, и никто больше не слышал о нем с той поры ни слова.

Э П И Л О Г

Короткая летняя ночь обняла степь. Тихим блеском светятся над нею неисчислимые сонмы звезд. Полоска алого света, оставшаяся на западе от багряного солнечного заката, торжественно приближается к востоку: словно невидимая богиня по склону неба несет к восходу солнца свой величественный факел. Тонким серебряным серпом рисуясь на синем фоне неба, точно врезанный в него, замер молодой месяц, и, издали любясь им, дрожат звезды. Степь и спит и не спит... Обрызганная теплою росой, она все видит, все слышит и немолчно звенит своим нестройным, сдержанно-мягким звонком. Точно миллионы маленьких сердец, стучат в траве кузнечики, перекликаются перепела, скрипят коростели... Лягушки квакают в болоте, а полные аромата сонные травы таинственно шепчутся во сне. Унылый костер пыласт среди степи на берегу большого, заросшего камышом и уремою озера. Лениво колышет ветер его чуткое пламя, и от этих колебаний дрожат по траве пугливые и фантастичные тени. Вдали чернеют силуэты пасущихся коней, порою в тишине слышится их сопение и сонное ржание.

Возле костра, поджав под себя ноги, сидят трое башкир: один старик, седой, как лунь, и двое подростков. Порою один из подростков приближается к огню и облитый его пламенем с ног до головы, отчетливо выступая из мрака, мешая тростинкой в котелке, подвешенном над костром.

В котелке варится уха из только что выловленной в озере свежей рыбы. Старик — рыбак из ближайшей деревни; малайки — его внуки. Они стерегут табун лошадей. В прошлую ночь карак Якупка увел пару лучших кобыл и грозил в эту ночь увести еще, да не тут-то бы-

ло. Нынче ему это не удастся: лошади пасутся вблизи, и, кроме того, они захватили с собою против злого человека старую винтовку, заряженную пулей. Пусть жалуется на себя, если задумает подойти близко.

Чуть только заржет лошадь, их смуглые, грубые лица чутко настораживаются и взгляды обращаются на винтовку. Но тревога проходит: то филин бросился около коня на задремавшую на ветке птичку и испугал лошадь. Снова около огня воцаряется мир, и снова, под треск горящего костра, течет спокойная беседа.

Но вот уха готова, и, разделив между собою каравай хлеба, все трое уселись вокруг котелка и взялись за ложки. Вдруг в тишине заржала лошадь, и они насторожились. Прищуриив свои живые карие глаза, все смотрят по тому направлению, откуда послышалось ржание коня. Вот испуганно шарахнулась в сторону другая лошадь, и в темноте шевельнулась какая-то одинокая фигура.

— Карак, — прошептал кто-то и, не говоря ни слова, схватился за винтовку.

— Т-сс... — остановил его старик. — Злой человек боится огня, как ночная птица, а он идет сюда... Видишь, Ахмет?

Действительно, путник приблизился к огню, и фигура его все яснее и яснее выступала из мрака. Вот он подошел к сидящим и, склонив голову, приветствовал их тихим голосом:

— Асселям-алейкюм.

— Уа алейкюм-асселям, — ответили все трое, с головы до ног оглядывая путника.

Его загорелое, еще не состарившееся лицо не знакомо им. Может быть, это новый сообщник конокрада? Нет, он не похож на вора: его глубоко ушедшие в орбиты глаза полны тяжелой печали, его поблекшие впалые щеки носят печать бессменных страданий и лишений. Он, видно, издалека. Об этом говорят и его запыленные лохмотья и его исцарапанные о камни и кустарники голые ноги. Зачем спрашивать его: кто он? Это, верно, нищий.

— Садись к нашему огню и раздели с нами ужин, — предложил бедняку старик, подавая ему свою ложку.

— Рахмет, — ответил тот и, положив на траву свой посох, с молитвой сел рядом возле дымившегося вкусным паром котла.

Ужин на время остановил беседу. Все сидели, молча

погружая свои ложки в котелок. Порою незнакомец со вниманием взглядывал на старика, словно старался вспомнить когда-то и где-то виденные им подобные черты и, наконец, спросил его:

— Кто ты и как тебя зовут!

— Меня зовут Сулейман, — ответил старик, поднимая седую голову. — Я рыбак, а живу в Кумыш-Камаре.

— Лицо твое кажется мне знакомым, — продолжал путник, с болезненным напряжением хмуря брови, — но я не могу вспомнить, где и когда я видел тебя.

— Ты нездешний? — спросил в свою очередь старик.

— Нет, я издалека.

— Где же твой дом и твоя земля?

— У меня нет ни дома, ни земли.

— А как зовут тебя?

— Меня зовут Араслан Галий.

Старик долго взглядывался в его лицо и наконец, как бы отвечая своим собственным воспоминаниям, покачал печально головою и ответил:

— Нет, я тебя не знаю.

И, отерев ложку о траву, он сотворил молитву, отошел от котла и подбросил хвороста в огонь.

Пламя снова вспыхнуло, и ночные тени отпрянули от него далеко в сторону.

— Ну досказывай же нам свою сказку, — обратились к старику внуки, растянувшись на спине около костра и глядя вдумчивыми глазами в усеянное звездами небо.

Старик поправил огонь, лег на траву рядом с ними и продолжал тихо и медленно:

— Далеко разнес ветер народной молвы славу о батыре Зая-Туляке. Когда еще он был совсем дитя, разуму его дивились мудрейшие муллы, а силе — славнейшие батыры. Не было ему равных ни на советах, ни на сабантуях. Ожил башкирский народ и с надеждой поглядывал на своего князя молодого: не он ли призван спасти его от подлого ногайского ига?

Зачарован был батыр семью духами от вражьей стрелы и от смертельного яда, да позабыли духи его зачаровать от огня женских глаз, которые страшнее всех вражьих стрел и смертельного яда. Близилось уже то время, когда батыру стоило тряхнуть своей грозной рукой, чтобы сорвать ненавистные цепи с башкирского народа, да тут-то и случилась с ним нежданная беда.

Охотился однажды юный Зая-Туляк за дикими волками. Выгнав их из дремучего леса, точно орел летал он за ними с нагайкой по широкой степи и загнал около озера Аслы-Куль дикого зверя. Устал батыр. Захотелось ему пить и подъехал он на неутомимом коне своем к зеленому берегу озера, а вода в этом озере прозрачна и чиста, как взгляд девушки. Подъехал батыр с конем к воде, и отразило озеро юного красавца-батыра на коне. И увидела его со дна глубокого озера змея Юха, что сто лет перед этим была аждагой, а за сто лет еще перед этим — просто змея Зюлан. Юха могла принимать на себя всякий вид, чтобы приносить зло людям, и обратилась она перед Зая-Туляком в неслыханную красавицу. Выплыла красавица на зеленый берег и стала расчесывать свои золотые волосы драгоценным гребнем. Точно пена белая, блестело тело ее, глаза — как две звезды самых крупных, а грудь как водяные лилии. Увидел ее юный Зая, дрогнуло его пылкое сердце, забыл он и народ свой и свои клятвенные обеты и, прикованный, точно цепью железною, глазами к красавице, крикнул:

— Словно молния в молодой дуб, вонзилась любовь в мое сердце! Я люблю тебя, красавица! Люблю больше всего в мире! Пойдем со мною. Не пойдешь волей — возьму силою!

А она сидит, глаз с батыра не сводит и свои золотые волосы расчесывает.

Тронул Зая своего коня, да, видно, чуял добрый конь погибель своего повелителя. Не двинулся он к водяной Юхе, и разгневался на своего друга батыр и в первый раз оскорбил его ударом нагайки. Вздрогнул благородный конь и стрелою ринулся к обольстительной красавице.

Не успела скрыться волшебница в железный дворец, на глубокое дно. Сама она была уже на середине озера, а волосы ее золотые — еще на зеленом берегу. Схватился Зая за ее волосы, да не совладала богатырская рука с силой волшебницы: вместе с сильным конем стащила она его с зеленого берега. Сама плывет и Зая с конем за собою ведет. Крепко держится Зая за ее волосы, опоясав себя ими, точно широким золотым поясом. Вот он уже почти на середине озера. Нырнула красавица на самое дно, а волосы ее все еще стелятся по воде, точно лунный свет. Крепко обвился ими Зая, крепко держит-

ся он в расшитом седле. Потянула к себе красавица, и простился Зая навсегда с вольной волею и с родимую степью.

Пропал наш батыр. Никто не пришел ему на смену, и должен был башкирский народ обратиться за помощью к чужим людям. Прогнали те ненавистных ногаев, ну, да чужой народ чужим и останется.

Грустно закончил Сулейман свою сказку и замолк.

Долго молчал он, потом покачал своею седою головою и, точно про себя, молвил:

— И у нас явился было свой Зая-Туляк назад тому полтора десятка лет. Тоже был он и красив, и умен, и учен. Зачарован был наш Зая от лихого глаза и от вражьей пули, да попал под ясные взоры чужой красавицы, и погубила она нашего Зая. Продал он за красоту ее народ свой и пропал без вести. А звали его так же, как тебя,— обратился Сулейман к нищему с влажными от слез глазами,— Араслан-Галий...

Дрогнул тот и отвернулся, как будто для того, чтобы помешать огонь умиравшего костра, а старик продолжал:

— Будь жив наш Араслан-Галий, избеги он чар волшебницы,— жили бы мы, как в стародавнее время, в приволье и довольстве, а теперь...

Старик не хотел договаривать и грустно махнул рукою.

Молчал и гость. В темноте не было видно его лица. Случайно уцелевшая ветка вспыхивала порою в догоревшем костре вялым пламенем, шипя и извиваясь, как золотая змейка, и освещала его лохмотья. Уголья еще горели красновато-золотистыми переливами, но мало озаряли темноту. Молодой месяц грустно поник вдали над курганом, точно ему не хотелось покидать небо над степью. Звезды как бы утомились и, казалось, затаили свет. Степь еще дышала, звенела и пела торжественно, но сдержаннее, чем раньше. Перед рассветом, верно, ее тоже клонило к дремоте.

Старик взглянул на внуков. Они давно спали. Нищий сидел, согнувшись, неподвижно, свесив на грудь голову. Верно, и он спал. Старик поглядел на этого странного пришельца, вспоминая своего без вести пропавшего Араслан-Галия, и заныли его старые раны о судьбе своего батыра и о судьбе родного народа; пододвинулся он

к костру, от которого чуть-чуть веяло теплом, и, съжившись всем своим худым длинным и костлявым телом, положив руки под голову, тоже задремал, обратясь к огню спиной. Уголья стали подергиваться седым пеплом. Огонь еще пробежал по серой легкой поверхности его золотыми зигзагами, но и они становились все реже.

Все спали.

Тогда Араслан-Галий медленно поднял голову и оглянул спящих. Никто не пошевелился. Он взял палку свою, так же медленно выпрямился и поглядел вперед, туда, где за курганом скрылся месяц. В темноте его фигура казалась странно большой и совсем черной, точно вылитой из чугуна. Он простоял с минуту и, опустив голову, побрел, как во сне.

Перед рассветом ночь потемнела еще более, точно нахмурилась. Потом вдруг стала медленно сесть. Стоя спавшая лошадь, мимо которой бесшумно двигался Араслан-Галий, не шевельнулась и только повела ушами, смотря на него своими задумчивыми большими и грустными глазами. Он двигался, как призрак, и с каждым шагом фигура его все больше теряла свои очертания. Вот уже кажется, что он не идет, а скользит, как тень, по ровной дремлющей степи. Даль все темнее, и эта тень начинает уже бледнеть и маячить на ней, то сливаясь с мраком, то смутно выделяясь из него. Порою она кажется похожей на волка. Вот еще раз выступило какое-то продолговатое бледное пятно... Трудно сказать, близко оно или далеко... Может быть, там, на горизонте. На этот раз оно продержалось мгновение на тусклой синеве неба, как вздох на матовом стекле, и так же, как вздох, растаяло. Тень смешалась с мраком и исчезла.

1897 г.

КУРАЙЩИК *

Р а с с к а з

Последняя надежда Меннигарея рушилась. Уж если «своя людя», Сулейман, отказал Меннигарею в хлебе, к другим, значит, и показываться незачем. Да и к кому другим-то? Разве Меннигарей не побывал всюду, куда его толкала хоть маленькая надежда на хлеб? С самого раннего утра нынче вышел. В двух соседних деревнях успел побывать. Дворов десять обошел. Везде Меннигарея принимали ласково. Он был лучший курайщик не в одной только Исы-Кульской волости, и на сабантуях, на свадьбах почетным гостем считался. Но ласка не хлеб. Ею сыт не будешь зимою. Да одному бы еще туда-сюда, а вот коль дома двое ребятишек да баба голодная ждет, тут завоешь волком.

Как теперь им Меннигарей покажется на глаза? Нынче на рассвете, уходя из избы, чтобы не видеть этих жадных, умоляющих глаз и ослабевших, исхудалых членов, чтобы не слышать этих тихих детских просьб: «Икмяк»... ** и в ответ на них не видеть тупого и безнадежного взгляда своей бабы Фарихи, Меннигарей обещал непременно принести хлеба, целый мешок... Меннигарей был добрым отцом и мужем. Не его вина, что аллах прогневался за что-то на степь и послал на нее голод. Даже и в зажиточных семьях хлеба не достало. Все голодают — и башкиры, и русские хуторяне. Мелкие

* Кур ай — дудка.

** Хлеба.

хозяева совсем обнищали. У кого какая скотина была — распродали за бесценок. Когда самим есть нечего, где уж скотину держать! Хорошо, кому удалось к богатым людям в работники наняться или у тех же богатых людей хлебом раздобыться, чтобы потом отдать сторицей или отработать по уговору летом.

А кто же поверит в долг Меннигарею? Хлеба он совсем не сыпет *, а о труде и думать нечего: ни сохи, ни косы он в руки взять не умеет. Живет как птица небесная. Начальство, было, пробовало принуждать Меннигарея к землепашеству, да видит, что ничего не выходит из этого, махнуло на него рукой. Надельную землю свою Меннигарей отдал обществу: только бы его не беспокоили недоимкой.

— Арндам земля гуляйт,— объяснил Меннигарей,— сохой земля рвать жалко, травка косой резить жалко.

Однако наряду с этими нежными чувствами к земле Меннигарею ничто не препятствовало быть заядлым охотником и беспощадно уничтожать во множестве водившуюся вокруг деревни дичь. Меннигарей промышлял даже по временам охотой, хотя главным орудием для добывания средств к жизни Меннигарею служит с ранней весны до глубокой осени неизменный друг — курай.

При помощи курая он и на зиму обыкновенно сколачивал кое-какие деньжишки и раздобывался съестными припасами. Не оставляли в случае нужды и добрые люди. Так Меннигарей и перебивался из года в год.

Никогда еще такого дурного времени не было у Меннигарея, чтобы он, как нищий, переходил из одного двора в другой, прося помочь ему в беде.

Даже у земского был Меннигарей. Обещал земскому и уток, и гусей, и всякой дичи летом доставлять... даже лису обещал предоставить, если попадетя к нему на капкан. Но земский хлеба не дал. Спасибо хоть за то, что на кухне велел накормить Меннигарея, и от этого обеда у Меннигарея остался кусок хлеба, который он бережно нес за пазухой домой.

Но разве одним караваем накормишь всех? А завтра? Разве не тот же голод будет и завтра, и еще много дней впереди?

* Сеет.

К Сулейману Меннигарей пошел к последнему.

Сулейман был родственник Меннигарея, человек богатый, у которого имелось много скота, две жены и мельница на реке Азнайке. Меннигарей чувствовал к Сулейману, как человеку богатому, большое уважение, даже гордился этим родством, но не любил Сулеймана, который смотрел на Меннигарея как на бездомника. Меннигарей бывал у него в гостях, но держал себя там с большим достоинством, ни с какими просьбами о помощи к нему не обращался никогда, и только безвыходное положение вынудило его теперь идти на это унижение.

Сулейман точно угадал, с чем пришел к нему Меннигарей, завздыхал, заколыхался всем своим толстым туловищем на кривых коротких ногах и, то и дело поминая аллаха, стал жаловаться на тяжелые времена и на то, что от нищих отбоя нет.

Меннигарей хорошо знал, что от этих действительно тяжелых для бедных людей времен у Сулеймана становился тяжел карман, но не противоречил ему. Меннигарея как будто даже обидело, что тот подозревал об истинной причине его посещения, и, чтобы поддержать свое достоинство, он начал рассказывать, что был у земского в гостях, и не удержался, чтобы не приврать для пушей важности.

— Сяй с ним пил, — фантазировал Меннигарей, — гостинца детишкам дал мне земский... Звал каждый день в гости ему гулять.

Но упоминание о гостеприимстве земского нимало не тронуло Сулеймана и не вызвало его на соответствующее угощение. Он сидел на нарах, согнув иксом ноги, как бы уходя всем существом в свой живот, и, избегая глядеть собеседнику в глаза, моргал своими заплывшими свинными глазками, одобрительно покачивал круглой бритой головой в засаленной тубетейке и, когда гость умолкал, приговаривал:

— Шулай-шулай... *

Меннигарею казалось, что хозяин не слушает его, и однако обидное чувство заставляло его еще более фантазировать.

— Звал меня земский опять на охоту с ним гулять. Никто, — сказал земский, — так хорошо дичь не знает,

* Так-так.

как Меннигарей. Никто так хорошо на курае не играет, как Меннигарей. Просил меня своего баранчука * выучить на курае играть.

— Шулай-шулай...— повторял Сулейман, перебирая на животе пальцами, из которых на правой руке, вместо указательного, была култышка... Сулейман точно высчитывал что-то на этих девяти пальцах.

— Деньги за это обещал! — не унимался Меннигарей, в то время как у него в душе поднималось до слез едкое чувство недовольства собою... Так бы вот и сорвался сейчас с места и выбежал вон... А дети? А баба?

Меннигарей рассказывал разные небылицы, а сам все думал о них. Тайное предчувствие подсказывало ему, что Сулейман хлеба не даст, но, по крайней мере, надо хоть попытаться. Ведь как бы то ни было, Сулейман — «своя людя».

И все же Меннигарей никак не мог перебороть себя и приступить к делу. Он уж и не знал, что бы еще такое рассказать своему богатому родственнику, чтобы поднять свою особу в его глазах, внушить к себе доверие и только тогда попросить хлеба. Меннигарей уже перешел к своим надеждам на кумысников и, наивно подделываясь под взгляды Сулеймана, звал их дураками и хвастался тем, что умный башкурт всегда может нажиться от них (Сулейман летом держал кумысников) и что теперь он, Меннигарей, песни которого так любили слушать эти кумысники, знает, как выманить у них деньги.

Для большей убедительности Меннигарей попытался даже подмигнуть глазом и плутовато засмеяться, но ему было самому за себя стыдно, и лукавство плохо ему удавалось, что еще более мучило и растравляло тяжелое его состояние.

Он уже чувствовал, что не в силах более притворяться, и хотел попросту обратиться к Сулейману и сказать ему: «Дай, Сулейман, хлеба. С голоду помираем»... Но в это время в избу вошел курносый и рыжий мужик, по прозвищу Дуля, со впалую грудью, с большим туловищем, но несоразмерно короткими ногами. Его и звали-то по прозвищу, а не Игнатием, как он был крещен.

* Сынишку.

Дуля остановился в дверях и низко мотнул Сулейману своей большой кудлатой головой.

— Арума! *60— глухим голосом заговорил он, по привычке перекрестившись на передний угол.

— Арума.

Дуля с минуту постоял молча, сжимая в руках шапку, похожую на сорочье гнездо, точно ожидая вопроса со стороны хозяина, и, наконец, не дождавшись, сконфуженно заговорил:

— А я к тебе, Сулейман.

Сулейман сопел носом и молча перебирал пальцами.

— Сделай милость, выручи. Одолжи муцицы.

Сулейман продолжал безмолвствовать.

— Мукам тебя просим... Бир мине... мука,— коверкая слова, повторил Дуля, думая, что башкир не понимает его русского языка.

— Юк мука... Нет мука.

— Да ведь немного мне, Сулейман, муки-то надо. На покров отдам, ей-богу, отдам. Чай, сам знаешь... Сторицей отдам...

— Юк мука.

— Не откажи, Сулейман,— умоляюще заговорил мужик.— В долгу не останусь... Вчетверо отдам... Сделай милость... Дома детишки голодные... Почитай, кору едим... Праздник у нас светлый завтра, а не токмо что разговеться, голод утолить нечем. Время-то ведь недолгое. Весна на дворе... Ежели бы не детишки, разве бы я... Малыши ведь... Плачут... Хлебца, говорят, тятенька, привези... Четверо ведь их... Помоги...

Голос мужика осекся. Он повалился Сулейману в ноги.

Меннигарей вспомнил своих детей, и слезы выступили ему на глаза.

— Помоги! Помоги! — с неожиданною яростью вскопчил с нар Сулейман и заколыхался перед мужиком на своих ногах ухватом...— Ашать ** нечего — Сулейман хлеб дай, а зерном молоть — к Торгуй идешь на мельнис... И за хлеб к нему иди на мельнис...

Дуля так весь и съежился.

— Да ведь это не из-за чего иного...— виновато за-

* Здравствуй.

** Кушать.

говорил он,— а из-за того, что торгуевская мельница ближе к нам... Ну, а теперь ни за что к Торгуеву не поеду... Убей меня деревом! Ну его к лешему. Он и мелет хуже, и берет дороже... И сам к тебе буду возить, и другим закажу. Лопни мои глазыньки... Выручи только. Я тебе вдвое... вчетверо отдам... А сверх того еще с бахчи огурцов аль иной овощ предоставляю...

Сулейман помолчал с минуту, по-прежнему перебирая пальцами, и, наконец, боком взглянул исподлобья на Меннигарея.

Меннигарей понял, что он в эту минуту лишний, и, отговорившись тем, что хочет посмотреть недавно купленную Сулейманом лошадь, вышел.

Несмотря ни на какие просьбы, Сулейман наотрез отказался дать муки своему родственнику. «Нет муки»,— отвечал на все его мольбы «своя людя».

— Нет муки, а урсаку дал! — озлобленно и укоряюще вырвалось у Меннигарея, и, не простившись с хозяином, он вышел.

На дворе у хлебного амбара Сулеймана стояла лошадь. Дверь амбара была открыта, и на крыльце Дуля оживленно разговаривал на ломаном русско-башкирском языке с Фатьмой, хозяйкой Сулеймана.

Увидя Меннигарея, он дружелюбно крикнул ему:

— Ты куда, Меннигарей?

— Домой,— мрачно ответил тот, не останавливаясь.

— Стой мало-мало. Я тебя на своих санках возить буду. Шабры, чай.

Но Меннигарей, ничего не отвечая, вышел за ворота и понуро зашагал домой, не обращая ни малейшего внимания на стаю голодных собак, порывавшихся испугать его надрывистым лаем.

До соседней деревни Азнаево, где жил Меннигарей, было верст шесть. Долго ли тут дойти до дому! Но Меннигарею теперь некуда было спешить. Мысль о том, что ждет его теперь дома, поневоле задерживала его шаг. Длинные, тонкие ноги его, всегда легко и быстро отмахивавшие огромные степные пространства, на этот раз как будто отказывались повиноваться и без всякой уверенности ступали по земле, местами освободившейся уже из-под снега.

Да не только ноги, но и вся фигура Меннигарея, высокая и стройная, несмотря на его пятьдесят лет, на этот раз потеряла свою бодрость и слегка ссутулилась. Понурая голова в облезлом меховом малахае выражала полную его безнадежность, чему особенно способствовало до отчаяния унылое лицо его, длинное и худощавое, с редкой козлиной бородкой и подстриженными над губой усами.

Уныние залегло не только в глазах, но и в каждой морщине, в каждой рябине на носу, даже в ушах, топырившихся из-под шапки.

Его узкие, острые глаза не глядели ни по сторонам, ни на дорогу. Перед ним неотступно стояла одна и та же картина. Темная, низкая изба с полусгнившим покоробленным полом, позеленелыми окнами и вделанным в печь чувалом*; на печке двое голодных, почти голых детей, а в дверях — костлявая, старообразная баба его Фариха, с жадным вопросом в глазах, потускневших от тупой, безысходной нужды.

Меннигарей даже остановился при этом и горестно вздохнул:

— О, алла! алла!

В этом восклицании Меннигарея, конечно, не было и тени ропота или недовольства на бога. Он был верующий мусульманин. Скорее оно выражало именно покорность аллаху: «Ты, мол, знаешь, что делаешь». Эта покорность на мгновение блеснула и в его глазах, обращенных к небу, но она все же не могла утешить его горя, и, сокрушенно покачав головою, Меннигарей опять зашагал по дороге.

Теплый апрельский день на прощание разливался по степи бледно-розовым светом. Талый снег, осевший и обрушивающийся, впитывал его в себя, точно хотел его удержать, но свет ускользал все дальше, на запад, точно его сдувал сырой и теплый ветер.

Холмы и курганы по степи уже выставили из-под снега свои черные головы, топорщившиеся прошлогоднею измятою желтою травой. Река Азнайка там и сям выступала из заросших кустарником берегов синяя-синяя, точно надувшаяся и готовая лопнуть от натуги. Порой из-под снега выбивались ручьи и, падая в овраги,

* Чугун.

ворчали и клокотали там. На высоких местах проступали проталины, и снежный покров на степи казался весь изорванным и дырявым. Местами появились незначительные загоры, отражавшие розовый закат. Степь еще безмолвствовала, но и в ней и над нею уже чувствовался первый трепет пробуждения.

С закатом воздух заметно посвежел, но в нем все еще пахло земляным паром, прелым навозом и весенним дымком, доносившимся бог весть откуда, так как деревня осталась далеко позади Меннигарея, и собачий лай и редкие звуки оттуда все мягче и невнятнее провозжали его.

— О, алла, алла! — снова вздохнул Меннигарей, но на этот раз вздохнул легче и опять обратил глаза к небу. Оно мягко и нежно синело, и от юга к северу, на огромное пространство, белыми пуховыми полосами протянулись высоко-высоко три длинных, прямых облака.

На этот раз глаза Меннигарея долго не отрывались от неба. Его тонкие, опущенные уголками книзу губы тихонько шевелились. Можно было подумать, что Меннигарей молится.

Эта слегка тускнеющая небесная синева и раздраженный бодрым весенним трепетом воздух подняли в нем смутное беспокойство. Он раза два вздохнул полною грудью, и оно поднялось в нем еще сильнее, точно он впитывал его в себя вместе с воздухом. Обрывки мыслей, ощущений, воспоминаний и образов поднялись в нем и расширили его сердце.

Бывало, с первым веяньем весны не только люди, но и скот в башкирских деревнях обнаруживали радостную тревогу. Наступало время ухода на кочевки, на полугодовое летнее приволье и блаженство. Это время давно миновало. Меннигарей захватил его только первую половиною своей жизни, но до сих пор, чуть только повеет весной, в нем так все и заходит ходуном, так и потянет его куда-то вдаль от смрадных темных изб, с которыми тесно связаны зимние недруги беспечных башкир: голод, холод, болезни. И так крепко засело в нем это прошлое, что он и после запрещения кочевок не мог уже усидеть весной дома, как волей-неволей делали это другие башкиры.

И теперь также уйдет Меннигарей. Вот только чуть

зацветет степь. И опять зазвонит его курай тоскою и грустью о прошлом, и опять у него будут и кумыс, и хлеб, и баранина, и деньги. Эти мечты постепенно овладевали Меннигареем. Он представлял себе, как, накопив деньжонок, купит самовар, да не жестяной, а медный. Себе сделает новый бешмет, жене купит разрисованные ичиги*, детям кульмяки...** А то на них только тряпочки одни остались. Хорошо бы и новую избу построить... как у муллы... Это, правда, дорого стоит, ну да, коли постараться, можно денег добыть. Приедут кумысники... Он будет играть им на курае, продавать дичь... Сам потом будет пускать к себе кумысников. Кумысники — «добрый людья». Года два тому назад один кумысник, любивший музыку Меннигарея, часы ему подарил, настоящие серебряные часы. Меннигарей их за три тенги*** лавочнику продал. И нынче, наверное, добрые люди приедут... Это уж скоро... А пока можно как-нибудь перетерпеть. Ведь и другие голодают, как он со своей семьей, да в лесу коренья выкапывают для еды. Аллах не оставит!

Сознание горькой безвыходности своего положения, доводившее Меннигарея до отчаяния, постепенно уступило место сладким надеждам, подернутым легким облаком грусти. Но ему грустно было уже не столько за настоящее печальное положение своих дел, сколько грустно вообще: за всех своих собратьев и за то, что злые люди отняли у них благополучие, завладели всем одни, как будто степь не велика и не богата и на ней не хватит места всем добрым людям.

— О, алла, алла! — снова вздохнул и покачал головою Меннигарей. Но в этом вздохе уже далеко не чувствовалось прежней остроты горя... Меннигарей даже мало-помалу выпрямился и значительно бодрее взошел на холм, звонко постукивая палкой по земле, слегка застывшей от заревого апрельского холодка.

Сумерки быстро густели. Облака, похожие на пуховые шали, потускнели и растянулись по всему небу прозрачною пеленою, сквозь которую начали проблескивать звезды.

Воздух заметно холодел. Лужицы на дороге покры-

* Сапоги.

** Рубахи.

*** Рубля.

лись стеклянистым ледком. Густая поросль по обоим берегам реки стояла черною стеною, и в зазорах уже не отражалось розового неба: они сливались со степью.

Меннигарей услышал за собою стук копыт, шипенье полозьев по снегу, какие-то пьяные выкрикиванья и обернулся.

Это Дуля возвращался к себе на хутор. Полубеспечное, мечтательное настроение Меннигарея было отравлено. Он нахмурился.

— Арума! — поравнявшись с Меннигареем, побашкирски приветствовал его Дуля, стоя на коленях между двух мешков. — Вот я и нагнал тебя.

Меннигарей ничего не отвечал.

Дуля слегка задержал лошадь и продолжал не совсем твердым языком:

— А я, брат, на радости, что у Сулеймана хлебом разжился, заехал в кабака да арака * мало-мало хлебнул.

Дуля прищурил глаза и весело засмеялся.

— Говорил тебе — жди маленько, и тебе бы поднес.

Меннигарей только плюнул с презрением в ответ на эти слова и что-то злобно пробормотал себе под нос.

— Не пьешь... Закон не велит... — истолковал его бормотанье Дуля. — А у нас в законе сказано: потребляй. И казне полезно, и душе весело... Среди вашего брата иные тоже потребляют... Вон Ахметка, Гасанка... Пьют арака.

— Собаки... оттого пьют.

— Это верно, — добродушно согласился Дуля. — Ежели закон не велит, не пей. Грех. Вон нам в великий пост не токмо, что чего прочего, а и масла нельзя в рот брать, а гляди-ко-сь, как я сегодня натюрился... Это в страстную субботу-то! — удивился сам себе Дуля. — Тьфу, окаянный я! Убей меня деревом!

— Тпру! — неожиданно потянул он вожжи и остановил лошадь.

Путь шел теперь крутым спуском вниз, и лошадь нужно было свести под уздцы, так как дорога обледенела. С этого места в сероватом сумраке различались вдали черные избы Азнайки. Только в одной избе горел огонь, и Меннигарей по этому узнал избу муллы. Глаза его сразу наметили свою избу. Воображение его опять

* Водка.

с неумолимою яркостью нарисовало ему ожидающую картину.

Он покосился на Дулю, осторожно и ласково сводившего под уздцы свою лошадь, покосился на мешки с мукой и, крепко стиснув в руке палку, двинулся вперед по дороге.

— Стой, Меннигарей! Куда ты? Вместе айда. Я подвезу тебя,— остановливал его Дуля, лихо скатываясь на санях с конца откоса.— Дорога снежная... Вишь, ныне пасха-то ранняя какая... Утыр *. Да русским языком тебе говорят, дурья голова, садись! Утер!

И, слегка повернув к Меннигарею лошадь, Дуля схватил его за полу бешмета и уронил к себе в сани.

— Ну, вот и тут! — весело расхохотался он.— Так-то оно лучше будет. Ноги-то не казенные. Я ведь тебя люблю! — нежно объяснил ему свои чувства Дуля.— Потому ты охотник и я охотник, и оба мы, значит, охотники.

Дуля схватил руку Меннигарея и, в знак дружбы, хлопнул по ней изо всей силы своею ладонью.

— И за то, что водку ты не пьешь, люблю тебя. А что я пьян, за это меня бог простит. Посуди сам! Завтра светлое Христово воскресенье, а дома жрать нечего. Детишки с голода пухнут. Оно зазорно Христа-то с тощим желудком поминать. Э, да что тебе об этом толковать? Разве ты поймешь?..

— Ек... Я знайт Христос... Русска пигамбяр **. Христос. Коран его писал...

— Пиганьбяр, пиганьбяр! — передразнил его Дуля.— Это вот ваш Могамет пиганьбяр, а наш Христос — бог-спаситель... Во!

Меннигарей презрительно взглянул на Дулю.

— Спасибо Сулейману, выручил,— продолжал Дуля.— Умный он людя, ваш Сулейман-то... Для нашего брата — зараза, а умный... Не чета всем вам, дуракам. У вас изо рта можно кусок вытащить, а у него не вытащишь... Не-е-т! Зубаст. С меня за мешок муки да за мешок зерна, почитай, в десять раз больше сдерет. Башка! А как не дать, коли дома кору жрем. Коли детишки пухнуть начали.— Дуля заморгал своими добродушными серыми глазами и захныкал, приговаривая:— Дети-

* Садясь.

** Пророк.

шек стра-а-сть как жалко! У тебя вот тоже, чай, дети бар*.

— Бар,— мрачно ответил Меннигарей.

— Тоже, чай, ашать-то нечего?

— Нечего... Умирать надо.

— Зачем умирать?.. Перебьетесь. Вы на это народ привычный. Зиму-то хуже скота живете, а ничего. Как лошади у вас зиму на тебеневке из-под снега траву щиплют, так, значит, и вы... корешки разные выкапываете. И ничего...

Дуля добродушно рассмеялся, но Меннигарею в этом смехе послышалось глумление пьяного человека, у которого есть теперь хлеб, над неимущим. Он злобно стиснул зубы, и ему захотелось ударить этого урсака.

— Ну, да вам-то к голоду не привыкать. Урожай-неурожай, вы все равно голодаете. Потому — лентяи. Ежели бы у нас столько земли было, мы бы каждый день кашу с маслом ели. Бить вас некому, оттого вы и голодаете.

Эти слова еще более разозлили Меннигарея. Он чувствовал, что это правда, да не совсем, но объяснить, в чем неправда, не мог...

— Вришь... Давно был... иок голод... Башкурт косевка гулял. Башкурт икмяк бар**, лошадам бар... овеськам бар... Злой людя ходил к башкурт... земля отнимал, овеськам отнимал... Башкурт обижал... Злой людя... урсак людя!..— со сверкающими глазами говорил Меннигарей, чувствуя, как непреодолимая вражда закипала в нем к сидевшему с ним рядом урсаку, точно он именно был виной всех башкирских лишений и утрат.

— Так вам и надо. Не разевайте рот.

— Бедный людя грех обижать.

— А ваши нас не обижают... Тоже ой, ой как обижают! Двойную аренду дерут, лошадей крапчут. Первые конокрады башкиры. А Сулейман разве кровь-то не пьет и из ваших, и из наших?.. Тоже чисто собаки нас грызут... А нешто так Христос-то велел... Вот завтра его светлый праздничек... Он распят был за людей-то... Вот ты, к примеру, поганый басурман, а и тебя велел он любить... Последнюю рубашку ближнему отдать. Во!..

Дуля опять расхныкался и полез целоваться к Мен-

* Есть.

** Хлеб имел.

нигарею... На того пахнуло запахом сивухи. Он с отвращением отвернулся, и Дуля обмусолил ему ухо. Дуля совсем рязмяк и, ткнувшись в мешок, бормотал что-то, сокрушенно мотал рыжей головой и хныкал.

Меннигарею хотелось задушить урсака... Так кипела в нем на него злоба. Вот урсак придет сейчас домой, велит своей бабе затопить печку, напечь хлебов, и они будут есть, а Меннигарей возвращался домой с пустыми руками. Ему казалось, что этот хлеб его... Убить урсака, взять себе муку, велеть Фарихе напечь хлебов и накормить детей.

Эта мысль так настойчиво лезла в голову Меннигарею, что он уже представлял себе, как, задушив этого брюхастого мужика, он проберется к озеру, к которому ни весной, ни летом нельзя пробраться через топи и болота, поросшие камышом, и, пробив лед, спустит туда тело... Озеро это, к тому же, так недалеко.

Они ехали теперь мелким леском, где и вовсе уж было темно. Мужик перестал хныкать, голова его беспомощно свесилась через мешок, и шея была открыта сзади. У Меннигарея невольно стискивались руки... Он было подвинулся к нему, но вдруг его что-то остановило.

— О, алла, алла! — поймав себя в страшную минуту, прошептал Меннигарей и даже отодвинулся от мужика, заснувшего пьяным сном.

Лошадь миновала лес. Они были у того места, где Меннигарею нужно было слезать. Деревня темнела на лево за рекой Азнайкой... Оттуда порой раздавалось тьякanye собак.

Меннигарей беспокожно завозился в санях... Мужик храпел. Меннигарей слегка толкнул его. Тот продолжал храпеть. Тогда Меннигарей быстро прыгнул с саней, дрожащими руками схватил тяжелый мешок с мукой и взвалил его на плечо. То ли чуя недоброе, то ли просто облегченная от двойной ноши, лошадь пошла быстро. Меннигарей бросился по косогору прямо к реке. Только бы перейти скорее ее, дома уж он сумеет спрятать дорожную ношу! Совесть нисколько не тревожила Меннигарея. Ему только было чего-то страшно, точно от предчувствия. Кровь колотила в виски, и сердце билось в груди, как мышь. Пятипудовой ноши он как бы не ощущал на плечах, и ноги сами несли его.

Меннигарей ступил на лед. У самого берега стояла вода, и ноги его сразу заледенели. Вода тревожно журчала где-то поблизости и точно предостерегала Меннигарея.

Он быстро сделал несколько шагов по льду.

Вдруг лед треснул... под ним или где-то около него. Меннигарей весь похолодел, остановился и зашептал молитву.

В душе его шевельнулось что-то похожее на укор себе. Непрошенная мысль прямо сердцу его шепнула, что он сделал что-то нехорошее.

Но Меннигарей отогнал от себя эту мысль. Не давая ей времени завладеть собою, он рванулся вперед.

Раздался еще более зловещий треск. На этот раз он был прямо под его ногами. Вода, пробившись в трещину, охватила ноги Меннигарея.

Он побежал вперед, как безумный... Еще треск... еще и еще... Точно там, под водою, какие-то духи стреляли в лед из ружей и сговорились погубить Меннигарея.

Он в ужасе замер и тут почувствовал... что движется вперед.

Меннигарей понял все. Это тронулась река, и сам он стоит с украденным мешком муки на льдине... украденным у такого же бедняка, голодного человека, как он сам. Мало того, у этого человека вдвое больше семья, а завтра его великий праздник.

Он вспомнил о Христе, об этом пигамбаре, о котором коран упоминает с благоговением. Он почувствовал себя виноватым перед этим пророком не меньше, чем перед мужиком. Злоба и зависть его к этому мужику сразу пропали. Меннигарей увидел в постигшей его беде небесное наказание. «Христос меня, русский пророк, наказывает за то, что я у урсака муку карапчил!» — в отчаянии сознался Меннигарей, и ему стало страшно, но не смерти страшно, а греха, который он сделал.

— О, алла! О, алла! Магомет! Христос! — шептал он дрожащими губами, едва удерживаясь на ногах и обращая глаза к звездам, с укором глядевшим на него.

А льдина все подвигалась вперед и вперед по течению. Меннигарей слышал, как вокруг него, впереди и позади, с треском и грохотом льдины наскакивали одна на другую... Он был посредине реки. Вот-вот налетит

какая-нибудь льдина и потопит его. Вперед ли, назад ли бежать — все равно на верную погибель. Остаться тоже значило погибнуть. Со всех сторон смерть.

Меннигарей недолго колебался и, снова обратив на мгновение взгляд на небо, почти не ощупывая ногами пути, бросился во мрак назад, не покидая мешка с мукой, шепча бессвязную молитву, отступаясь и почти падая, то погружаясь вместе с льдиной в воду, то перепрыгивая на другую.

Льдины трещали под ним и выскакивали из-под ног. Раз его правая нога вся ушла в воду, но он каким-то чудом удержался на льдине, все еще не выпуская мешка. Льдины во мраке казались плывущими живыми существами... Несколько раз он был на волосок от смерти... В одной из трещин застряла нога его. Он рванул ее и содрал кожу, но не чувствовал боли... Порой из груди его вырывались отчаянные вопли: «О, алла! алла! Магомет! Христос!»

Надежда стала покидать его. Берег, казалось, уходил... Меннигарей закрыл глаза и опять ринулся вперед... Брызги воды летели ему из-под ног в лицо. Наконец, он почувствовал, что под ногами его лед крепче... Он остановился и с невыразимую радостью увидел себя у берега. Тут лед сплотился и стоял твердо. Меннигарей побежал вперед, насколько хватало силы, и скоро очутился на берегу. Он бросился на колени и заплакал от радости. Потом вскочил и, согнувшись под тяжелой ношей, побежал вслед исчезнувшим саням, крича на бегу: «Эй, эй, Дуля! Дуля!.. Эй, эй!»

Но Дуля был уже далеко. Да за шумом и треском реки голоса Меннигарея все равно не было слышно. Меннигарей догнал его сани почти возле хутора.

— Мука ты терял! — задыхаясь от усталости и волнения, почти выкрикнул он, бросая мешок в сани и, не дожидаясь никакого ответа со стороны опешившего от неожиданности мужика, бросился прочь, точно боясь за себя и стыдясь своего поступка.

— Постой! Постой, Меннигарей! — опомнившись, закричал ему вслед мужик.

Но Меннигарей уже скрылся во мраке. Фигура его раза два черным продолговатым пятном мелькнула и пропала,

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ПИСЕМ А. М. ФЕДОРОВА

1. В. Г. Короленко

21 января 1892 г. Вологда.

Глубокоуважаемый Владимир Галактионович.

В Вологде предполагается издать литературный сборник в пользу голодающих. Во главе этого дела стоит П. В. Засодимский. К участию будут приглашены Толстой, Михайловский, Златовратский, Вл. Соловьев, Каронин и другие, поэтому я позволю себе утруждать Вас просьбою пожертвовать для сборника хоть несколько страничек Вашего труда. Говорю без фразы: каждая строка Ваша будет драгоценна для сборника.

К печатанию сборника будет приступлено не позже начала марта месяца, и поэтому прошу Вас ответить по прилагаемому адресу возможно скорее.

Ваш слуга А. Федоров.

2. В. В. Брусянину

14 мая 1893 (или 1894) г. Ст. Давлеканово Самаро-Златоустовской железной дороги. Д. Курменкей.

Дорогой Василий Васильевич!

Я только сегодня получил Ваше письмо, хотя позавчера был на станции, но мне сказали там, что нет писем из Уфы, между тем как Ваше письмо помечено 9 мая. Вероятно, Вы запоздали бросить его в ящик.

Письмо от П. И. Добротворского я получил и очень благодарю его за внимание ко мне. Написать то, что мне необходимо, — очень сложная штука. Лучше, когда я приеду в Уфу, я побываю у него... и узнаю все, что мне нужно...

Вас мы ждали с большим нетерпением. Не приехали Вы и в субботу, и я очень Вас за это ругаю. Пешком теперь из Давлеканова идти отлично. По дороге — ни одной лужицы. Дичи здесь миллиарды. Утки точно смеются над моей беспомощностью и подпускают шагов на пять.

В субботу 20 мы ждем Вас непременно. Приезжайте и привозите ружье, припасы и книгу Аксакова. Если можно, достаньте мне также «Степь» Чехова. Если не достанете книги его, где она помещена, то отыщите ее в одной из книжек «Северного вестника» за 92 (кажется) год, а может быть, и раньше.

Ваш А. Федоров.

Р. С. Так приезжайте же! Проживете у нас праздники. Какое тут раздолье! А там, может быть, мы вместе с вами направимся дня на два в Уфу, так как Лида была больна. Ей необходимо посоветоваться с доктором, а мне — с Добротворским...

Захватите со станции Давлеканово корреспонденции мне: письма, газеты, бандероли. Вам выдадут.

З. В. Д. Бонч-Бруевичу

10 июня 1894 г. Уфа.

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич, очень-очень благодарен Вам за Ваш славный подарок. Надпись, которую Вы сделали на нем, очень меня тронула, равно как и Ваше письмо, проникнутое искренним и добрым чувством, но Ваше доброе и понятное желание видеть во мне гражданского поэта, желание, к которому я отношусь с глубоким уважением, вряд ли когда-нибудь осуществится, не потому, что я презираю этот род поэзии, совсем нет, а просто потому, что я не боец по природе, что вследствие чисто индивидуальных свойств моего скромного дарования, оно более отзывчиво к красоте в ее разнообразнейших проявлениях, чем к призывам на битву против зла и несправедливостей. Я надеюсь, что Вы не отыщете в этом искреннем признании эгоистического преклонения перед богиней красоты. Я даже не отдаю пальмы первенства жрецам так называемого «чистого искусства». Далеко нет! Самая фраза «чистое искусство» противна мне: ни «чистого», ни «нечистого» искусства не должно быть и нет! Искусство всеобъемлюще и никакие мотивы не чужды ему...

...Он обнял целый мир, и в мире ничего
Душою творческой не оттолкнул в презренью —

(из стихотворения «В картинной галерее»).

Вот мой взгляд на искусство. Никаких разграничений я не признаю и полагаю, что их нет. В искусстве важен талант и искренность его жрецов. Присутствие этих двух качеств обуславливает творчество, а плоды творчества — величайшее благо для человечества, потому что они указывают и освещают путь к истине...

Я сам крестьянин и не могу не сочувствовать народу и всем «униженным и оскорбленным», но еще в детстве у меня в одном из стихотворений вырвались такие строки:

...За народ моя душа
Трепещет, обливаясь кровью.
Но вокруг так дивно хороша
Природа! Так полно любовью
И жаждой жизни существо,
Что я невольно сердцем юным
В природе славлю божество,
Подобно ей покорным струнам.

Это характерное признание останется со мной навсегда. Примите его как оно заслуживает: без упрека и порицаний. У меня набе-

рется о полсотни стихотворений в желательном для Вас роде, я могу собрать их воедино и предложить Вам для издания...

Ваш А. Федоров.

4. В. Д. Бомч-Бруевичу

5 марта 1895 г. Петербург.

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич...

Я написал роман, то есть половину романа, под названием «Степь сказалась». Роман этот я читал у Шеллера и имел большой успех. Мне советовали отдать его в толстый журнал, но так как половину нигде от меня не возьмут, а другую половину я могу доставить не ранее июля, а главное, потому что я совсем болен (грудь болит и кашляю) и мне необходимо уехать,— я согласился отдать роман в «Живописное обозрение». Мне обещали аванс и 50 р. ежемесячно вплоть до тех пор, пока выплачено будет за весь роман (листов 12—13). Пойдет он только с января будущего года, но получать я буду деньги с весны. Все вздохну посвободнее, а то измучился и ослабел. Боюсь только цензуры. Может запретить, так как роман иллюстрирует расхищение башкирских земель...

Ваш А. Федоров.

5. И. А. Бунину

26 марта 1897 г. Петербург.

Милый мой друг, только что сдал в «Новое слово» рецензию о Вас. Полагаю, что это вернейшее и лучшее из того, что о Вашей книге написано. Прочтете в апрельской книге «Нового слова» вместе с моим рассказом «Курайщик»...

Видеть Вас жажду, ибо «ведь все-таки на земле только два человека... я да Вы». Лето наше вполне обеспечено. Имеется запасного капитала рублей около 700, если не с хвостиком. За один роман получил 420 р. вместо ожидаемых 300...

Роман так понравился администрации, в руки которого перешли дела Добродеева, что они покупают у меня издание его и, без всяких с моей стороны претензий, сами прибавили мне плату полистную до 75 р. Просят еще «романчик»... Добротворский тоже прислал о романе весьма восторженный отзыв... Я глубоко счастлив, что роман нравится всем, кто его читал.

Целую Вас душевно. Поклон брату от нас с Лидой — низкий.

Ваш душою А. Федоров.

6. А. П. Чехову

21 марта 1901 г. Одесса.

Глубокоуважаемый Антон Павлович.

Большое Вам спасибо за портрет. На редкость удачный. Ждал

я с большим нетерпением от Вас III тома Ваших сочинений, но Вы, верно, позабыли уже не только о своем обещании, но и обо мне. Я на днях должен получить свою книгу переводов «Ады Негри». Пришлю Вам тотчас по получении. Пришлю и еще кое-что из своих изданий, если удастся найти.

Осенью приеду в Петербург на постановку моего «Старого дома», о котором мне так хотелось услышать несколько слов от Вас! Теперь работаю над новой вещью. Столько накопилось материала, что голова лопается. «Печатать не управятся, как зачну писать», — как говорил один знакомый Бунину поэт.

Пришлите, Антон Павлович, рассказ для «голодного сборника». Ведь Вы обещали и Ваше имя стоит в объявлении. В художественном отделе у нас есть Репин и все выдающиеся передвижники. В литературном нет еще Вашего произведения.

А. Федоров.

7. А. П. Чехову

25 октября 1901 г. Одесса.

Посылаю Вам, Антон Павлович, свою пьесу, только что переписанную. Судите ее по всей строгости законов. Каждое Ваше слово драгоценно для меня. Каждый Ваш совет приму, как заповедь.

Сам я ничего не понимаю в том, что напишу, пока, выражаясь акушерским языком, не отрезана пуповина. А на это, смотря по обстоятельствам, требуется более или менее продолжительное время и, чем дороже вещь, тем больше времени.

Ждать буду Вашего письма с страшным нетерпением и потому прошу Вас, прочтите пьесу по возможности скорее. Если найдете ее достойной Художественного театра, перешлите Владимиру Ивановичу Немировичу. Я случайно видел его в день моего отъезда из Москвы на вокзале и грозил ему, что пришлю пьесу.

Не посоветуете ли, как назвать ее? Будьте крестным отцом ей.

Ужасно хотел бы приехать в Ялту и поговорить о пьесе лично, да, признаться, уж очень мои денежные дела гнусны. «Старожилы не запомнят», — так плохо! Но если к декабрю собьюсь с деньгами — приеду. Славный вечер я провел у Вас в Москве! Сердце вздохнуло. Пожалуйста, в первом же письме передайте привет Вашей супруге, а так как Марья Павловна, наверное, с Вами, пожмите ей от меня руку.

Мы всем семейством шлем Вам душевный привет и пожелание здоровья. Живем мы у самого синего моря. Хорошо дышится и хорошо работается.

Душой Ваш А. Федоров.

8. Ф. Д. Нефедову

Ноябрь (?) 1901 г. Одесса.

Дорогой Филипп Диомидович.

Сборник в пользу голодающих совсем не выйдет, так как частная помощь в этом направлении запрещена. Не уступите ли своей

рассказ для «Одесских новостей»? Напишите, только заплатят они мало.

Как живете Вы? Что работаете нового? С большим нетерпением буду ждать Ваших книг и, в свою очередь, не останусь перед Вами в долгу.

Я не помню, посылал ли я Вам роман свой «Степь сказалась». Он вышел отдельным изданием. «Аду Негри» и книгу моих стихотворений, издание Суворина? Если нет, вышлю в скором времени, к этому присокуплю еще три книги: новую книгу стихотворений — издание Поповой и две книги рассказов.

Вот если у Вас в марте или апреле будет свободна неделька-другая, приезжайте погостить.

Только боги могут жить в таких идеальных условиях, как мы теперь. А все же я иногда вдруг возьму да затоскую по глухой деревне, по провинции — и

Это море с душою бойца,
Это небо с горячим светилом,
Я бы отдал за степь без конца,
За подснежник, за крики скворца,
За улыбку на Севере милом.

Ну, крепко жму Вам руку.

Ваш душой А. Федоров.

Р. С. Жена шлет сердечный привет.

9. Ф. Д. Нефедову

2 декабря 1901 г. Одесса.

Большое, сердечное Вам спасибо, дорогой Филипп Диомидович, за книги. Посылаю Вам заказной бандеролью все, что имеется у меня налицо. Книгу стихотворений издания Суворина, перевод «Свет Азии» и затем четыре книги (две — рассказы и две — стихи) вышлю впоследствии, когда последние выйдут в свет, то есть через месяц или полтора.

Я очень люблю Ваши вещи. Помимо идейности содержания и ясности характеров, у Вас всегда много лиризма и поэзии, что мне особенно по душе. Из посылаемых мною вещей хотелось бы, чтобы Вы прочли и сказали мне свое впечатление о «Старом доме» и романе «Степь сказалась». Простите, что посылаю Вам старый экземпляр романа, да еще — дефект. Другого нет. Это последний!

Бунина я хорошо знаю. Это — чистой воды поэт, с небольшим диапазоном настроений и чувств, но с закваской истинного художника...

Теперь из молодых выделились также Андреев и Куприн. Особенно рекомендую последнего. Он, как и Бунин, — мой друг, но это не делает меня пристрастным. Куприн большое дарование, лучше сказать — серьезное, так как для «величины» у него не хватает размаха. Но он вдумчив, чуток и умеет передавать свои наблюдения тонко и метко.

Редакция благодарит за позволение напечатать рассказ. Как только будет напечатан, вышлю и №№ газеты и гонорар.

Я неистово люблю из наших современных писателей, за исключением, конечно, Толстого, — Чехова. Вот, по-моему, сила, которую

у нас совершенно не оценили по достоинству. Какой художник! Какой художник! «Закачаешься!» — как говорит один мой приятель из горьковских героев.

Кстати, Горького я знал еще тогда, когда он ничего не писал, а жил в Нижнем Новгороде у Лапина — писарем.

Я окончил новую драму, которую еще не знаю, как назвать. Кажется, это лучшая из моих вещей. Впрочем, таковой всегда кажется последняя.

Пошлю ее в Художественный театр, а предварительно где-нибудь напечатаю.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш душой А. Федоров.

10. А. П. Чехову

26 февраля 1903 г. Одесса.

Ваше письмо, дорогой Антон Павлович, застало меня как раз накануне отъезда в Петербург и Москву. Помимо пьесы у меня есть еще дела в обеих столицах...

В газетах прошел слух, что Вы окончили новую пьесу. Какой мотив? Как называется? Если правда газетное сообщение, я радуюсь за театр и литературу, а лично радуюсь, как всегда, каждому Вашему новому произведению.

У меня мечта написать о Вас книгу; как только успокоюсь от житейских тревог, сделаю это с любовью, которую Вы засветили во мне своим творчеством.

Мне кажется, я понимаю и чувствую Вас вполне.

Книга моя будет без обычных критических приемов. Я представляю себе ее в виде речи, с которой обратился бы к читателям в к Вам.

Будьте здоровы, дорогой Антон Павлович.

Крепко жму Вашу руку.

А. Федоров.

11. И. А. Бунину

12 июля 1904 г. Одесса.

Милый Иван Алексеевич.

Какое горе! Какое горе! Антон Павлович умер! До сих пор, как только я вспомню об этом, льются слезы. Какая огромная потеря для литературы, а уж для нас, знавших его и пользовавшихся его расположением, и говорить нечего! Чьего отзыва мы будем ждать теперь с таким нетерпением и вниманием, как отзыв Антона Павловича, кому поверим! Милый, милый Антон Павлович!

Читал ты, как встретили его тело в Москве? Как запоздалые — мать, брат и Марья Павловна бежали по улице к этому гробу. Ах, брат, вот горе-то! Вот утрата! Я послал телеграмму жене его и Марии Павловне. С «Четверга» мы также послали телеграмму Марии Павловне. По газетным известиям они теперь в Ялте все.

Достоверно известно, что в Ялту едет и Горький и на днях, сегодня-завтра, будет в Одессе, где его встретит, конечно, Юшкевич.

С чего ты взял, что я буду на тебя обижаться за твое указание по поводу стихов! Я нисколько не поглупел с тех пор, как мы не виделись.

В сентябре я поеду в Петербург, буду издавать книги — 3—4. Три романа: «Степь сказалась», «Земля», «Природа» и книгу стихов. Ах, да! Еще одну книгу — «Путешествие на Восток», которое окончено печатанием в «Роднике».

Грустно и обидно мне, что Горький отказывается даже стихи мои издать. Так я и оттерт от вашей, могу сказать даже — от нашей компании.

Ну да, что делаты! Насильно мил не будешь.

Приезжай-ка! Опять напишем стихов, побродим по морю!

Дружески тебя обнимаю, как и Юлия Алексеевича. Жена также шлет сердечный привет, а Витя тебя целует и просит прислать ему «Гайавату» с картинками.

Твой А. Федоров.

12. И. А. Бунину

(19 июня) 1905 г. Одесса.

Милый Иван Алексеевич, я должен написать тебе об этом событии хоть два слова. В настоящее время в Одессе стоит самый лучший броненосец «Потемкин», команда которого (800 человек) возмутилась, частью убила, частью перевязала офицеров; завладели броненосцем и объявили себя свободными русскими гражданами. Маленькой искоркой, вызвавшей этот бунт, было убийство матроса старшим офицером за то, что матрос от лица всех товарищей пожаловался на то, что им дали борщ с гнилым мясом.

Разумеется, это только продолжение прошлогоднего матросского бунта, который, кажется, охватил всю эскадру. По крайней мере, вот уже пять дней, как «Потемкин» свободно разгуливает возле берегов Одессы или стоит на рейде.

Освещенный заревом колоссального пожара, охватившего весь порт, он гордо стоял на рейде, освещая прожектором эту невероятную феерию из крови, огня и залпов.

Над трупом матроса, положенного на мол с прокламацией на груди, говорились речи. Депутация из матросов с «Потемкина» отправилась к воинскому начальнику, требуя похоронить его с соответствующим герою достоинством. Им разрешили, обещая неприкосновенность провожающих, но после похорон трое матросов были убиты казаками, а остальные арестованы. Тогда броненосец стал бомбардировать город, выпустив два снаряда, один из коих разбил крышу дома на Нежинской улице. Угроза подействовала: арестованных отпустили обратно. Явившаяся из Севастополя эскадра оставила им «Георгия» (броненосец) и удалилась куда-то.

Вчера «Потемкин» прошел куда-то мимо нас с миноноской своей, оставив заместителем в Одессе «Георгия». Говорят, на прогулку, а по другим сведениям — к батумскому побережью, в качестве брошированной и грозной пропаганды...

А. Федоров.

КОММЕНТАРИИ

Степь сказалась

Впервые роман был напечатан во втором и третьем номерах ежемесячного литературного приложения к журналу «Живописное обозрение» за 1897 г., издававшемуся в Петербурге. Отдельное издание вышло в 1900 г. Переиздавался в 1908 и 1912 гг. В отрывках был перепечатан в сборнике «Башкирия в русской литературе» (составитель М. Г. Рахимкулов), т. 3, Уфа, 1965, стр. 42—148.

Готовя роман к отдельному изданию, автор подверг его некоторому сокращению и внес незначительные изменения, преимущественно стилистического характера, но основная сюжетная линия, система образов, композиция и идейное звучание остались те же.

Печатается по третьему изданию («Московское книгоиздательство», 1912 г.).

Стр. 22. ...подходил к губ. гор. Светлорецку, последней пристани вверх по реке Светлой.— Как видно из контекста, под вымышленным названием «Светлорецк» изображается губернский город Уфа, под названием «Светлая» — река Белая. (Слово «белый» автор заменил синонимом «светлый», чтобы не было смешения с городом Белорецком).

Стр. 34. Губернский город Светлорецк был построен вскоре по взятии Казани...— Город Уфа, который изображен под названием Светлорецк, был заложен в 1574 г.

Стр. 68. Арасланов ...принялся за чтение книги Палласа о местном крае...— Речь, очевидно, идет о фундаментальной работе известного естествоиспытателя, члена Петербургской Академии наук Петра Симона Палласа (1741—1811) «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (1773—1788 гг., ч. I—III). В этой книге обобщены результаты возглавленной Палласом экспедиции 1768—1774 гг. в районы Поволжья, Прикаспийской низменности, Башкирии, Урала, Забайкалья, Сибири.

Стр. 74. ...светлорецкие Цицероны.— Здесь в значении «беспринципные адвокаты, ораторы», т. е. «дельцы» светлорецкие (уфимские).

Стр. 112. И о к — нет.

Стр. 112. На с а́ р — плохо, худо.

Стр. 112. Ха з р е́ т — господин.

Стр. 112. Шу л а́ й — так, правильно,

Стр. 112. А р а к á — водка, вино.

Стр. 114. Ка б р ь — могила; кладбище, погост.

Стр. 114. З н я р á т — кладбище.

Стр. 115. П и г а м б я р — пророк.

Стр. 115. Х у с е й н - б е к — относительно личности Хусейн-Бека никаких достоверных сведений не имеется, но сохранилось множество легенд и преданий, из которых явствует, что Хусейн-Бек в начале X века был послан в Башкирию из Туркестана для распространения мусульманства. В Башкирии, недалеко от Уфы, имеется мавзолей Хусейн-Бека, который сооружен в центре старого кладбища, называемого Акзират (Белое кладбище). Внутри мавзолея сохранился надмогильный камень с надписью на арабском языке. В литературе существует несколько переводов надписи, одна из которых, по-видимому, и приведена Федоровым.

Стр. 115. Ногай народ тут был...— Ногаи, Ногайская орда — одно из феодальных государственных образований, возникших в конце XIV в. в результате распада Золотой орды. Ногайскую орду составили племена, входившие во второй половине XIII в. в состав войск золото ордынского военачальника (темника) Ногая (от имени которого они получили свое название), а также племена мангытов.

Стр. 115. Я м á н — плохой, дурной, скверный.

Стр. 115. И м á м — духовное лицо, руководящее молитвой и проч., а также духовный глава у мусульман.

Стр. 115. К у ф и ч е с к а я н а д п и с ь — Речь идет о надписи, сделанной арабским угловатым, широкоорнаментальным письмом, называемым куфическим. Возникло оно в конце VII в. в городах Куфа и Басра. Старейшие надписи первых халифов исполнены исключительно куфическим письмом. Обязательно оно было и для переписки корана. Даже после возникновения сокращенного письма надписи в мечетях и во дворцах исполнялись куфическим письмом.

Стр. 116. Ю л - С ú — как видно из контекста, это вымышленное название реки Демы.

Стр. 117. Б е л ь м е м — не знаю.

Стр. 117. Б а к ш и ш (*перс.*) — подарок, взятка, подачка. чаевые.

Стр. 117. Я р á р — ладно, хорошо.

Стр. 118. К и т е р б а р ú м — здесь означает «подавай паром».

Стр. 120. С е с я к — оспа.

Стр. 121. «Аппак-аппак юмуртканы авадан зырлаб учар куш итканэй...» — «Беленькое-беленькое яйцо пустило по воздуху вертящейся птицей...». См. песню о батыре Мурадыме в данном издании.

Стр. 125. Б е ш м е т — верхняя мужская одежда башкир.

Стр. 126. И ч и г и в к и б и с а х — ичиги в галошах; ичиги — комнатные кожаные мягкие сапожки; при выходе на улицу на ичиги надевают резиновые или кожаные галоши — к и б и с ы.

Стр. 126. К у н á к б у л ь м я с е — комната для гостей, гостиная.

Стр. 126. К ю л ь м я к — платье (женское); рубаха (мужская), сорочка.

Стр. 126. К у к р я к — грудь; здесь, очевидно, в значении «жевский нагрудник».

Стр. 126. З ю л ё н — верхняя легкая одежда в виде халата без воротника; мужская — обычно без украшений, женская — украшенная вышивками, позументом и монетами.

Стр. 127. А б д р а г а н — недоумевать, теряться, растеряться; замешательство, растерянность.

Стр. 128. Т а м г а — здесь в значении: метка, клеймо, тавро, подпись.

Стр. 128. У л ь г а н — умер, мертв; умерший.

Стр. 128. Б а р — есть, имеется.

Стр. 129. С ы н... Б и к с ы н (*ысын... Бик ысын — башк.*) — действительно, правильно, истинно.

Стр. 154. М у ф т ы й (*арабск.*) — глава духовного управления мусульман.

Стр. 160. Ф и р ш т я — ангел.

Стр. 162. P a r t i e d e p l a i s i r (*фр.*) — увеселительная прогулка.

Стр. 166. П ь я л а С у (*татарск.*) — дословно: стеклянная река. Под этим вымышленным названием, как видно из контекста, автор изобразил р. Уфу, впадающую у г. Уфы в р. Белую.

Стр. 167. А б л а й (1711—1781) — один из владетельных казахских султанов, с 1771 г. хан Среднего жуза (орды). В 1740 г. принял русское подданство и поддерживал мирные взаимоотношения с Россией. Автор опустил здесь анахронизм.

Стр. 167. Т е в к е л ь — Тевеккель (г. рожд. неизв. — умер в 1598 г.) — казахский хан в 1582—1598 гг., поддерживал дипломатические отношения с Россией.

Стр. 191. К и р ё к т а г ы — еще нужно (продолжить борьбу).

Стр. 194. С а к л а н. — берегись.

Стр. 197. К а л я б а ш — высокий женский головной убор, украшенный монетами.

Стр. 201. К а р а к — вор.

Стр. 204. Г а л и м — ученый.

Стр. 205. К и р я к м а й — не надо.

Курайщик

Рассказ впервые напечатан 12 сентября 1897 г. в газете «Новое слово». Вошел в собрание сочинений писателя в семи томах, осуществленное в Москве в 1911—1913 гг. (т. 1, стр. 158—176). Оттуда перепечатан в сборнике «Башкирия в русской литературе» (т. 3, Уфа, 1965, стр. 148—163).

Печатается по изданию 1965 г., сверенному с текстом собрания сочинений 1911 г.

Стр. 245. К у р а й щ и к — кураист, игрок на курае; курай — национальный музыкальный инструмент башкир, сделанный из тростникового растения курай. В прошлом курай нередко называли чебызгой, чибызгой — дудка, дуда, свирель.

Стр. 249. А р у м а — здорово, как поживаешь?

Стр. 249. Б и р м и н е — дай мне.

Стр. 249. А ш а т ь — есть, кушать. Здесь любопытный пример превращения в разговорной речи башкирского глагола в русскую инфинитивную форму (так нередко искажают башкирские слова русские, в речи же башкира это воспринимается уже как обратное влияние).

Приложение. Из писем А. М. Федорова

В архивохранилищах Советского Союза сохранилось немало писем А. М. Федорова, которые адресованы преимущественно деятелям литературы и искусства, книгоиздателям, в редакции газет и журналов. Особенно содержательны письма В. Д. Бонч-Бруевичу — 31 (с 1894 по 1920 г.), И. А. Бунину — 133 (1895—1916 гг.), А. П. Чехову — 10 (1901—1904 гг.).

Письма публикуются впервые (некоторые в незначительными сокращениями) по автографам, хранящимся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва) и Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина (Отдел рукописей).

1. В. Г. Короленко. 21 января 1892 г.

...Засодимский... Михайловский, Златовратский, Вл. Соловьев, Каронин... — Засодимский Павел Владимирович (1843—1912), Михайловский Николай Константинович (1842—1904), Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), Каронин (псевдоним, настоящая фамилия — Петропавловский) Николай Елпидифорович (1853—1892).

2. В. В. Брусянину. 14 мая 1893 (или 1894 г.)

Брусянин Василий Васильевич (1867—1919) — русский писатель, автор рассказов и очерков о Башкирии; участвовал в Революции 1905 г.; в 1908—1913 гг. жил в эмиграции; в 1910-х гг. издал романы «Молодежь», «Темный лик», «Трагедия Михайловского замка».

Письмо от Добротворского... — Добротворский Петр Иванович (1839—1908) — уфимский писатель, автор сборника рассказов и очерков «В глуши Башкирии» (1901) и других книг.

...книгу Аксакова... — Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — известный русский писатель, уроженец Уфы. Речь, очевидно, идет об одной из его автобиографических или охотничьих книг, в которых мастерски описана природа Башкирии.

...Лида была больна. — Федорова Лидия Карловна, жена писателя, была болезненна, из-за чего семья позднее переехала жить в Одессу.

3. В. Д. Бонч-Бруевичу. 10 июня 1894 г.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — советский государственный и партийный деятель, доктор исторических наук, член Коммунистической партии с 1895 г.; сотрудничал в «Искре»; в 1917—1920 гг. — управляющий делами Совнаркома РСФСР; организатор и первый директор Государственного литературного музея; был редактором книгоиздательства, в которой, в частности, вышла первая книга А. М. Федорова — «Стихотворения» (М., Типо-Литография Д. А. Бонч-Бруевича, 1894, 160 стр.).

...славный подарок. — Речь идет о составленной В. Д. Бонч-Бруевичем хрестоматии «Избранные произведения русской поэзии» (1894).

4. В. Д. Бонч-Бруевичу. 5 марта 1895 г.

Роман этот я читал у Шеллера... — Шеллер (псевдоним — Михайлов) Александр Константинович (1838—1900) — русский писатель, в 1877—1900 гг. редактировал стоящий «вне направлений» еженедельник «Живописное обозрение».

Пойдет он только с января будущего года... — Фактически же роман «пошел» только с февраля 1897 г.

5. И. А. Бунину. 26 марта 1897 г.

За один роман дополнил... — За роман «Степь сказаться».

Поклон брату... — Бунину Юлию Алексеевичу.

6. А. П. Чехову. 21 марта 1901 г.

Большое Вам спасибо за портрет... — Речь идет о фотографии А. П. Чехова, подаренной Федорову. «Сейчас смотрю я на его портрет, стоящий на моем письменном столе, — писал Федоров позднее в воспоминаниях «А. П. Чехов» (1904). — Мелким, четким почерком чернеют сбоку портрета несколько строк, написанных рукой Чехова, и эта характерная линия его росчерка, идущая вниз. «1901 г. II, 19» — стоит дата на этом портрете. 19-е февраля — день освобождения России от крепостного права. Эта дата — случайность, но Чехов любил эту дату» (А. М. Федоров. Утро и другие рассказы. Московское книгоиздательство. Типография «Земля», стр. 221).

...книгу переводов «Ады Негри». — «Стихотворения Ады Негри», переведенные Федоровым с итальянского, вышли в свет в 1901 г.

...моего «Старого дома»... — «Что касается пьесы, то она мне очень понравилась и, по моему, будет иметь солидный успех. Вы талантливый человек, и это уже не должно подлежать ни малейшему сомнению», — писал Чехов. (А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 9, М., «Наука», 1980, стр. 235).

7. А. П. Чехову, 25 октября 1901 г.

Посылаю... свою пьесу... — Очевидно, «Обыкновенную женщину».

8. Ф. Д. Нефедову. 2 декабря 1901 г.

Я неистово люблю... Чехова. — «Антону Павловичу Чехову от неистового поклонника его таланта А. Федорова. Одесса. 13 февраля 1901 г.», — надписал Федоров одну из своих книг («Стихотворения», СПб., 1898, тип. А. С. Суворина).

10. А. П. Чехову. 26 февраля 1903 г.

... Вы окончили новую пьесу. — Видимо, «Вишневый сад».

11. И. А. Бунину. 12 июля 1904 г.

... Юшкевич. — Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — русский писатель, был постоянным автором горьковских сборников «Знание».

Три романа... и книгу стихов... — Все эти книги были изданы в 1904—1908 гг.; роман «Степь сказаться» (1908) издал Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), известный русский книгоиздатель.

... Витя тебя целует... — Федоров Виктор Александрович, единственный сын писателя, родился 1 сентября 1897 г.

12. И. А. Бунину. (19 июня) 1905 г.

Дата написания установлена по содержанию письма.

... в качестве... грозной пропаганды... — На этом рукопись обрывается; это — черновик письма, без конца.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

М. Ра х и м к у л о в. П е р в ы й р о м а н о Б а ш к и р и я	5
С Т Е П ь С К А З А Л А С ь. Р о м а н	22
К У Р А И Ш И К. Р а с с к а з	245
<i>П р и л о ж е н и е</i> . И з п и с е м А. М. Ф е д о р о в а	260
К о м м е н т а р и и	267

Александр Митрофанович Федоров

С т е п ь с к а з а л а с ь

Редактор Д. Д а м и н о в
Художественный редактор А. А с т р а х а н ц е в
Технический редактор Г. З и г а н г и р о в а
Корректоры Л. О с т а н и н а, В. Т и м о ф е е в а

ИБ № 1490

Сдано в набор 9.09.80. Подписано к печати 30.12.80. Формат
бумаги 84×108^{1/2}. Бумага тип. № 3. Литературная гарнитура.
Высокая печать Условн. печ. л. 14,28. Учетн.-издат л. 14,7.
Тираж 100 000 экз. П03105. Заказ № 253 Цена 1 руб. 30 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата
Башкирской АССР, Уфа-1. Проспект Октября 2.

Scan Kreyder - 16.06.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 30 коп.